

ДЛЯ МЕНЯ ЕЩЕ ОДНОЙ ОЧЕНЬ ВАЖНОЙ
ТЕМОЙ ДИССИДЕНТСТВА БЫЛО
ЗАРОЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.
ОНО ДАЕТ ЧЕЛОВЕКУ НЕЗАВИСИМОСТЬ
И ОТСТАИВАЕТ ЕГО ПРАВА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
СВОЕЙ ЖИЗНИ, ДАЕТ ЕМУ ОЩУЩЕНИЕ
СВОБОДЫ. ЧЕЛОВЕК – ЕДИНИЦА ИСТОРИИ,
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
НЕ БЫТЬ УНИЖЕННЫМ, СОХРАНИТЬ СЕБЯ
И БЫТЬ СОБОЙ. ВОТ ВО ВСЕМ ЭТОМ
И КРОЕТСЯ СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДИССИДЕНТСТВА.

А.Б. Рогинский



ПЕРВЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ
Арсения Борисовича Рогинского

Москва, 29–30 марта 2019 года

Международный Мемориал

ДИССИДЕНТЫ СССР,
ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЕВРОПЫ:
ЭПОХА И НАСЛЕДИЕ

Москва
2020

ББК 66.1(2)6

Д48

Конференция прошла в рамках совместной программы
Международного Мемориала (Москва)
и Центра КАРТА (Варшава)
при поддержке посольства Франции

Издание осуществлено при поддержке
Фонда имени Генриха Бёлля

ISBN 978-5-6041921-9-1

© Международный Мемориал, 2020 г.

Александр Даниэль

Арсений Рогинский: развилки биографии, перекрестки судьбы

Очень трудно писать о близком друге. Выстраивать дистанцию между собой и тем, о ком пишешь, невыносимо трудно. Но если не сохранять никакой дистанции, то рискуешь подменить образ персонажа собственным эмоциональным отношением к нему. Одно из возможных компромиссных решений состоит в том, чтобы дать самому персонажу возможность как можно больше рассказать о себе.

Сохранилось несколько автобиографических нарративов. Я выбрал из них два самых подробных: в 1996-м Арсений дал большое интервью польскому журналисту Петру Мицнеру¹, в 2015-м – Барбаре Мартин, изучавшей историю самиздатской периодики, в частности сборника «Память»².

Итак, с самого начала:

«Мой отец, родившийся в небольшом белорусском местечке, окончил Ленинградский политехнический институт и работал начальником отдела на одном из заводов. В 1938 он был арестован и попал в лагерь. Мама с детьми – Кирой и Мишей – пережила первую блокадную зиму. Затем их эвакуировали в Ташкент. В 1944, когда они узнали, что отец отбыл срок, но не получил разрешения на выезд из лагеря, они поехали на Север. Семья вновь соединилась.

Они поселились в небольшом домике в производственной зоне лагеря в Вельске Архангельской области. Там в 1946 году родился я». (ПМ).

К этому можно добавить почти символическую деталь, о которой Арсений однажды упомянул в разговоре: он родился на территории лагеря, в лагерной больнице. Никакой дискриминации в этом не было: наоборот, Борис Соломонович Рогинский, бывший заключенный этого лагеря, а ныне вольнонаемный инженер, устроил жену рожать в эту больницу, зная, что работающие здесь врачи-заключенные заведомо лучше, чем в местном «гражданском» роддоме.

¹ Рогинский А.Б. За наше и ваше прошлое : Интервью с Петром Мицнером. Цит. по авторизованной русскоязычной рукописи. Опубл. на пол. яз.: Roginski A. Za naszą i waszą przeszłość / Nagrał, przetłumaczył z rosyjskiego i przygotował do druku P. Mitzner // Karta. 1996. N 20. S. 23-42. (Далее в тексте – ПМ).

² Рогинский А.Б. «Я понимал, что должны арестовать» / Интервью с Барбарой Мартин, 11 февраля 2015 г. // Исторический сборник «Память». : Исследования и материалы / сост., коммент. Б. Мартин, А. Свешников. М.: НЛЮ, 2017. С. 283-328. (Далее в тексте – БМ).

В 1948 году семья переехала в Подпорожье, рабочий поселок в 300 километрах от Ленинграда, где Борис Соломонович стал работать на строительстве электростанции и где в 1951-м его снова арестовали. *«Его увезли на следствие в Ленинград; мать ездила туда, возила продовольственные посылки. (Какие посылки могла передавать женщина, имеющая троих детей, сразу после ареста мужа уволенная с работы и выселенная в комнату в бараке для рабочих...) Через несколько месяцев передачи перестали принимать – и все. Никаких сведений».* (ПМ).

«Мне пять лет. Я бегу по улице, за мной мчится толпа моих ровесников, кричащих: “Твой отец в лагере, твой отец в лагере!” К тому же я – еврей.

<...>

Умер Сталин. Потихоньку начиналась новая эпоха. Мать работала в школе, преподавала немецкий язык, уходила на рассвете, возвращалась затемно. Однажды, зимой с 1954 на 1955 год пришло письмо со штампом “военной прокуратуры”. Я не полностью понимал, что случилось с отцом; все ждал его, но боялся спрашивать. Теперь сразу понял – это о нем. Я побежал с письмом к матери. До школы от дома было три километра. Нужно было пробежать через весь поселок, затем около лагеря для немецких военнопленных, потом по лесной опушке. Было темно и страшно, но я бежал, плача, как, пожалуй, никогда прежде. Этот бег я помню и сегодня.

В конверте была справка, что дело моего отца прекращено “за отсутствием состава преступления”. Но это относилось к “делу” 1938 года. И ни слова о последнем аресте. Мать выбралась в Ленинград, и там в КГБ ей посоветовали вернуться назад и пойти в местный загс. В загсе она получила уже готовую бумажку – свидетельство о смерти отца, информирующее, что он умер от сердечного приступа в нашем поселке (то есть в своем доме!), а дата смерти совпадала с датой ареста. И все. Но мать-то знала, что он жил еще по крайней мере несколько месяцев.

Это было мое первое столкновение с ложью официального документа. Три года назад (то есть в 1993-м. – А.Д.) старший брат прочитал следственное дело отца (у меня не хватает на это духа до сегодняшнего дня). Там сказано, что отец покончил с собой в камере. Есть рапорт надзирателя, медицинский акт. Якобы он сделал это на следующий день после того как ему объявили, что он осужден на вечное поселение в Красноярском крае. Я не могу в это поверить. Он был воспитан

в патриархальной семье и несомненно ощущал сильную ответственность за детей. К тому же он прошел лагерь, по сравнению с которыми ссылка не могла казаться ему катастрофой. Он мог быть уверен, что мать с детьми приедут к нему, а его квалификация электрика и механика позволит прокормить всю ораву.

<...>

Каждый раз, когда я изучаю документы об умерших в тюрьме (будь то Анатолий Марченко, или Рауль Валленберг, или кто-то еще), я пытаюсь понять, что случилось с отцом. И всегда сомневаюсь в правдивости всех этих бумаг». (ПМ).

В 1957-м семья вернулась в Ленинград. Обычная жизнь питерского подростка, в меру хулиганистого (а, может, и не в меру – в старших классах у Арсения были серьезные неприятности с милицией). Интеллигентная семья: мать и старшая сестра – школьные учителя, старший брат – студент журфака, в приятельских отношениях со всей ленинградской литературной молодежью (с Бродским, в частности), приносит в дом всякий поэтический самиздат, который с интересом читает и младший брат-хулиган.

«Когда мне было 16–17 лет, я знал наизусть как стихи Мандельштама, так и Евтушенко. И черт его знает, что было во мне сильнее». (ПМ).

Но это все – биография. А биография человека не всегда определяет его судьбу. Судьба начнется позже, когда 16-летний Арсений окончит школу и поступит на филфак Тартуского университета.

«Филолог по образованию, историк по специальности». За этой короткой двучленной формулировкой стоят непростые академические коллизии.

Арсений Рогинский учился в Тартуском университете в те годы, когда слава «тартуской семиотической школы» и ее основателя, заведующего кафедрой русской литературы историко-филологического факультета ТГУ Ю.М. Лотмана гремела далеко за пределами Эстонии. Это были годы первых Летних школ по вторичным моделирующим системам, на которые съезжались филологи и литературоведы из Ленинграда, Москвы, Вильнюса, Риги, Еревана, Горького; среди участников этих школ – В.Н. Топоров, Вяч. Вс. Иванов, А.М. Пятигорский, М.Л. Гаспаров, И.А. Мельчук и другие звезды первой величины в советской и мировой гуманитаристике. Годы, когда университет начал выпускать серию сборников «Труды по знаковым

системам», ставшую одним из самых значительных гуманитарных проектов эпохи.

«Когда я приехал, Юрий Михайлович был совсем молодой, сорокалетний. До сих пор больше всего люблю его статьи того времени, про конец 18-го – начало 19-го вв. Я в его семинаре занимался именно этим периодом, писал курсовые работы, потом диплом. Важно, что Ю.М., сам очень любивший архивную работу, и нас к ней приохотил. Еще одно: Ю.М. все время обращал наше внимание не только на центральные фигуры эпохи, а и на разных небольших писателей второго-третьего ряда. С его подачи я с самого начала стал заниматься историей декабристского движения и литераторами-декабристами, но не главными, а второстепенными. И для этого мне приходилось ездить все время в архивы в Ленинград и в Москву, искать какие-то осколки сведений о людях начала XIX века, о которых почти ничего не сохранилось. Наверное, это и была школа: поиски мелкого факта, внимание к деталям, на первый взгляд малозначащим, внимание к судьбам “обычных” людей – и складывание из всего этого каких-то конструкций». (БМ).

«Вместе с моим товарищем Гариком Суперфином, приехавшим в Тарту из Москвы, мы уговорили Лотмана организовать спецсеминар, посвященный мемуаристике. Там я понял, что мемуары – это не только свидетельство об эпохе или авторе, но и прежде всего художественный текст, выстроенный по определенным жанровым законам. Я увлеченно штудировал интересующие меня предметы, корпел над Карамзиным, занимался декабристами». (ПМ).

Помимо Лотмана значительную роль в становлении Рогинского-историка сыграл еще один человек – В.В. Пугачев, преподаватель Горьковского университета, ученик Оксмана, Валка и Гуковского:

«Владимир Владимирович Пугачев – историк, декабристовед, на несколько лет моложе Ю.М., в 60-е годы он заведовал кафедрой в Горьковском университете. Очень легкий на подъем, он тогда часто приезжал в Тарту к Ю.М., тут мы и познакомились. Его ученики ездили в Тарту к нам на студенческие конференции, а мы – к ним в Горький. В конце 60-х группу его студентов арестовали по политическому делу, и Пугачев был вынужден оставить Горький и перебраться в Саратов». (ПМ).

Насколько я понимаю, еще в Тарту Арсений установил с Пугачевым научные контакты (если так можно говорить об отношениях студента-третьекурсника с уважаемым профессором – но Владимир Владимирович был особенным человеком, начисто лишенным про-

фессорских амбиций): первые студенческие научные работы Рогинского – о преддекабристских кружках, об «Ордене русских рыцарей», о М.Н. Новикове, М.Ф. Орлове, М.А. Дмитриеве-Мамонове – тематически лежат в русле проблем, разрабатывавшихся Пугачевым. Эти работы публиковались в 1966–1967 годах в ежегодных сборниках материалов научных студенческих конференций³. Что примечательно: уже в этих сборниках Рогинский выступал не только в качестве автора, но и в качестве одного из редакторов-составителей.

Знакомство с Пугачевым, переросшее в тесную дружбу, продолжится до самой смерти Владимира Владимировича в 1998 году. В 1970-е Пугачев предложит Арсению стать соискателем на его кафедре в Саратовском университете, и тот примет это предложение.

Первая важная развилка в судьбе Арсения наметилась незадолго до окончания университета.

«Когда мой учитель Лотман занялся теорией литературы, кино, искусства (именно тем, что вскоре принесло ему мировую славу), я решил, что не последую за ним. Меня интересовало, не “как это сделано”, а как жили люди, о чем думали – социальный и психологический аспекты истории. И еще мне хотелось восстанавливать утраченные судьбы. Я тогда прокламировал: эпоха глубже всего выражается не в великих, не в лидерах, а в средних интеллигентах. То есть изучать надо второстепенных поэтов пушкинской эпохи и декабристов второго эшелона, память о которых почти уже стерлась. Не бог весть какая глубокая мысль, но для меня она была тогда (и с модификациями потом) очень важной. К тому времени я уже попал в зависимость от наркотика архивов, где по крошкам собирал мелкие факты биографий таких людей». (ПМ).

Юрий Михайлович Лотман был и на всю жизнь остался для Арсения любимым учителем. Именно Лотман определил его интерес к истории российского освободительного движения, именно Лотман сформировал его привычку скрупулезно всматриваться в мельчайшие нюансы того или иного сюжета, документа, свидетельства – и при этом учитывать исторический и культурологический фон, выстраивать (часто за кадром) самые общие концепции, объясняющие смысл и значение частного факта.

³ Рогинский А. К политической биографии М.Н. Новикова // Материалы XXI научной студенческой конференции. Тарту, 1966. Ч. 3. С. 30-31; Он же. Об изучении связей декабристов с масонством // Там же. Тарту, 1967. С. 51-55; Он же. М.Н. Новиков и «Орден русских рыцарей» // Там же. С. 55-58.

И для Лотмана Арсений Рогинский в те годы был одним из самых любимых учеников (иные говорят, что самым любимым). И когда Арсений объявил Лотману, что намерен заниматься научной работой совершенно самостоятельно, а не следовать за учителем, это стало нелегким переживанием для обоих.

Юрий Михайлович был не только великим ученым, но и замечательным педагогом. Он понимал, что значит для молодого исследователя возможность и право самому выбирать свой путь в науке и в жизни, и учитель с учеником расстались по-дружески. Для Арсения же все это – и годы ученичества, и решение расстаться с «тартуской школой» – значило очень много: он никогда не забывал об этой, наверное, первой важной развилке в своей судьбе, хотя и не сомневался никогда в своем выборе. А тартуское братство сокурсников, преподавателей, ученых навсегда осталось его «референтной группой», возможно, самой главной в его жизни.

Я хорошо помню день и обстоятельства своего первого знакомства с Арсением. Это случилось в Тарту, в доме профессора Эстонской сельскохозяйственной академии, замечательного Якова Абрамовича Габовича, вечером достопамятного дня 21 августа 1968 года. Ничего удивительного, что оба мы запомнили дату: большинство людей нашего поколения помнят этот день по часам и минутам, так, как наши отцы и матери помнили день 22 июня 1941-го. Арсений только что окончил университет, я только что потерпел фиаско при попытке поступить в него. Знакомство, впрочем, было шапочным; да и в последующие семь лет мы встречались всего несколько раз и мельком. Поэтому я и не знаю (а впоследствии не удосужился спросить), каким образом и почему в первой половине 1970-х исследовательские интересы Рогинского, оставаясь в русле истории освободительного движения, смещались от декабризма к народовольчеству, – хотя и его декабристоведческие штудии продолжались до 1978-го и даже позже⁴.

⁴ Рогинский А. О возможных источниках некоторых слухов вокруг имени декабриста Новикова // *Quinquagenario* : Сб. статей молодых филологов к 50-летию проф. Ю.М. Лотмана / Тартуский гос. ун-т; отв. ред. А. Мальц. Тарту, 1972. С. 109-121; Равдин Б.А., Рогинский А.Б. Записка декабриста М.Н. Новикова «О земледелии в России» (1816) // *Освободительное движение в России* : Межвуз. науч. сб. Вып. 5. [Саратов], Изд-во Саратовского гос. ун-та, 1975. С. 112-143; Рогинский А.Б., Равдин Б.А. Вокруг доноса Грибовского // Там же. Вып. 7. Саратов, 1978. С. 91-100; Рогинский А. События и люди 14 декабря : Рец. на кн. Я. Гордина «События и люди 14 декабря. Хроника». (М., Сов. Россия, 1985) // *В мире книг*. 1987. № 2. С. 27; Рогинский А. Рец. на кн. А. Афанасьева «...И помни обо мне. Повесть об Иване Сухинове». (М., Политиздат, 1985) // *Новый мир*. 1987. № 1. С. 267-268.

Теперь – к следующей развилке.

Первая половина 1970-х. Арсений Рогинский – учитель литературы в одной из вечерних школ Ленинграда и одновременно, как уже было сказано, соискатель на кафедре истории СССР досоветского периода истфака Саратовского госуниверситета, у В.В. Пугачева. Правда, для соискателя у него на редкость мало публикаций, создается впечатление, что степень кандидата наук ему не очень-то нужна. Но для 1970-х это ничуть не уникально: гуманитарий, блистающий в кругу друзей, но не стремящийся делать карьеру, ограничивающийся какой-нибудь поденной службой – библиотекаря, учителя, экскурсовода, редактора, или перебивающийся случайными журнальными заработками, становится одним из социальных типов эпохи. Среди людей, окружавших Арсения, было немало представителей этого типа.

(Короткое отступление: малое число публикаций – это ни в коем случае не от лени. Возможно, уже тогда проявилось еще одно свойство Арсения как автора: он был невероятно, до мнительности, аккуратен по отношению к письменному тексту, мог сутками размышлять над какой-нибудь одной формулировкой, над фактической обоснованностью того или иного тезиса, адекватностью изложения того или иного обстоятельства. Текст доводился до зеркального блеска – а после этого давался на отзыв любому, кто оказывался в пределах видимости. И когда он собирал три, четыре, восемь таких отзывов, то, независимо от их благоприятности, садился за переделку... Замечу, что с той же высочайшей ответственностью он подходил и к редактированию чужих текстов.)

Для той социокультурной группы, к которой принадлежал Арсений Рогинский, первая половина 1970-х – это прежде всего время диссидентов.

Арсений не был в те годы прямо включен в какую-либо конкретную, например, протестную (она же так называемая правозащитная) диссидентскую деятельность. Но еще в Тарту, одном из самых заметных островов советского инакомыслия, он завел диссидентские дружбы (Наталья Горбаневская) или сдружился с людьми, которые вскоре станут активными диссидентами (Гарик Суперфин, Томас Венцлова). Между прочим, летом 1968-го, за несколько недель до очного знакомства с Арсением, я впервые услышал его имя от недавнего солагерника моего отца, эстонского националиста Марта Никлуса, который поселился после освобождения в Тарту. «Ко мне тут не-

давно приходили знакомиться, – сказал Март с сильным, по-моему, слегка утрированным эстонским акцентом, – два молодых человека: Арсений Борисович Рогинский и Габриэль Гаврилович Суперфин». В этом кругу, стало быть, визит к свежесвободившемуся политзэку с тем, чтобы «сделать знакомство», был в порядке вещей. Ну, и чтение самиздата, разумеется, и не только художественного, но и правозащитного.

Конечно, при этом Арсений не считал себя диссидентом; в Ленинграде, куда он вернулся после окончания университета, «диссидентство» вообще было не в моде:

«Я работал библиографом в ленинградской Публичной библиотеке, вращался в кругу ученых, поэтов и художников. В этом мире говорили: “господа московские диссиденты”, “это все московские дела”. Таково было петербургское отмежевание от политики, так как диссидентское движение здесь считали политикой. Москва – город политики, Петербург – город культуры.

Вскоре среда ленинградских художников, образующих “другую культуру”, “другую литературную действительность”, именно за это подвергнется преследованиям, и не один насмешник попадет в лагерь.

В нашем кругу было принято снобистки-пренебрежительное отношение к Москве: “Говоря по правде, мы не очень различаемся: мы пьем водку, и они пьют, но они выбрали себе другую общественную роль, они хотят быть для нас примером. Антисоветские герои! А нам что советское, что антисоветское – все равно”. На самом-то деле нам было, конечно, совсем не все равно, но такова была наша стилистика. <...> Это действительно были “дела московские”». (ПМ).

«Езжу в Москву, провожу целые дни в архивах. В это время начинается сбор подписей под разными письмами. Мои друзья принимают в этом участие – так они реагируют на аресты. В домах, в которых я бывал, подписывали. А я – нет. Потому что подпись была для меня равносильной выходу на площадь. А я о себе точно знаю только одно: я – не человек площади.

Я не боюсь, но, когда я нахожусь на открытом пространстве, чтобы выполнять очевидные и банальные действия, я сам себе кажусь смешным.

Я понимал, что публичные выступления имеют большой нравственный смысл; нужно, чтобы хоть часть общества протестовала. Но сам я был отделен от них толстым стеклом; сквозь него я смотрел на историческую панораму, на спектакль, в котором люди играют

роль положительных героев, а власть является черной силой. Я был зрителем, хотя временами выпадал из этой роли». (ПМ).

Действительно, иногда он «выпадал из этой роли». Регулярно получал, читал и даже перепечатывал и давал читать другим (а это уже серьезный криминал: не просто «хранение», но «размножение» и «распространение»!) «Хронику текущих событий»; время от времени выступал в роли ее корреспондента – передавал туда какую-то информацию. Впрочем, и «Хронику» он воспринимал со своей, специфической точки зрения – не как информационный бюллетень, а как летопись:

«Когда я уже после учебы жил в Ленинграде, Наташа (Горбаневская. – А.Д.) через кого-то прислала мне номер “Хроники текущих событий”. Он мне понравился. “Хроника”, как я ее понимал, служила идее спасения памяти. Эта идея “Хроники” оказала на меня куда большее воздействие, чем те трагические сведения, которые ее наполняли. Периодически я с ней сотрудничал – собирал информацию, а когда до меня доходил номер – старался его размножить». (ПМ).

Однако самиздат, дружеские отношения с московскими диссидентами, вроде Горбаневской и Суперфина, даже «Хроника» для гуманитарной среды обеих столиц, да и не только столиц, не представляли собой ничего из ряда вон выходящего.

«Он (В.В. Пугачев. – А.Д.) постоянно наезжал по разным своим делам (архивы, конференции, защиты чьих-то диссертаций) в Ленинград. Останавливался иногда у меня. Внимательно, как-то уперто, читал самиздат, особенно “Хронику текущих событий”. Мы много разговаривали. И про 19-й век, и про нынешние дела. Он был удивительно яркий собеседник, начинал говорить что-нибудь про декабристов, про их отношения с тогдашними либеральными генералами, а потом соскальзывал на истории про сегодняшних обкомовских работников (об этих я вовсе ничего не знал), и так у него все закручивалось, что одно помогало понять другое». (БМ).

Подозреваю, что последняя мысль – «одно помогало понять другое» – относится не только к Пугачеву, но и к его собеседнику. При том даже, что Рогинский как профессиональный историк понимал отнесенность любых исторических аналогий.

Сам он считал, что прежнее дистанцирование от диссидентской активности сменилось у него более пристальным интересом в 1973 году, под впечатлением от двух событий: ареста его старого друга Габриэля Суперфина и, как ни странно, знаменитого процесса Якира и Красина.

«...я занимался историей Якова Стефановича. Он был известным народником. В семидесятые годы XIX века его группа пошла в народ, чтобы сформировать крестьянскую армию, и была, разумеется, разбита. Стефанович бежал в эмиграцию, через некоторое время вернулся, чтобы пробуждать от сна революцию. Его поймали, и началось что-то странное. Разошлись слухи, что он выдает. Одни товарищи его обвиняли, другие – защищали. <...>

С моим приятелем и коллегой Львом Лурье мы нашли в архиве считавшееся давно уничтоженным письмо Стефановича его другу Дейчу, написанное в тюрьме. Оказывается, он никого на следствии не выдал, но решился на переговоры с руководителем политического сыска, талантливым и хитрым полковником Судейкиным. Это были разговоры равных – “вождь революции” сидел напротив “вождя жандармов”. Стефанович говорил: “Хорошо, мы не будем производить покушения на царя, но вы освободите таких-то и таких-то...”

В нашей статье об этой находке, которую Лотман опубликовал в “Научных записках Тартуского университета”⁵, говорилось об иерархии в революционной среде, о революционной этике, о том, что “революционное генеральство” приводило к тому, что некоторые считали себя вправе, не имея на то никакой санкции от коллектива, в определенных ситуациях выступать от имени всего движения или группы. До добра это никогда не доводило.

Я послал эту публикацию в тюрьму Гарику [Суперфину]. Он ответил: “Это о Пете [Якире] и о всех нас”.

(В начале 1981-го, в разгар охоты за самиздатской периодикой, один из самых талантливых самиздатских публицистов возбужденно предлагал мне: “Мы должны написать им письмо. Если они отпустят Юрия Орлова и других по нашему списку, то мы прекратим издание “Хроники”, “Поисков” и “Памяти”. Это разумно и для них, и для нас”. В ответ я рассказал ему о Стефановиче.)». (ПМ).

Уже много позже, в момент случайного застолья на какой-то «конспиративной квартире», где мы всей компанией занимались сборкой очередного тома нашей «Памяти», я с восторгом слушал внезапную феерическую устную импровизацию-рассказ Рогинского о поисках этого письма Стефановича в архивах, об обстоятельствах его написания, о коллизиях вокруг него, возникших в 1880-е годы и продол-

⁵ Лурье Л.Я., Рогинский А.Б. Неопубликованное письмо Я.В. Стефановича Л.Г. Дейчу // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 369. Труды по русской и славянской филологии. XXVI. Литературоведение. Тарту, 1975. С. 161-208.

жившихся в 1920-е в Обществе бывших каторжан и ссыльнопоселенцев, об общественно-политическом подтексте этих коллизий. В его трактовке подоплека споров и скандалов вокруг «пропавшего письма» в среде ветеранов революционного движения состояла в том, что марксисты (ставшие меньшевиками) и народники (ставшие эсерами) перекладывали друг на друга вину за возникновение большевизма. Основных персонажей – Я.В. Стефановича и Г.П. Судейкина, эмигрантов-народовольцев и эмигрантов-чернопередельцев, членов Общества политкаторжан – Арсений очень убедительно изображал в лицах.

Конечно, в публикации Лурье и Рогинского 1975 года эти блеск и глубина понимания всех мыслимых контекстов едва просматриваются – академический стиль диктует свои ограничения, – но специалистам, по-видимому, они были вняты. Я присутствовал при знакомстве Рогинского с М.Я. Gefтером, и первый вопрос, который Михаил Яковлевич задал своему гостю, был: «Это вы – автор публикации о письме Стефановича Дейчу?» После чего их разговор немедленно ушел в источниковедческие дебри, понятные только историкам русского революционного движения XIX века...

Чтобы закончить об этой публикации, хочу отметить, что, насколько мне известно, непосредственно обнаружил письмо Лев Лурье, но всю предварительную стратегию архивного поиска выстроил Арсений Рогинский. У него был этот нечастый архивный дар: понять, где надо искать. Сколько раз на моей памяти к нему приходили коллеги-историки именно ради того, чтобы выслушать его мнение о том, в каких архивах и какие фонды следует просмотреть, чтобы пролить свет на тот или иной вопрос. Рогинский никогда не отвечал односложно: это всегда было длинное рассуждение о том, почему, как и где могли отложиться документы, относящиеся к делу. И не то чтобы он знал наизусть, скажем, каталоги основных исторических архивов (хотя материалы фонда рукописей в Публичке он знал действительно хорошо), нет, он начинал строить поисковые гипотезы – и эти гипотезы на удивление часто подтверждались. В конце концов слава его как «советчика» по вопросам, связанным с архивным поиском, вышла за пределы отечества; хорошо помню уже во второй половине 1970-х длинную вереницу зарубежных стажеров – славистов и историков, жаждущих получить у мэтра ту или иную консультацию. Жаль, что в персональные библиографии редко включается раздел «благодарности»; с другой стороны, как выявить эти благодарности,

разбросанные по десяткам, а может, и сотням разных публикаций на многих языках?

...А была ли вообще развилка – какое-то осознанное решение, приняв которое Арсений Рогинский занялся делами, которые привели его в тюрьму? Была ли граница, которую надо пересечь, чтобы оказаться по ту сторону? Я в этом сомневаюсь.

То есть граница, хоть и размытая, несомненно была. Была зона патентованного, «крутого» диссидентства: поступки или систематическая деятельность, за которые с высокой вероятностью могли посадить. Была зона сравнительной безопасности: такой, как бы сказать, «не-лояльный образ жизни» – чтение самиздата, дружба с диссидентами, свободное общение с иностранцами и т.д.; карьеры не сделаешь и даже с работы могут выгнать при случае, но скорее всего не посадят. А еще была «серая зона» неопределенного риска, оказавшись в которой невозможно предсказать, что будет; здесь все зависело от сиюминутных установок и персональных решений Пятого управления госбезопасности: могло закончиться крупными неприятностями, вплоть до ареста и срока, а могло и обойтись. И конечно же, Арсений все это прекрасно понимал.

Говоря о «развилке», я имею в виду другое: переступал ли когда-нибудь Рогинский некую *психологическую* границу? Сделал ли он в какую-то минуту выбор типа «вот теперь я готов делать то-то и то-то и за это сесть в тюрьму»? Склонен думать, что такой минуты не было. Не потому, что у Арсения не хватало понимания или воображения, а потому, что для него это был *ложный выбор*. Эта развилка не была принципиальной. Во всяком случае, не такой принципиальной, как в 1968 году, когда надо было делать выбор между «школой Лотмана» и собственным путем в науке, и не такой принципиальной, как позже, в начале 1990-х, но об этом потом... Да, он прекрасно знал, в чем и когда переходил рубежи между дозволенным, недозволенным и наказуемым. Но это были *не его* рубежи: они были навязаны ему – и всем нам – некой внешней и не очень умной силой. При пересечении этих рубежей жизнь в своей основе не менялась, просто она становилась более опасной. Для многих дрейф в диссидентство был сопряжен с процессом самоосвобождения – но не для Арсения: он изначально чувствовал себя свободным человеком. И тогда, когда занимался российской историей девятнадцатого века, и тогда, когда счел для себя важным и интересным применить свои исследовательские навыки к табуированным темам и сюжетам двадцатого.

Он знал, что просто следует двигаться в том направлении, в котором ведут тебя логика судьбы и личный интерес, интеллектуальный, эмоциональный, гражданский. Это направление определенно ведет на минное поле? Ну, что делать...

Пожалуй, сложнее было перейти другую границу, стилистическую: ведь она определялась не столько коллективной стилистикой социума, «петербургским отмежеванием от «политики»», сколько собственным характером, нелюбовью, даже отвращением к публичности (Рогинский и сам говорит, что он «не человек площади», что на площади он «сам себе кажется смешным»).

Но работа по восстановлению и сохранению памяти о прошлом – это совсем не то же самое, что публичные протестные выступления. Более того, эта работа вообще не очень совместима с публичной гражданской жестикующей. Как, впрочем, любая работа, в том числе и по сохранению памяти о настоящем. «Хроника текущих событий» тоже выпускалась анонимно.

Первым «диссидентским предприятием», в котором Рогинский принял активное участие, стало, как и следовало ожидать, собрание архива – архива текущего самиздата.

«Может быть, не мне она (идея архива. – А.Д.) пришла в голову, а Сергею Дедюлину. Мы с ним познакомились, кажется, в 1973-м. Вскоре и подружился. Через пару лет он бросил химический институт, где работал, и устроился учителем в ту же школу, что и я. В 1973-м арестовали Гарика Суперфина. В 1974-м появился «Архипелаг». Вдруг как-то осозналось, что через наши руки проходит много разного самиздата и что нужно этот самиздат сохранять. Потому что потом он исчезнет. И мы стали собирать. Потом надо было этот архив описывать (этим больше всего Сережа занимался, кажется, еще и Валерий Сажин, старый мой знакомый, филолог, служивший в отделе рукописей Публички), где-то держать и т.д. Через несколько лет КГБ про этот архив прознал, стал им активно интересоваться. И систематический сбор мы прекратили. Но все-таки бумаг собралось не так мало, десяток коробок, наверное, может, и больше. Хранить его в безопасности была проблема. Хранили то у одного, то у другого из друзей. Довольно долго он пролежал на антресолях в квартире Володи Сергеева и Наташи Ашимбаевой, оттуда его по нашей просьбе забрал Андрей Арьев, и я уже не знал, куда он его увез. Потом прошло много лет и событий разных, архив этот у меня из

головы совсем вылетел, ну мало ли что могло с ним случиться, и однажды, уже в начале 90-х, Андрей у меня спросил: “Архив-то когда заберешь?” Я поразился. Мы поехали куда-то на окраину на такси, и совсем не знакомый мне человек, друг Андрея, вынес из подъезда эти коробки и помог погрузить их в машину. Вскоре я перевез их в Москву, и теперь они входят в Архив Мемориала как “Ленинградская коллекция Самиздата”». (БМ).

Не бог весть какая оригинальная идея – собирать самиздат. Многие этим занимались в те годы, Кронид Любарский получил за это лагерный срок, Юрия Шихановича и Вячеслава Игрунова отправили в психбольницу. В ленинградском начинании, однако, имеется важный нюанс: Дедюлин и Рогинский не просто собирали самиздат и даже не создавали «библиотеку Самиздата» (как Игрунов) – их коллекция изначально формировалась как *архивная*. Самиздат, который едва ли не всеми, кто был к нему причастен, воспринимался как актуальное культурно-политическое явление, впервые стал рассматриваться как будущий объект гуманитарно-исторического наследия.

Понятно, что для КГБ эти тонкости были безразличны: в практике «органов» гуманитарные мотивации Дедюлина и Рогинского оценивались по тем же статьям Уголовного кодекса, что просветительные и гражданские мотивации Игрунова или Любарского.

Комплектование архива продолжалось до 1979 года. Помню Сережу Дедюлина, уже году в 1978-м, задумчиво взирающего на какой-то материал о крымскотатарском движении и вслух размышляющего о том, как правильно составить карточку для тематического каталога, что в ней писать: «крымские татары» или «татары крымские»? Архив приобрел тихую, но широкую славу: «самиздатчики» обеих столиц знали о нем и всегда откладывали из своей продукции «обязательный экземпляр» для передачи в Питер (точно так же, как из любого официального издания посылались обязательные экземпляры в Ленинку, Публичку и Книжную палату). Впрочем, противоречие между «тихой» и «широкой» славой привело к неизбежному результату: в марте 1979 года у нас у всех прошли обыски, и картотеку у Сережи изъяли (сам архив, как следует из вышеприведенной цитаты, сохранился). А Сергей, в продолжение своих архивных занятий, включился в новую самиздатскую гуманитарную инициативу, на сей раз библиографическую, – в издание «Суммы», замечательного реферативного журнала, специализировавшегося на самиздате и вы-

пускавшего в 1979–1982 годах ленинградцами Сергеем Масловым и Анатолием Вершиком.

Вернемся назад. В 1974–1976 годах Арсений Рогинский – пока что в одиночку – начинает всерьез заниматься историей социалистического подполья 1920-х. Разумеется, в советское время тема полностью запретная. Что характерно: его очень мало интересует *политическая* история социал-демократических и народнических движений после Октябрьского переворота: съезды, объединения, размежевания, идеологические нюансы. Он собирает материалы к биографическому словарю меньшевиков после Октября, восстанавливает судьбы отдельных людей, рядовых подпольщиков.

Напрашивается тривиальное, почти по Ленину, объяснение: декабристы – народовольцы – «третий этап революционного движения» – и отсутствующий у классика четвертый, послеоктябрьский этап. Почему бы и нет? В конце концов, кто из нас, читая примечания к советским публикациям на историко-революционные темы (в «Прометее» и других приличных популярных альманахах), не спотыкался на биографических справках персонажей, на стандартном «– после 1934)» при указании дат их жизни? Кто не догадывался, что за этим кроется, кому не хотелось узнать больше об этом «после 1934)?

Я долго считал, что и у Арсения интерес к судьбам социалистов в XX веке стал естественным продолжением его прежних, «легальных» научных интересов. Нет, оказывается, дело было не так:

«В самом начале 70-х, задолго до «Памяти», Наташа Альтварг (Рубинштейн), филолог, сотрудница Музея Пушкина на Мойке, 12 (потом она эмигрировала и много лет работала в израильских русских изданиях и на Би-би-си) привела меня в гости к своему соседу – Марку Рахмиэльевичу Левину. Он оказался старым меньшевиком, пробывшим в лагерях и ссылках фантастическое количество лет – с 1929 до 1955. От него первого я узнал о социалистическом подполье 20-х. Верней, так: еще в конце 1969 года дома у Наташи Горбаневской (за несколько дней до ее ареста) я целый день, с утра до ночи, читал воспоминания эсерки Екатерины Львовны Олицкой. Был очень впечатлен, но никого, кто мог бы мне что-то пояснить, дополнить, я не знал. Теперь я стал регулярно бывать у М.Р. Левина. М.Р. рассказывал, но записывать было неловко, я старался запоминать. Подружился с его сыном, молодым тогда адвокатом Юрием Шмидтом, который потом стал знаменитым адвокатом по политическим делам <...>».

Одним из первых толчков к работе над послереволюционными социалистами стал для меня один забавный разговор. Я рассказал своему московскому другу, историку и переводчику Саше Грибанову, что я познакомился с меньшевиком – бывшим подпольщиком. А он стал смеяться и говорить, что никакого социалистического подполья не было, что это все выдумки. Я в ответ стал особенно настырно расспрашивать М.Р. Левина, а потом других меньшевиков, и доказывать, что оно все-таки было. Сейчас-то после публикаций последних лет, в особенности А.П. Ненарокова, тут спорить не о чем». (БМ).

Строго говоря, и эти исследовательские штудии, с точки зрения госбезопасности явно нежелательные, еще не были стопроцентным криминалом (хотя шанс схлопотать за это серьезные неприятности имелся). Ну, собирает человек картотеку; главный вопрос в том, что он с этой картотекой намерен делать. Мало ли литераторов того времени сочиняли «диссидентские» романы и повести, которые потом годами хранились в ящиках их письменных столов, дожидаясь перестройки? Да и литературоведы, случалось, писали «в стол», если из-под их пера возникало что-нибудь слишком уж неортодоксальное. Все-таки диссидентство (мне так кажется) начиналось тогда, когда крамольная интеллектуальная продукция, с ведома и согласия их авторов, выходила на свет божий, становилась публичным достоянием. В середине 1970-х крамола полезла из всех щелей, обретая публичное звучание уже не только с помощью механизмов «классического самиздата» – машинописных перепечаток, передававшихся из рук в руки, но и через тамиздат – зарубежные публикации на русском языке. Издательства «Ардис», «Посев», «Overseas Publication», «YMCA-Press», журналы «Континент», «Вестник РХД», «Новый журнал» и многие другие печатали многочисленные тексты, потоком приходявшие из СССР: современную художественную прозу и поэзию, исторические, филологические и религиозно-философские исследования. «Правозащитные», то есть протестные материалы печатали издательство «Хроника» в Нью-Йорке, Фонд имени Герцена в Амстердаме, тот же «Посев». Все эти издания нелегально просачивались обратно в СССР, они ходили по рукам, их размножали фотоспособом. Было ощущение, что все большому количеству людей из числа творческой публики осточертело играть по советским правилам.

«Толстые» самиздатские журналы и альманахи тоже уже появились, – «Политический дневник» и «Двадцатый век» Роя Медведева (кстати, в них время от времени публиковались материалы, посвященные со-

ветской истории), национал-патриотическое «Вече», журнал «Евреи в СССР», – но, кажется, никому еще не пришло в голову готовить журнал здесь, а печатать его за рубежом, не полагаясь на самиздат. Исторический сборник «Память» стал первым таким изданием.

Опять же, исходный импульс исходил не от Рогинского. Насколько я знаю, первоначальная идея родилась у Сергея Дедюлина. Это еще не была мысль об историческом сборнике широкого профиля: речь шла об альманахе, может быть, не периодическом, а одноразовом, посвященном истории культуры советского периода. Дедюлин обсудил эту мысль со своим другом Александром Добкиным и, кажется, еще с Валерием Сажиным, а уж затем, заручившись их поддержкой, отправился разговаривать с Арсением. Поразмыслив, тот согласился принять участие в сборнике и, как это часто с ним случалось, быстро взял инициативу в свои руки. В ходе более подробных обсуждений по инициативе Рогинского, не встретившей, как я понимаю, особых возражений, тематика будущего сборника заметно расширилась.

«Мысль о “Памяти” – серьезном историческом периодическом сборнике – обсуждалась вначале в небольшом ленинградском кружке (Сергей Дедюлин, Александр Добкин, Валерий Сажин, Константин Поповский, я) летом–осенью 1975 года. <...> Историков, кроме меня, среди нас не было, но это не казалось таким уж важным. Мы знали, чего мы хотели. Одними двигало стремление восстановить правду о терроре (тогда только что появился “Архипелаг ГУЛАГ”, и было ясно, что это только первое приближение к огромной теме), другими – интерес к истории культуры или науки.

Чуть позже мы узнали, что Лариса Богораз в открытом письме Андропову заявила, что намерена самостоятельно собирать материалы по истории сталинских репрессий. Мы связались с ней, и таким образом наша команда увеличилась еще на несколько человек: саму Ларису, ее сына Александра Даниэля, Алексея Коротаева». (ПМ).

Нисколько не умаляя публицистического значения «Открытого письма Андропову» Ларисы Иосифовны Богораз, уверен все же, что это письмо так и осталось бы протестной декларацией, если бы не встреча Л.И. с инициативой ленинградцев. Ее, как и меня, затянуло в воронку, созданную их энергетикой, в первую очередь личной энергетикой Арсения, с которым я хотя и был знаком раньше, но впервые столкнулся близко именно тогда (с этого момента мы всег-

да находились в шаговой доступности друг от друга, исключая, разумеется, четыре года его лагерного срока).

А с точки зрения ленинградской команды включение в игру Ларисы Иосифовны (да и меня в какой-то степени тоже) было решительным шагом на пути к «диссидентству».

Я помню первую нашу встречу в квартире Кати Великановой, где мы с Л.И. встречали Новый, 1976 год (Арсений и Сергей пришли туда утром 1 января! – впрочем, Сережа, кажется, предварительно встретился с Л.И. еще раньше), и вполне уверен, что обсуждался уже вариант сборника с широким жанрово-тематическим спектром. По-моему, именно в этот день была определена принципиальная структура сборника (не сомневаюсь, однако, что, вернувшись в Ленинград, Рогинский подробнейшим образом согласовал все наши решения с Сашей Добкиным) и впервые прозвучало слово «Память» как возможное название.

Впоследствии стало понятно, что у некоторых из нас были свои особые темы, которые вносились в общую копилку: у Дедюлина и, вероятно, у Добкина – по-прежнему история культуры, у Л.И. (в соответствии с ее письмом Андропову, первоначальным толчком к которому в свою очередь стали «Архипелаг ГУЛАГ» и высылка Солженицына, а также история ее собственной семьи) – история сталинского террора. Для Феликса Перчёнка, который присоединился к нам чуть позже, – история науки, судьбы ученых. Что касается меня и, как мне кажется, Арсения, то нас, пожалуй, в равной степени интересовали любые темы и сюжеты, которые невозможно было разрабатывать в рамках официальной исторической науки.

«История продолжалась в сегодняшнем дне, а решение сегодняшних проблем следовало искать в прошлом. Но официальная историческая наука была насквозь фальсифицирована. Историю пропускали через двойной фильтр: академического монополизма и идеологической цензуры. Было понятно: эти люди – те, что у власти, – враги истории. Закрыли архивы, уничтожили или хотят уничтожить самое ценное – историческую память. Отбирают у нас наше прошлое. Но мы должны его отобрать назад. Кроме ваших вонючих государственных архивов, в которых море лжи и в которые вы нас все равно не пускаете, пока еще есть архивы личные, домашние. И есть люди, память каждого отдельного человека. Это и есть наши источники, наши неистоощимые резервы в поисках исторической правды.

Наверное, не мы одни так думали. Идея воссоздания независимой исторической науки носилась в воздухе». (ПМ).

«Свои», кровные темы у Рогинского тоже имелись. Сначала это были социалисты: он ведь продолжал собирать материалы для Словаря меньшевиков.

«Когда началась «Память», я уговорил М[арка] Р[ахмиэльевича Левина] написать для нас его воспоминания о “Красном Кресте” Е.П. Пешковой – тема помощи политзаключенным в середине 70-х была актуальной, а уж о том, как это делалось в 20–30-е годы, никто почти ничего не знал. Так М.Р. стал одним из постоянных наших авторов, вскоре и общим другом, по-моему, почти весь наш кружок с ним перезнакомился и у него дома перебивал. Примерно тогда же, зимой 1975-76 гг., через цепочку Я.С. Лурье – И.Д. Амусин (историк-гебраист, специалист по кумранским рукописям, в конце 20-х – социалист-сионист, побывал в ссылке, а потом еще в конце 30-х его привлекали к делу «кружка античников», по которому [М.Н.] Ботвинник и ряд других студентов ЛГУ проходили) мы слевой Лурье попали к старой меньшевичке-соловчанке Розе Зельмановне Ветухновской и несколько раз ходили к ней, записывали разные сюжеты, а один – “Этап в войну” – опубликовали в первом выпуске “Памяти”. Кажется, это было первый раз, когда я пользовался магнитофоном, но не маленьким кассетником (маленький, «Весна», появился годом позже, мне его подарили к 30-летию), а громоздким, с лентами на бобинах, – где-то Лев раздобыл и не ленился таскать. Я заметил, что в рассказах Розы Зельмановны и М.Р. Левина многие фамилии пересекаются, не так-то много было меньшевиков в лагерях и ссылках, и все были или знакомы, или слышали друг о друге. Я стал эти фамилии встречающиеся заносить на карточки. Так возникла идея “словаря меньшевиков”. Потом через Ветухновскую (по-моему, именно через нее) я узнал адрес еще одной меньшевички – Веры Владимировны Рыбаковой, жившей в Полтаве, поехал к ней, был хороший, хотя и не очень толковый разговор, она была больна. И еще поехал к другой старой меньшевичке Вере Яковлевне Аркавиной в Харьков. Она с помощью Алеши Коротаева потом подготовила несколько интересных публикаций для “Памяти”. Кто-то из них дал мне адрес Давида Мироновича Бацера, живущего в Москве, тоже соловчанина, тоже социал-демократа, полжизни просидевшего по тюрьмам и ссылкам. Как оказалось (хотя это не сразу выяснилось), Д.М. не только помнил многое и о многих, но и давно уже собирал материалы о товари-

цах своей молодости. В “Памяти” он принял участие охотно, как будто только и ждал, когда кто-нибудь обратится к нему с чем-то подобным. Он много подготовил для нас разных небольших материалов, но главное – фундаментальную статью для 3-го выпуска о молодежном социал-демократическом движении в начале 20-х. Я, сколько мог, помогал. И, как и в случае с М.Р. Левиным, вся наша компания у него перебивалась, а многие и подружились. Очень быстро Д.М. стал не просто автором “Памяти”, а советчиком, консультантом, критиком – в общем, почти постоянным сотрудником. Ну и другом, разумеется. Особенно для москвичей – Ларисы Иосифовны, Сани, Алеши. Алеше Коротаеву незадолго до смерти Д.М. передал на хранение свое собрание фотографий социалистов (многие из них теперь появились на сайте “Мемориала”) и, кажется, некоторые рукописи. Через Ксению (Асю) Великанову попал к старой анархистке Зоре Борисовне Гандлевской. Она рассказывала сюжеты из времени Гражданской войны – об “атаманше Марусе” (Марии Никифоровой), о своем муже А.Н. Андрееве, очень известном еще с начала 1900-х революционере, тоже анархисте, и о его отношениях с Дзержинским, объясняла (помнится, безо всякого восхищения), кто такие “анархисты-безмотивники”. Страстно интересовалась современными диссидентскими новостями – у кого обыск, кого посадили... Всякий раз, когда речь заходила о том, что кто-то объявил голодовку, она ревниво спрашивала “а какую?” и потом обязательно произносила запальчиво, как будто что-то доказывая то ли самой себе, то ли нам, “нынешним”: “А мы с Андреевым всегда объявляли только сухую!”

Она соединила нас с Бертой Александровной Бабиной, тоже колымчанкой, старой, с 1908 года, эсеркой, потом левой эсеркой. У Б.А. мы бывали довольно регулярно, обычно с Катей Великановой или Саней Даниэлем. Пили чай с коржиками или ватрушками. Б.А. была хорошо знакома со всей легендарной эсеровской верхушкой, с ней можно было говорить и о Боевой организации, и о покушении Каплан, и о порядках в послереволюционных тюрьмах. Это было захватывающе. Что-то мемуарное у нее уже было написано к нашему знакомству, что-то она написала по нашей просьбе. Ну и, конечно, мы задавали ей вопросы и записывали ответы. Потом, кажется, Саня Даниэль специально ее еще раз переспросил и подготовил большое интервью. Вообще общение с ней, Бацером, Левиным – это не был “сбор информации”. Может, тут уместно слово “школа”. А в общении с Б.А. я вдобавок все время еще что-то торжественное ощущал. Очень

я тогда гордился, что она подарила мне свою фотографию 20-х годов времен Усть-Сысольской ссылки (“от одного из осколков старой гвардии”). Эта фотография все годы стоит у меня на полке.

А еще встречи с Георгием Николаевичем Максимовым, которому случилось стать, по-моему, вместе с Натансоном, одним из основателей Партии революционного коммунизма, такого маленького осколка революционного народничества. Но когда ПРК решила слиться с большевиками, Максимов из нее ушел. Борис Равдин и Саня Даниэль много с ним разговаривали, раз-другой и я присутствовал, из этих записей получились интересные публикации в “Памяти”.

<...>...нас очень интересовало сопротивление режиму – а оно виднее, четче просматривалось именно в 20-е годы. Еще нам было очень важно понять, как эти люди сумели сохранить себя и – что поразительно – свои убеждения. Как не сдавали позиции. Ну а с середины 30-х их стали просто убивать – выжили единицы. Еще социалисты были важны для нас, наверное, потому, что они всегда были неудобны и коммунистам, и антикоммунистам, оболганы со всех сторон, и наши публикации, казалось, немного восстанавливали справедливость». (БМ).

Позже, уже незадолго до ареста Арсения, «его» темой стала история кооперативного движения и, шире, судьба разного рода независимых коллективных инициатив в Советской России – гражданских, культурных, экономических, социальных, религиозных.

«...я начал всерьез задумываться о месте независимой общественности в жизни страны. Я занялся историей общественных организаций 1920-х годов, был потрясен их фантастическим количеством и разнообразием. Я выискивал в библиотеках и архивах упоминания об их деятельности, уставы, отчеты. Сами названия: “Общество любителей Вагнера”, “Союз евреев-переселенцев”, “Общество содействия бывшим военнопленным” – звучали для меня, как музыка. И все они были уничтожены. Мог ли я подумать тогда, что через 20 лет жизнь сделает меня профессиональным “общественником” и едва ли не экспертом по модной ныне теме “Развитие гражданского общества в современной России”?». (ПМ).

Думаю, помимо того что это действительно безумно интересная тема, она каким-то образом связывалась у Рогинского с миром современных «московских диссидентов», в котором он очень быстро стал своим человеком и не то чтобы слился с ним полностью, но с огромным любопытством в него всматривался (кажется, у социологов это на-

зывается «включенным наблюдением»). Он видел в нем странный, слегка деформированный советскими условиями прообраз вновь зарождающегося гражданского общества, полностью уничтоженного к началу 1930-х.

К слову, это включение в мир диссидентов из всех наших «ленинградцев» в полной мере удалось только ему одному. Арсений вообще был удивительно пластичным человеком.

Рассуждая о «совсем своих» и «не совсем своих» темах для тех или иных людей, работавших над выпуском «Памяти», я не хотел бы создать впечатления, что у нас было какое-нибудь четкое разделение труда. Мы действительно работали командой, хотя лишь изредка собирались вместе, да это и технически было трудно: половина команды жила в Питере, половина – в Москве. Обычно общий сбор происходил дважды в течение работы над очередным томом: в начале, чтобы определить состав текущего тома и распределить между собой исходные материалы, и на завершающем этапе, когда надо было окончательно отредактировать тексты, собрать из них выпуск, сформировать общий справочный аппарат: аннотации, именной указатель, оглавление.

Поскольку материалы для публикации добывались в свободном поиске (кто-то раздобыл интересную мемуарную рукопись или документ, кто-то записал на магнитофон интервью, кто-то заказал «на стороне» авторский текст, кто-то, со всеобщего одобрения, взялся сам написать статью на ту или иную тему), то и распределение работы чаще всего происходило почти автоматически, как бы само собой, без особых дискуссий: кто раздобыл текст, тот его и готовит: расшифровывает записи, редактирует, согласовывает с автором окончательный вариант, пишет редакционную врезку, составляет подстрочные примечания и затекстовый комментарий. Хотя так бывало далеко не всегда: я, например, оказался совершенно неспособен к библиографической работе, не говоря уже об архивном поиске, зато неплохо справлялся с литературным и содержательным редактированием текстов. Поэтому время от времени мне приходилось в выходные садиться на «Красную стрелу» и отправляться в Питер, чтобы поработать над своими и чужими текстами вместе с кем-нибудь еще – как правило, с Арсением. Впрочем, через Рогинского и Добкина проходили почти все тексты сборника – и это была отличная редакторская работа: дотошная, скрупулезная, очень про-

фессиональная. В особенности это касалось редакционных вступлений и комментирования. Добкин оказался замечательным составителем и редактором комментариев: до сих пор не понимаю, откуда у него взялись огромная гуманитарная эрудиция и навыки опытного библиографа (Саша окончил химфак ЛГУ и работал сначала в НИИ, а потом ушел в школьные учителя). Что касается Арсения, то, как я уже говорил, его главным талантом было умение моментально сопоставить факт, эпизод или сюжет с его историко-культурным контекстом и высечь из этого сопоставления искру осмысления, ключ к составлению комментария и редакционной врезки.

Как-то само собой получилось, что Арсений моментально стал для нас своего рода диспетчером: фиксировал распределение работы и следил за выполнением нами своих обязательств. (Помню его после очередных «производственных совещаний», раздающего каждому вырванные из блокнота листки, на которых записано, что за кем числится.) Сверх того он постоянно включался в работу каждого из нас, вновь и вновь проходил по текстам, делая замечания как содержательного, так и стилистического характера (после чего иногда оставалось только переделать все от начала и до конца). Хотя случалось, что статья, принесенная каким-то автором, сразу проходила у него «на ура». Тогда он вскакивал и начинал с выражением читать эту статью вслух, бурно ликуя и заставляя всех включаться в его ликование.

Сейчас время от времени мы, участники издания «Памяти» (Алексей Коротаев, Борис Равдин, Сергей Дедюлин, Дмитрий Зубарев, автор этих строк), пытаемся разобраться в многочисленных псевдонимах и криптонимах, которыми подписаны материалы «Памяти» (отчасти это пытался сделать Саша Добкин еще в 1992 году⁶ – но только в отношении текстов, подготовленных для не вышедшего в свет 6-го тома и опубликованных в первых томах зарубежного преемника «Памяти» – альманаха «Минувшее»), и всё не можем прийти к общему мнению о том, «кто есть кто» – прошло так много лет! Меня, например, несколько раз убеждали: «Разве не помнишь? Ведь ты и готовил этот материал!» Может быть; я действительно этого уже не помню. То же самое было и с Арсением, когда в 1990-е сотрудники «Мемориала» допрашивали его в надежде составить словарь псевдонимов авторов «Памяти». На самом деле любая реконструкция получится условной, потому что многие, если не большинство тек-

⁶ Минувшее : Ист. альманах. Т. 11. М.; СПб.: Atheneum – Феникс, 1992. С. 5-6.

стов, опубликованных в сборнике, в той или иной мере результат соавторства. Главным образом соавторства обладателя «титульного псевдонима» с Арсением Рогинским, иногда с Александром Добкиным. Идеи, концепции, формулировки дарились нами друг другу с легкостью джазовой импровизации.

Во многих современных библиографиях и энциклопедических изданиях значится: «“Память”, исторический сборник. Главный редактор – А.Б. Рогинский». Ерунда, конечно: не было у нас «главного редактора». Да и редакции как таковой не было – так, творческий коллектив переменного состава, с размытыми границами, где-то от восьми до пятнадцати человек. И, сверх того, большая группа людей, как правило, из числа постоянных авторов, наиболее близких к первой группе: им обычно давали прочитывать черновой макет сборника или отдельные материалы для «внутренних рецензий». Как, в самом деле, определить роль, например, М.Я. Гефтера, Я.С. Лурье, Е.А. Гнедина, Д.М. Бацера, В.В. Иофе и целого ряда других? «Редакционный совет»? «При сотрудничестве»? Что касается Рогинского, то я предпочитаю обозначать его ролевую функцию совершенно неканонической формулой: «мотор всего предприятия».

Но этот очерк – не рассказ о сборнике «Память», об истории его возникновения и нашей работы в нем в 1976–1981 годах (для Саши Добкина и Феликса Перчёнка – до 1984-го, но они, увы, ничего уже не расскажут). Это достаточно качественно уже сделано другими – современными исследователями Антоном Свешниковым и Барбарой Мартин в их книге (см. сноску 2 к этому тексту). Я же ставлю перед собой более узкую и одновременно более широкую задачу: рассказать о своем друге.

Что касается специфики «Памяти», отличающей ее от прочей самиздатской продукции 1970-х, ограничусь еще одной цитатой из Рогинского:

«Происходило это (сборка первого тома «Памяти». – А.Д.) в Москве, в квартире какого-то родственника Алеши Коротаева. Хозяина не было дома. <...> Основной текст переписан в Ленинграде в пяти экземплярах и уже после корректуры шит. Мы проводили последнюю доработку, сверяли указатель. Мы сидели, помнится, семь или восемь дней и ночей, не выходя на улицу.

Вдруг – звонок в дверь. Две очень недурные девушки, совершенно незнакомые, приятельницы хозяина. А тут мы, молодые парни (я самый старший – 30 лет), усталые как черти.

Впустить? Не впускать? Они оказались настолько нахальными, что вошли. А тут кипит работа. В каждой комнате кто-то сидит, считывает.

– О, мальчики! А мы тут вино принесли. На улице такая жара. Пожалуй, примем ванну.

Выкупались. Вино. Разговорчики.

– Ну, мальчики, как тут живете? – спрашивает одна, поглядывая на кучу бумаг, которую мы не успели убрать. – Чем занимаетесь?

Мы засмущались и немного встревожились.

– А как вы думаете? – спросил Саня.

– Ну... самиздатом!

Я пробовал найти какие-то аргументы, безуспешно.

– Ну, как это нет? Вот, здесь написано: “коммунисты”.

Меня озарило:

– А кто-нибудь видел самиздат со сносками?

– Со сносками? Ну, нет...

С этого времени мы говорим, что отличаемся от других тем, что делаем самиздат со сносками». (ПМ).

Могу лишь добавить, что обе девушки моментально потеряли к нам всякий интерес.

Арест Рогинского в августе 1981 года не был неожиданностью ни для него, ни для нас. Ему предшествовали не то чтобы предупредительные звоночки, а прямо-таки колокола громкого боя: обыски в 1977-м и в 1979-м, увольнение с работы «за поведение, позорящее звание советского учителя», допросы, предупредительные беседы. Наконец, последний звонок:

«Меня вызвали в ОВИР, повесткой, по-моему. Там какой-то человек вышел ко мне специально и объяснил мне, что, мол, вам пришло письмо. Вручил тут же, и там было сказано что-то типа “Дорогой племянник (или кто-то еще), мы тебя приглашаем, приезжай к нам в Израиль”. Мои слова, что, насколько я знаю, у меня родственников в Израиле нет, впечатления не произвели. “Арсений Борисович, – сказал мне этот человек, – у вас десять дней на размышление. Десять дней. Сами все понимаете”. (А уже почти никого не отпускали в этот период, выезд почти прекратился.) “Можете взять с собой все ваши бумаги, всю семью, кого хотите, – всех-всех. Но у вас десять дней, решайте”. Такой вот разговор. А поскольку с моей стороны не последовало никаких ожидаемых от меня действий, заявлений или чего-то

еще, то ровно через десять дней они возбудили уголовное дело (это я уже потом узнал). То ли разговор в ОВИРе был 26 апреля [1981], а 6 мая возбудили дело, то ли разговор был 6 мая, а 16-го было возбуждено дело. Потом, когда я знакомился с делом, эта точность меня удивила: десять дней дали, и ровнехонько их и соблюли. Но еще позже, познакомившись с документами КГБ, я обнаружил, что решение обо мне было принято еще в конце 1980 года. <...>

Я, конечно, никогда не хотел уезжать, это точно. Но в эти последние три месяца, между вызовом в ОВИР и арестом, состояние мое было довольно смутное. С одной стороны, я твердо знал, что не хочу уезжать, не буду уезжать. Я еще все время придумывал для себя какие-то пустые причины, по которым мне не надо уезжать, что-то типа: как это летом уезжать, вот зимой или весной – это совсем другое дело. А с другой стороны, я как-то очень энергично готовился. К чему готовился, к отъезду или к аресту, сам не могу понять. Скорее к аресту. Комплектовал все бумаги, менял “хранки”, многое отправил за границу. Что-то потом потерялось, не дошло и т.д. <...> Сама мысль об отъезде была мне отвратительна, ну почти что физически, потому что не моя, понимаете? Но я действительно готовился к чему-то; как будто черту подводил. <...>

Понимал ли я, что дело идет к аресту? Я так привык в те месяцы жить в этой атмосфере перманентной опасности и перманентного напряжения, что мне это уже казалось как будто естественным. Конечно, я не знал, как и когда это произойдет». (БМ).

Так что, похоже, и здесь никакой развилки, никакого сознательного «выбора судьбы» не просматривается.

Дальнейшее понятно. Арест – вопреки ожиданиям, по бредовому уголовному обвинению о «подделке документов». Суть обвинения сводилась к тому, что, добывая ходатайства от официальных организаций о допуске в архивы – не закрытые, а самые обыкновенные, например, в архив Географического общества, Публичной библиотеки или Пушкинского Дома, Арсений позволял себе иногда расписываться под этими ходатайствами сам, не беспокоя начальство. Это стоило ему четырех лет лагеря.

«К обвинению, что отношения в архивы были ложные, я вовсе готов не был. Настолько я чувствовал себя чистым с этой стороны, что такое обвинение казалось полным бредом. Действительно, мне тысячу раз тот же Пугачев дает бумажки, которые подписывает не собой, а деканом. Или какой-нибудь знакомый редактор журнала дает мне

бланк и говорит: «Сам себе выпиши». Это нормально. Абсолютно все так делали. Поэтому обвинение это – чистый абсурд. Но что делать, его-то они и выбрали». (БМ).

Что касается «подделки подписей под отношениями», то, когда Арсений вышел на свободу, я как-то любопытствовал:

- Скажи, пожалуйста, те подписи, которые тебе инкриминировали, и вправду были, как бы это сказать, «исполнены» тобой?
- Они же халтурщики невероятные. Они подняли едва ли не все отношения, которыми я пользовался за многие годы. Так вот, как раз те подписи, которые экспертиза и следствие признали поддельными, были самыми настоящими. А вот некоторые из тех, на которые они не обратили внимания... ну, сам понимаешь.

«Само по себе следствие далось мне легко. Идиотизм и очевидная высосанность из пальца формального обвинения (“подделка документов” – ходатайств о допуске меня в архивы) позволяли мне с полным душевным комфортом оставаться в рамках стандартного диссидентского поведения: <...> клише, над которыми я сам всегда посмеивался». (ПМ).

Действительно, поведение Рогинского соответствовало диссидентскому стандарту отказа от любого сотрудничества со следствием. (Другое дело, что немногие оказывались в состоянии выдержать эту линию в чистоте, от начала до конца. Арсений выдержал.) Еще до ареста он выработал формулу, которой почему-то очень гордился: «В ответ на заданный вами вопрос заявляю, что не подтверждаю и не отрицаю данного факта»; ему казалось, что такая формула звучит не так героически-пафосно, как обычное «отказываюсь отвечать на вопросы».

Суд был открытым не только формально, но и фактически, что редкость для процесса с политической подоплекой. Ну да, обвинение же чисто уголовное: «подделка документов». Поэтому в зал набился весь ленинградский гуманитарный бомонд, атмосфера слегка напоминала вернисаж или премьеру. В качестве свидетелей защиты, вызванных адвокатом, выступали ведущие профессора: Б.Ф. Егоров, Я.С. Лурье, В.В. Пугачев, уж не помню, кто еще; все они говорили о том, каким замечательным ученым является подсудимый (со ссылками, естественно, на работы, опубликованные в советских журналах; «Память», по-моему, ни разу не была упомянута ни обвинением, ни защитой). Ожидания публики не были обмануты: последнее слово Рогинского совсем не касалось выдвинутого против

него уголовного обвинения и почти не касалось «политической» подоплеку процесса. Он произнес серьезную и аргументированную речь о праве историка на доступ к архивным документам (первое в его жизни публичное выступление на общественную тему!) Кстати, это выступление имело забавное продолжение: основные его тезисы были вскоре повторены в статье М.О. Чудаковой, опубликованной в центральной печати (не помню, где именно). Много позже я спросил Мариэтту Омаровну: «Что это было: случайное совпадение или ваше сознательное хулиганство?» Она улыбнулась: «Конечно, сознательное хулиганство – и не случайное совпадение».

И еще одна «ложная развилка» – сразу после суда:

«Уже после приговора, накануне рассмотрения кассации, ко мне (в “Кресты”. – А.Д.) пришли типы из КГБ с предложением, чтобы я отмежевался от развернувшейся на Западе кампании в мою защиту. Если бы я согласился – говорили они, – меня переведут в их следственную тюрьму для политических, совсем в другие условия (камера на двоих, простыни, книги), а из срока отсиджу еще только месяца четыре. Я собрался с духом на пафос: “Не трогайте меня. Это моя судьба. Я должен прожить свою жизнь, не чужую”». (ПМ).

Ну, это понятно.

Но в общем для Арсения это уже не было главным – как и записки на волю через адвоката о том, как работать с теми или иными материалами для очередного выпуска «Памяти». Главным было другое: новый мир, в котором предстояло выжить и который для этого необходимо было освоить:

«Когда я вошел в камеру в “Крестах”, то почувствовал себя в настоящей России. <...>

Передо мной открылся мир чудовищных законов – чудовищных и по своему справедливых, где человек оказывается один на один с судьбой. Это была настоящая тюрьма. Правозащитники сидели сперва в КГБ, а затем в этих своих политических лагерях, где обращались друг к другу “на вы” и протестовали против администрации путем жалоб в прокуратуру. Я не написал ни одной жалобы. Потому что в “моей России” так не делали.

У меня не было никакого опыта, потому что никто не рассказывал мне об этой жизни. С детства я жил среди людей, которые сидели, читал лагерную литературу. А тут все не так, все иначе! Те зэки новой эпохи, с которыми я встречался на свободе, сидели как политические. Их лагерь – это был тот же самый интеллигентский ин-

кубатор, только перенесенный в зону. Но на уголовников из солженицынского “Архипелага” эти люди тоже не были похожи». (ПМ).

После следственной тюрьмы, суда, этапа – лагерь.

Сидел он невероятно тяжело. Конечно, уголовный лагерь в любом случае не лучшее место для ленинградского интеллигента, даже если в его бэкграунде присутствует уличный опыт малолетнего питерского хулигана. Но дело не в этом. Среди моих знакомых были политические, осужденные по уголовным статьям. Кому-то приходилось круче, кому-то легче. Но такого, чтобы за четыре года отсидки человеку четырежды меняли место отбывтия наказания – две зоны в Коми, одна в Мурманской области и одна в Кировской, – этого не бывало ни с кем, и никто о таком даже не слышал. В чем тут было дело?

А очень просто. Для политзэка, попавшего в уголовный лагерь, все зависит от того, какие у него установятся отношения с сокамерниками. Арсений, с его невероятной пластичностью, довольно быстро и энергично вписывался в любые сообщества. Каждый раз, когда он попадал в новую зону, то – не сразу, не всегда легко, но довольно быстро – завоевывал для себя отдельный статус, никак не соотносящийся со стандартной уголовной иерархией – да в нее посторонний и не впишется, – но сопряженный с неким особым уважением. Не потому, что «политический», нет; мне случалось встречаться и общаться с его бывшими сокамерниками, и я отчетливо понял, что политическая подоплека его дела этим людям была, в общем, безразлична, а вот то, как он себя на новом месте поставил, сохранил ли чувство собственного достоинства, – это было действительно важно.

«Скажи по секрету, – спрашиваю я у одного из этих людей, – а вот какое у Рогинского было в зоне “погоняло” (кличка, прозвище)? Вот у тебя, я знаю, такое-то (называю, какое) – а у него?»

«Как – какое? Арсений Борисович».

После обретения такого «погоняла» жизнь в зоне становилась довольно сносной, если не считать мелких, а иногда и крупных пакостей, устраиваемых начальством, не по своей охоте, а по распоряжениям из Москвы. Но что с человеком можно сделать, если зона – за него? Его, в случае чего, и в ШИЗО «подогреют».

И тогда Арсения выдергивали на этап, вписывали в личное дело очередное «отрицательно влияет на других заключенных», привозили в новую зону и – начинай сначала.

В августе 1985-го Арсений вышел на свободу, совершенно измочаленный. Он прошел испытание лагерем, выжил и победил, но стоило ему это дорого. Откровенно говоря, первые несколько месяцев с ним почти невозможно было общаться: он все еще внутренне оставался за колючей проволокой. Оттаивал долго, и я не уверен, что оттаял до конца.

Он жил теперь в Москве, прирабатывал всякой литературной поденщиной – рецензиями, короткими журнальными публикациями на исторические темы, составлением комментариев, иногда – под чужими именами. Разумеется, слово «поденщина» не относится ни к качеству его работы – Арсений никогда не халтурил, не было у него к этому таланта, – ни к значимости выбираемых тем и предметов (главным образом историко-литературных), а лишь к статусности и «заметности» публикаций. В общем, это был тот уровень, с которого он начинал в конце 1960-х.

Постепенно, по мере нарастания перестройки, статусность и престижность публикаций растет: от рецензий и заметок в провинциальных журналах до публикаций в «Новом мире» и «Памятных книжных датах». К 1988 году Арсений Рогинский вместе с Дмитрием Зубаревым начинают готовить к изданию книгу, продолжающую тему, начатую ими в «Памяти», – сборник воспоминаний крестьян-толстовцев, который выйдет в свет в 1989-м. Одновременно в Париже, в «Минувшем», продолжали печататься (пока по-прежнему псевдонимно) статьи, подготовленные Рогинским для «Памяти» еще до ареста.

Но в это же время случилось событие, окончательно определившее его дальнейшую судьбу.

Это было в начале июня 1988 года. Не могу вспомнить, кто позвал нас зайти в тогдашнюю «штаб-квартиру» недавно – еще года не прошло – возникшего, но уже очень известного в стране общественного движения, зачем-то взявшего себе довольно-таки кладбищенское и потому не очень вдохновляющее название «Мемориал». Зато главный слоган этого движения – восстановление памяти о жертвах политических репрессий сталинской (тогда еще бытовала в основном именно эта формулировка) эпохи – казался нам довольно созвучным нашим историко-публикаторским интересам 1970-х. Пошли вчетвером: Лариса Иосифовна Богораз, Сергей Ковалев, Арсений Рогинский и я.

«Штаб-квартира» в то время располагалась на Пречистенке, точнее, в Еропкинском переулке, в художественной мастерской, принадле-

жавшей какому-то родственнику активной «мемориалки первого призыва» Майи Лазаревны Кофман. Когда мы вошли, в студии было полно народу. Почти все заметно моложе нас с Арсением и много моложе Ларисы Иосифовны и Сергея Адамовича. Они бурно друг с другом общались, обсуждая какие-то, по-моему, организационные дела. На нас никто особого внимания не обратил. Никакой общей беседы не было, стоял шум и гам, и в этом шуме откуда-то из угла мастерской донесся громкий голос Арсения:

– Карточки!

Народ притих. Что – карточки? Какие карточки?

– Братцы, вы должны начать активный сбор мемуаров и записывать на пленку воспоминания ээков. И каждый текст расписывать по карточкам: именным, тематическим, географическим, библиографическим.

Запахло «Памятью» (впрочем, в 1988-м это слово означало уже нечто совсем другое). Я тоже стал прислушиваться. Рогинский, размахивая руками, произносил энергичный спич во славу мемуаристики. Спич постепенно переходил в популярную лекцию по источниковедению; уже не «Памятью» пахло, а лотмановским семинаром 1963 года. Публика слушала как замороженная. Наконец Арсений иссяк; посыпались вопросы.

Я не помню, договорились ли мы о чем-то конкретном во время той встречи. Но когда мы покинули «штаб-квартиру» и шли по Пречистенке к метро, обмениваясь впечатлениями, Арсений как-то притих и только бормотал вполголоса: «Интересно... Интересно...»

Что ему стало так уж интересно, я тогда не понял. В дальнейшем мои обстоятельства повернулись так, что в ближайшие пару месяцев я был предельно занят, мало с кем общался, и с Арсением в том числе. Поэтому для меня стало сюрпризом, когда, встретившись со мной в августе, он сообщил, что его приглашают войти в оргкомитет Все-союзного движения «Мемориал» и что он хотел бы, чтобы я тоже вошел в этот оргкомитет.

История «Мемориала», надеюсь, когда-нибудь будет написана. Я же, повторяю, рассказываю здесь о жизни своего друга, а не излагаю историю организации.

Третья и последняя развилка, окончательный выбор судьбы, относится к 1989–1992 годам. Проще и правильнее всего рассказать о ней, сравнив этот выбор с другим выбором, сделанным самым близким

другом Арсения Рогинского, его alter ego, многолетним соавтором и лучшим из «соратников» – Александром Добкиным.

В 1981-м именно Добкин после ареста Арсения взял в свои руки работу над завершением пятого тома «Памяти». В 1982–1984 годах вместе с Феликсом Перчёнком он собрал вчерне шестой том (меня они решили к этому уже не подключать: по их мнению, я был слишком «засвечен»). И именно он в 1984-м или в начале 1985-го, когда ему передали ультиматум из «Большого дома» – «если шестой том выйдет за границу, то Рогинский не выйдет из лагеря», взял на себя ответственность за решение: издание «Памяти» прекратить, а все материалы передать нашему зарубежному издателю Владимиру Аллою, который на основе этих материалов стал выпускать в Париже свой сборник «Минувшее».

Разумеется, включившись в создание «Мемориала» и занявшись налаживанием историко-публикаторской и исследовательской деятельности общества, Рогинский обратился в первую очередь к Саше Добкину. Арсений вообще любил привлекать к своим начинаниям всех друзей, до которых мог дотянуться. О себе я уже сказал; в работе «Мемориала» стали участвовать и другие его коллеги по «Памяти» – Дмитрий Зубарев, Алексей Коротаев; огромную роль в организации и функционировании Научно-информационного и просветительского центра «Мемориал» в Москве сыграл старый товарищ Арсения по Тартускому университету историк литературы Никита Охотин.

Добкин тоже не отказал ближайшему другу в помощи и на первых порах принял активное участие в издательской деятельности «Мемориала». Изрядная доля его и Никиты Охотина труда вложена в альманах «Звенья», который мы начали готовить в 1989 году и который рассчитывали тогда сделать главным периодическим научным изданием нашего Общества (увы, с этим мы не справились, удалось лишь выпустить в 1991–1992 годах два тома). Рогинский вклад Саши Добкина ценил очень высоко, и вообще сам факт его участия в наших делах как-то укреплял уверенность Арсения в себе и в том, что жизнь, как бы то ни было, идет по правильному пути.

Помню замечательный диалог с Арсением утром 19 августа 1991 года. Мы сидим рядом за компьютерами в Доме «Мемориала» на Малом Каретном и, стыдясь поднять друг на друга глаза, в четыре руки сочиняем листовки, призывающие граждан «подняться на защиту демократии и свободы». Бутафорский пафос этих фраз встает обоим

поперек горла, но жанр требует своего. А может, мы просто не умеем сочинять листовки.

Я: Как ты думаешь, долго все это продлится, этот переворот?

Он (не оборачиваясь, уверенно): К вечеру среды все кончится.

Я: Почему ты знаешь?

Он: Потому что в среду вечером из Питера приезжает Сашка Добкин, и мы с ним должны сесть за комментарий к переписке Приютинского братства...

Комментировать переписку Приютинского братства для публикации в «Звеньях» и вообще публиковать статьи и материалы по истории культуры и религии – да хоть бы и по истории советского террора – Саша Добкин был абсолютно готов. Да он и безо всякого «Мемориала» это делал: занимался исследованиями по истории религиозно-философских и гуманитарных кружков питерской интеллигенции 1920-х, издавал воспоминания Н.П. Анциферова, организовал Анциферовские чтения. Чем он категорически не хотел заниматься, так это тем, что принято называть «общественной деятельностью».

В те годы, оглядываясь вокруг и видя то, что происходит в стране, многие начинали переосмысливать прошлое, в том числе и свое собственное. «Мемориальская» гражданская и, чего там лукавить, политическая активность не вызывала у Саши особой симпатии и, во всяком случае, горячего желания поучаствовать в «московской перестроечной тусовке», наследовавшей «московской диссидентской тусовке», которая «внесла свой вклад в общий развал страны» и даже не покаялась в этом. Более того, он не одобрял и того, что другие, близкие ему люди вместо того чтобы заниматься своим делом – наукой, культурой, просвещением, безоглядно кинулись в «политику», которая, по его мнению, ничем не отличалась от «политиканства». Он считал это уходом от самого себя, уступкой тщеславию и, к тому же, добровольным отказом от собственного предназначения: «все равно, что заколачивать гвозди микроскопом».

У Саши оказался единомышленник, который занимал по всем этим вопросам еще более определенную и резко выраженную позицию: Владимир Аллой, зарубежный издатель «Памяти» и «Минувшего», руководитель парижского издательства «Atheneum».

В 1989–1992 годах Аллой стал переносить свою издательскую деятельность из Франции в Россию. Сначала он пытался организовать издательство в Москве, надеялся на сотрудничество с «Мемориалом», в первую очередь – с Арсением Рогинским; но «Мемориал» оказал-

ся не таким, каким он себе его представлял, и сотрудничество, по причинам как личным, так и идеологическим, вкратце изложенным выше, не состоялось. В конце концов он создал в Петербурге издательство «Феникс». Это было замечательное гуманитарное издательство, оно продолжило издание «Минувшего», выпускало другие историко-культурные альманахи: «Невский архив», «Лица», «Диаспора», литературный журнал «Постскриптум».

Директором издательства стал Саша Добкин (к несчастью, ненадолго: он умер непозволительно рано, в 1998 году, в возрасте 48 лет). Помимо прочего, это был выбор, такой же – нет, пожалуй, еще более отчетливый, чем тот, который сделал Арсений Рогинский, войдя в «Мемориал».

Несомненно, это Сашино решение было еще и посланием другу. Посланием, которое в равной степени принесло боль и адресату, и отправителю.

Для Арсения шок усугублялся еще и тем, что, в отличие от Саши Добкина, он еще долго старался укрепиться в своем выборе. В 2015 году, беседуя с Барбарой Мартин, он вновь возвращается к коллизиям начала 1990-х. Он говорит о них очень сдержанно, без обычной экспансивности, но даже из этих сдержанных фраз понятно, что для него эта развилка до сих пор остается в каком-то смысле актуальной. Не то чтобы он жалеет о своем тогдашнем решении. Нет, не жалеет – но вновь и вновь возвращается к мучающему его вопросу и вновь подтверждает собственный выбор:

«...для меня сборник “Память” – это была не только работа над историей, не только открытие документов. Это – кусочек гражданской деятельности и гражданской позиции. Это как-то само собой нами разумелось, хотя и не обсуждалось. А теперь, на рубеже 90-х, я понимал, да скорее не понимал, а чувствовал, что сейчас должен отдать себя не столько истории и публикациям (хотя, конечно, и им тоже, интерес-то мой никуда не делся), сколько этому совсем новому для меня, да и для всей тогдашней нашей жизни сюжету – “Мемориалу”».

Ужасно и Саша Добкин и Володя Аллой меня критиковали. Саша говорил: «Ты занимаешься политикой. А надо заниматься своим делом». На самом-то деле я не знаю: «Мемориал» – политика это или не политика? Вот прошло 25 лет, даже больше. Действительно, получилась некоторая гражданская институция. Она занимается и прошлым, и сегодняшним днем. Вокруг нас довольно много людей – участвующих, помогающих, сочувствующих. И общественных

структур, близких нам по духу, их тоже не так уж мало рядом с нами. И для меня формирование и функционирование такой вот гражданственности в России, наверное, задача точно не менее приоритетная, чем историко-культурные задачи, связанные с памятью. А какой путь правильнее – через гражданское общество к памяти или через память к гражданскому обществу, – это уж как получится». (БМ).

Говорить о качествах Арсения Рогинского как гражданского лидера мне неинтересно, хотя бы потому, что его общественно-политическая активность проходила на глазах у всех. Он озвучил свою концепцию развития в новой России гражданского общества в десятках публицистических статей, выступлений, докладов, интервью. Я хорошо помню, как возникала, корректировалась, видоизменялась эта концепция. Арсений ведь был не из тех, кто удаляется в келью, чтобы через два месяца осчастливить паству новым откровением, – прежде чем сделать свою идею публичной, он любил широко и подробно ее обсудить и заимствовал так же щедро, как и отдавал.

Что касается его административно-управленческого таланта как руководителя большой организации со сложной и запутанной структурой, то об этом уж точно не мне судить. Скажу только, что у него была редкая способность при обсуждении текущих или, наоборот, важных стратегических вопросов сочетать широкие неформальные дискуссии с коллегиальными демократическими процедурами принятия решений, предписанными уставом, каким-то образом поддерживать баланс между двумя крайностями: общество «Мемориал» как компания друзей-единомышленников, живущая по закону дружества, и оно же как «учреждение», управляемое «по правилам». При том, что внутренне ему, конечно, был ближе первый статус.

Но не это меня занимает и заставляет задумываться. Я все время думаю о судьбе и о выборе.

Казалось бы, не бином Ньютона. Ну, жил-был человек, прекрасный историк-источниковед, выдающийся ас архивного поиска, автор нескольких блестящих работ по российской истории XVIII–XIX веков, а чуть позже множества важных, хотя и «нелегальных», публикаций по советской истории. Дожил до времени, когда возникла возможность честно и плодотворно работать в своей профессии, получил полную возможность вписаться в нормальную академическую схе-

му: исследования – публикации – монография – защита – еще пара-тройка монографий – защита. Но вот тут-то и попутал его бес поддаться гражданскому чувству (или уголь, пылающий огнем, проглотил – кому как нравится), и ушел человек из науки, занялся общественной деятельностью, достиг на этом пути выдающихся успехов, получил всеобщее признание.

Но ведь это неправда!

Во-первых, это неправда, потому что Арсений Рогинский никогда, ни на минуту, не «уходил» из науки.

Действительно, его «авторских» (чаще соавторских: Арсений страшно не любил работать в одиночку, привлечь кого-нибудь к работе ему было едва ли не важнее, чем выполнить ее), чисто научных публикаций за 25 лет его «мемориальной» жизни насчитывается не очень много (навскидку – около полутора-двух десятков)⁷. Но те,

⁷ Вот лишь некоторые из них, самые, на мой взгляд, важные:

[Рогинский А.Б.]. Предисловие к разделу «В борьбе за политрежим» // Звенья : Ист. альманах. Вып. 1. М.: Прогресс; Феникс; Atheneum, 1991. С. 239-244.

Рогинский А.Б., Жемкова Е.Б. Соловецкие политскиты. Список заключённых (1925) // Там же. С. 252-287.

Охотин Н.Г., Рогинский А.Б. Об архивных источниках по теме «КГБ и литература» : Докл. на конференции «Службы безопасности и литература» [Москва, Б-ка иностр. лит. им. М.И. Рудомино, апр. 1993] // Госбезопасность и литература на опыте России и Германии [СССР и ГДР]. М.: Рудомино, 1994. С. 85-92.

А.Д. [А. Даниэль], А.Р. [А. Рогинский]. Справка о результатах обобщения судебной практики по делам о контрреволюционных преступлениях (из документов Министерства юстиции 1958 года) // Мемориал-Аспект. 1994. № 10/11.

Петров Н.В., Рогинский А.Б. «Польская операция» НКВД 1937–1938 гг. // Репрессии против поляков и польских граждан / НИПЦ «Мемориал»; сост. А.Э. Гурьянов. М.: Звенья, 1997. С. 22-43.

Горланов О.А., Рогинский А.Б. Об арестах в западных областях Белоруссии и Украины в 1939–1941 гг. // Там же. С. 77-113.

Охотин Н.Г., Рогинский А.Б. Из истории «немецкой операции» НКВД, 1937–1938 // Наказанный народ : Сб. статей / О-во «Мемориал»; Goethe Institut (Москва); ред.-сост. И.Л. Щербакова. М.: Звенья, 1999. С. 35-71.

Охотин Н.Г., Рогинский А.Б. «Латышская операция» 1937–1938 годов: архивный комментарий // 30 октября. 2000. № 4. С. 4-5.

Расстрельные списки. Москва, 1937–1941. «Коммунарка», Бутovo : Кн. памяти жертв полит. репрессий / под ред. Л.С. Ереминой, А.Б. Рогинского; послесл. А.Б. Рогинского. М.: О-во «Мемориал»; Изд-во «Звенья», 2000.

Даниэль А.Ю., Рогинский А.Б. «Аресту подлежат жены...» // Узницы «АЛЖИРА» : Список женщин – заключенных Акмолинского и других отделений Карлага. М.: Звенья, 2003.

Рогинский А.Б. Послесловие // Расстрельные списки. Москва, 1935–1953. Донское кладбище [Донской крематорий] : Кн. памяти жертв полит. репрессий / под ред. Л.С. Ереминой и А.Б. Рогинского. М., Об-во «Мемориал»; Изд-во «Звенья», 2005. С. 565-596.

Рогинский А. От свидетельства к литературе // Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории. : Сб. трудов междунар. науч. конф. Москва – Вологда, 16–19 июня 2011 г. М., 2013. С. 12-13.

что были, внесли фундаментальный вклад в изучение советской истории. Среди них – статьи, воссоздающие механику и статистику массовых операций НКВД эпохи Большого террора 1937–1938 годов (и нужно понимать, что это не компилятивные работы, а подведение и осмысление итогов архивного поиска, им же осуществленного и/или организованного), несколько публикаций важных архивных документов (в том числе относящихся к репрессивной политике постсталинского периода).

Интересно, что в это время Рогинский радикально меняет оптику своих исследований. В фокусе всех или почти всех его работ уже не микро-история, не конкретные сюжеты, частные факты и отдельные судьбы, а генеральные исторические проблемы, выработка концепций, проливающих свет на политику террора в целом, на логику больших репрессивных кампаний. В определенном смысле можно говорить о том, что Рогинский в эти годы вернулся к «первой развилке» своей научной судьбы, но на этот раз выбрал другой путь, тот, который некогда предлагал ему его учитель Ю.М. Лотман. Теперь его интересует как раз то, «как это сделано» и «что это означает». Нет, конечно, это далеко не «семиотика террора», но, без сомнения, – база, опираясь на которую можно пытаться «прочитать» это безумие и извлечь из него исторический смысл.

Но одновременно он как администратор и идеолог всей мемориальной деятельности выстраивает Научно-информационный центр «Мемориал», в основе всей работы которого – мысль о человеке как «базовой единице истории». И эту мысль он не устает повторять при каждом удобном случае. Противоречие? Вряд ли. Мне кажется, что Арсений, изучая нормативную базу террора, чувствовал себя чернорабочим, обеспечивающим своим коллегам инструментарий, необходимый для понимания – на концептуальном, а не просто эмпирическом уровне – все-таки конкретных человеческих судеб. Нормативная база – это ведь и есть такой инструментарий, без него судьбу отдельного человека, попавшего в жернова террора, можно лишь описать эмпирически, но невозможно осмыслить.

Сверх того – публикации, также посвященные проблемам советской истории, но выполненные в ином, не совсем академическом жанре. Этот жанр принято называть «популярным» или «просветительским». Но и в «популярных» публикациях Арсения Рогинского аналитика и уровень осмысления предмета уж точно не уступают

академическому стандарту, а на мой взгляд, так зачастую и превосходят этот стандарт⁸.

Сверх того – многочисленные выступления в печати, относящиеся не к историографии как таковой, а к теме, которую сегодня принято называть «состоянием современной исторической памяти». Не наука? Ну да, не наука; и что с того?

Сверх того – десятки книг, вышедших под общей редакцией Рогинского, с его предисловием или послесловием, или с его комментарием.

Сверх того – множество докладов на научных конференциях, выступлений на семинарах, «круглых столах» и т.д. Некоторые из них вошли в соответствующие сборники, кое-что осталось неопубликованным.

Непроработанными остались несколько стеллажей, набитых папками с копиями документов и выписками по темам, связанным с историей государственного террора в СССР, – результатом двух с половиной десятилетий архивных изысканий.

Арсению так и не удалось завершить свой главный труд последних пятнадцати лет – книгу, в которой описывается ход планирования и исполнения в каждом из регионов СССР оперативного приказа НКВД № 00447, самой крупной массовой операции Большого террора, и подводятся, так же по каждому региону в отдельности, статистические итоги этой операции. Рогинского подвел его всегдашний перфекционизм: он ни за что не хотел публиковать эти материалы, пока не будут досконально проверены все данные, выявленные им в архивах КГБ вместе с Олегом Горлановым, его главным помощником в этой работе. Горланов умер в 2015-м, за два года до Арсения. Бог даст, когда-нибудь мы сумеем довести их огромную работу до конца.

Но главное даже не в том, что версия о «снижении научной продуктивности» Арсения Рогинского вследствие его включения в гражданскую активность на поверку оказывается мифом.

Да, «мемориальная» жизнь и «мемориальные» или «околомемориальные» труды Арсения Рогинского не вписываются в стандартную схему, приличествующую успешному ученому; он сам не пожелал в

⁸ Здесь ограничусь лишь двумя иллюстрациями, которые представляются мне наиболее характерными:

Охотин Н.Г., Рогинский А.Б. «Большой террор», 1937–1938 : Краткая хроника // http://old.memo.ru/history/y1937/hronika1936_1939/xronika.html

Даниэль А., Рогинский А. Главная тема. 1937 : Интервью Ирине Прусс // Знание – сила. 2007. № 11. С. 14–40.

эту схему вписываться. Но это его нежелание было продиктовано вовсе не каким-то «снобизмом наоборот», а исходило из глубоких личностных особенностей.

И гражданская активность, и научная деятельность Рогинского по самой природе этого человека реализовывалась только на людях и с людьми. Он органически не мог, не умел и не хотел жить и работать в одиночку. Для работы ему необходимы были «окружающие» – друзья, «референтные группы», соратники, помощники, оппоненты, слушатели. Стилем его жизни было не кабинетное уединение, а беседа, спор, обмен идеями, мозговой штурм. Его призванием было брать и давать одновременно. (Это очень сказывалось, в частности, на его манере публичных выступлений: он не любил читать лекции и всякий доклад норовил поскорее превратить в диалог с аудиторией. Просветительская работа как нечто, сохраняющее дистанцию между просветителем и просвещаемым, не была ему органична.) Вопросы «научного приоритета» его совершенно не волновали. Его архивные находки, его исторические трактовки моментально становились общим достоянием, его коллеги могли пользоваться и пользовались ими как хотели; с той же легкостью он принимал и развивал концепции и соображения, высказанные другими. И это, как правило, воспринималось и принималось окружающими не как пренебрежительное отношение к своей и чужой «интеллектуальной собственности», а как уникальная возможность взаимного интеллектуального обогащения. Мне кажется, у этого гуманитария совсем не было традиционной гуманитарной ревности к вопросам приоритета, в этом смысле он был ближе к современному физику или биологу, который понимает, что любое значимое открытие в его области – результат усилий многих людей и коллективов.

В конце концов основные документы, ставшие ключами к решению главной загадки отечественной истории XX века – природе Большого террора 1937–1938 годов, – нашли Рогинский и его товарищи-мемориальцы, первыми ворвавшиеся в архивы КГБ осенью 1991-го и прошерстившие их весной–летом 1992-го под флагом «экспертов Конституционного суда», рассматривавшего тогда «дело КПСС». И тогда же, разглядывая документы, составлявшие нормативную базу массовых операций НКВД, я впервые услышал от Рогинского и его коллег Никиты Охотина и Никиты Петрова формулировки, ставшие началом научного осмысления «ежовщины» и многократно повторенные впоследствии в различных исторических монографи-

ях. Кто помнит сегодня об их «приоритете» в этой области, кроме узкого круга специалистов-историков, отечественных и зарубежных? Да и сами они об этом скорее всего забыли. Арсений помнил, но ему это было неинтересно. Ему важнее всего было включить обретенное нами понимание в то, что торжественно именуется «национальной памятью». В этом он – и мы все, его коллеги – до некоторой степени преуспели: бытовавшие раньше мифы не то чтобы исчезли из массового сознания, но слегка потеснились, уступая место более адекватным представлениям.

В том-то и дело, что Арсений Рогинский никогда не относился к историческому знанию как к чему-то элитарному. Прошлое для него – это основа «самостояния человека», необходимое условие национальной идентичности и неотъемлемая часть национального сознания. Подмена знания мифологией разрушает и то, и другое, и третье. Звучит банально, да? Но далеко не все понимают эти простые истины. Собственно, я хотел лишь сказать, что в жизни и судьбе Арсения было несколько важных развилок, заставлявших его делать выбор между этими истинами и другими, тоже честными и, между прочим, тоже не бог весть какими оригинальными.

Миссию историка, как он ее понимал, Арсений выполнял не только в архивах и за письменным столом, но и вовлечением в процесс обсуждения и осмысления прошлого как можно большего числа людей – от сравнительно узкого кружка друзей до общественных институций и, через них, максимально широкой, насколько позволяли внешние условия, аудитории соотечественников и современников.

«Какой путь правильнее – через гражданское общество к памяти или через память к гражданскому обществу, – это уж как получится».

А, может быть, одного без другого вообще не бывает. Ни памяти без гражданственности, ни гражданственности без памяти.

Если так, то перед Арсением Рогинским по существу никогда и не вставало никакого выбора.

Первый день
29 марта 2019 года

ДИССИДЕНТЫ:

ЭПОХА

И НАСЛЕДИЕ

Открытие конференции

Ян Рачинский

Мне выпала грустная честь открывать первые Чтения памяти Арсения Рогинского. Я приветствую всех собравшихся – и участников чтений, и тех, кто пришел в качестве слушателей, и тех, кто хочет сказать просто несколько вступительных слов.

Конечно, тема этих Чтений не будет ежегодно одной и той же: круг интересов Арсения Рогинского был гораздо шире, чем только история диссидентского движения, но все-таки эта тема всегда была для него среди важнейших и в последние годы тоже находилась в фокусе внимания. Эта конференция в некотором смысле продолжение проекта, который начался еще при участии Арсения и цель которого – привлечь внимание общества к истории инакомыслия, к истории сопротивления. Важнейшая часть проекта – издание русской версии биографического «Словаря диссидентов», который был издан некоторое время назад в Польше, но на русском до сих пор не существует, надеемся, что он вскоре выйдет в свет. И наша конференция, и цикл тематических лекций, и портал, посвященный теме диссидентства, – все это «Мемориал» осуществляет совместно с варшавским центром КАРТА (и я рад видеть здесь Збигнева Глюзу, представляющего его) и при поддержке посольства Франции и Фонда имени Генриха Бёлля. Надеюсь, что эта конференция будет интересна, а издание ее материалов станет одним из результатов проекта. Хочу пожелать всем интересной работы и надеюсь, что постепенно на ежегодных Чтениях мы сумеем в должной мере отразить разные аспекты деятельности Арсения Борисовича Рогинского.

Збигнев Глюза

Дорогие друзья, я сердечно приветствую вас от имени польского Центра КАРТА. В течение двадцати семи лет мы являемся польским партнером «Мемориала» и польским партнером «Словаря диссидентов». Темы, которые поднимаются на этой конференции, – на-

верняка одна из составных частей завещания Арсения Рогинского. И для меня выход русской версии «Словаря диссидентов» – это прежде всего исполнение долга, обещания, которое было дано мною перед смертью Арсения Рогинского. Это также долг перед Натальей Горбаневской, которая должна была быть редактором русского «Словаря диссидентов», считала это своим долгом, своим заданием, но не успела его выполнить перед своей смертью. И говоря о выходе «Словаря диссидентов», рассуждая об этом, мы выполняем прежде всего и их собственный долг, и долг перед ними.

Идея «Словаря диссидентов» возникла двадцать три года назад. Тогда в Варшаве собрались представители четырнадцати посткоммунистических стран, чтобы ответить на вопрос: могут ли еще диссидентские сообщества что-то сделать вместе? Тогда шла война в Чечне, в Белоруссии подавлялась свобода, и мы должны были ответить на этот вопрос. Ответ был горек: в этой ситуации мы не в состоянии ничего сделать, сообщество диссидентов, сообщество правозащитников не может повлиять на ситуацию – мы можем записать нашу общую историю. Тогда мы предполагали, что «Словарь» выйдет через три года: польская версия вышла через одиннадцать, спустя двадцать три года подготовлена к печати русская версия. Издается также чешская версия – первый том уже вышел в свет, второй появится в скором времени.

Можно сказать, что польская версия «Словаря» была черновиком, основой для перевода на другие языки. И русская версия действительно будет идеальной для всех стран. И тут хочу вернуться к беседе с Арсением о нашем движении. Однажды в Варшаве он сказал мне: что мы можем сделать для Европейского союза, так это то, чтобы восточная граница Польши не стала пропастью между нами. Мы не нашли способа избежать этого, и кажется, восточная граница Польши действительно разделяет нас. Но думаю, что возвращение к идее нонконформизма может помочь нам найти взаимопонимание через границу. И с нашей польской стороны мы хотели бы сделать шаг в этом направлении.

Мы планируем создание так называемого Восточного дома примерно в середине дороги между Варшавой – столицей Польши – и восточной польской границей. «Восточный дом» расположится в дворцово-парковом комплексе в местности Морды под Седльцами. Этимология польского слова «морды» восходит к слову «убийство» – мордование. К тому же это ссылка на те земли, которые Тимоти Снайдер называет

«кровавой землей». И есть шанс, что появится место с таким «диссидентским» в некотором смысле характером. Такова «декларация семьи», которая получила во владение дворец и парк и хочет передать их, чтобы это стало местом диалога культур и народов. Мне кажется, что в ситуации, когда возрождается национализм и возрождаются имперские идеи, такое место может стать ответом на это возрождение.

Европейский парламент утвердил День праведников, который ежегодно отмечается 6 марта. В Варшаве появился Сад праведников. Среди 18 человек, которым там отдан долг памяти, чести, есть и три фамилии людей из этого круга: Анна Политковская, Наталья Горбаневская и Петро Григоренко. В июне этого года в Саду праведников мы отдадим честь Арсению Рогинскому и надеемся, что представители «Мемориала» приедут в Варшаву, чтобы участвовать в этом мероприятии, и мы вместе сможем поклониться Арсению, который этого заслужил.

Вольфганг Айхведе

Большой честью я считаю возможность выступить в этом зале в память Арсения Рогинского. Должен сказать, что для меня это не просто, потому что больше тридцати лет Арсений Рогинский был «моей Москвой». Познакомились мы в 1987 году, но шестью годами раньше, в 1981-м, я вместе с другими немецкими историками составлял протестное заявление в связи с его арестом.

Арсений Рогинский и Адам Михник, Михаил Гефтер и Вацлав Гавел, Андрей Сахаров и Томас Венцлова, по-моему, подлинные наследники европейского Просвещения XVIII века. Они, как никто, боролись за ценности Просвещения, отстаивали их под угрозой преследований и арестов. После опыта русской революции, породившей тоталитарное государство, после опыта террора, опыта войны и немецких преступлений они жестко, бескомпромиссно требовали отказаться от насилия, призывали в качестве «инструмента перемен» использовать не гильотины, как во времена Французской революции, а исключительно слово. И это колоссальная заслуга не только России, не только Польши, не только Чехословакии, но и всей Европы. В этом смысле оппозиционеры были вынуждены очень жестко, категорично критиковать свои политические системы. Но при советских системах 1960-х, 1970-х и первой половины 1980-х годов, хотя они и были уже послесталинскими и

Большой террор остался в прошлом, – репрессии продолжались. Советские диктатуры, неспособные решать возникающие проблемы, прибегали к нарушению своих собственных декларируемых норм, своих собственных правил. Как историк, я должен сказать, что эти режимы стояли перед дилеммой. С одной стороны, если бы им и удалось провести модернизацию, они не справились бы с управлением реформированной экономикой. С другой стороны, если бы им это не удалось, они могли потерять легитимность в своих странах. Поэтому они вынуждены были жить по лжи.

Общества в социалистических странах Европы в определенном смысле адаптировались, старались выжить в этих обстоятельствах – шли на какие-то компромиссы, искали свои ниши, приспособляли свое мировоззрение... Как сказал один американский ученый, внутри этих обществ образовался бикультурализм. Поэтому диссиденты – единомышленники, друзья нашего Арсения Рогинского – очень часто жили обособленно внутри своих обществ, они были аутсайдерами, и было немало людей, которые опасались взаимодействовать с ними.

Однако инакомыслие тех лет во всех странах соцлагеря было шире, чем борьба правозащитников. Писатели, ученые, самые разные люди писали мемуары, в которых рассказывали о происходящих в обществе событиях, они хотели высвободиться из-под гнета советской идеологии и создали или попытались создать новое представление об их повседневной жизни. Свои исследования, свои романы они публиковали в самиздате. И таким образом диссидентское движение – не только правозащитники, но и инакомыслящие – значительно влияло на общественное мнение в своих странах. Они формировали новое отношение к истории, к понятию нации, особенно к малым народам Советского Союза, стремящимся сохранить свою национальную идентичность, свое национальное культурное наследие. При этом возникали проблемы, разгорались дискуссии, если внутри самиздата, внутри диссидентского движения появлялись националисты, люди, которые уважали только свою нацию (в СССР – славян). Уже в эмиграции Андрей Синявский, полемизируя с Солженицыным, говорил, что выступает против «самодержавия правды», – он выступает за «республику разных идей».

Стремление отстоять право на независимое мышление отразилось в самиздате. В определенном смысле я понимаю самиздат как попытку институционализации независимости в рамках диктатур, вне цензуры,

и это очень-очень важно, невозможно даже оценить, насколько это важно. Естественно, что в разных странах возникали совершенно разные формы сопротивления. Можно сказать, что в Восточной Европе того периода мы видим «плюрализм сопротивления»: в СССР – борьба за достоинство человека; в Польше – создание социального движения, переросшего в политическое (Адам Михник удивительно точно описал стоявшие перед активистами задачи: «Мы как диссиденты, мы как оппозиция должны быть так сильны, чтобы наше правительство боялось нас; но мы должны остаться так слабы, чтобы Советский Союз не организовал интервенцию: мы должны найти какой-то политический баланс»); в Чехословакии – вопрос диалога с людьми, которые десятилетиями считали себя коммунистами, но, после репрессий Пражской весны примкнули к правозащитникам; в Венгрии – будапештская школа, марксистское мышление в оппозиции советским диктатурам; в ГДР – движение за мир (это очень сильно связано с историей моей страны) и экологическое движение.

Таким образом мы, повторюсь, видим плюрализм форм и содержания сопротивления. И должен сказать, что западные страны очень часто не понимали, что происходит на Востоке Европы. Конечно, общественность и даже наши политики вначале приветствовали Венгерскую революцию 1956 года, Пражскую весну 1968-го: солидарность опять-таки. Мы радовались успехам вашей литературы – Нобелевским премиям Пастернаку, Солженицыну, позже Бродскому. Даже Нобелевские премии мира Сахарова и Валенсы уважали. Но все-таки, по-моему, западные страны не понимали, как действовать на политическом уровне с диктатурами, которые они критиковали, но с которыми при этом хотели сотрудничать.

Совещание в Хельсинки стало большим шагом вперед: тогда права человека были включены в международные конвенции. Но дилемма осталась: СССР и другие советские диктатуры подписали этот документ, но продолжали нарушать права человека в своих странах, и западные государства не знали, как ответить. С одной стороны, мы уважали вашу культуру, с другой – мы сотрудничали с вашими диктатурами, потому что наши политики (может, иногда больше, чем у вас) были и остались государственниками. Они не понимали, что происходит в Восточной Европе, особенно в 1980-е годы. На одной из конференций, организованной Фондом Фридриха Эберта, социал-демократические лидеры дали коллегам из Восточной Европы совет: «Вы не должны беспокоиться, мы все организуем». Право-

защитник из Венгрии ответил: «Извините, пожалуйста. Вы – люди прошлого, вы уже потеряны, мы сами все сделаем. Вы с вашими обещаниями нам не нужны. Это вы должны слушать нас, а не мы вас». Вообще представление западных политиков, что это они «архитекторы новой Европы», – большая ошибка: они были статистами во времена правозащитных движений. «Архитекторами» в странах Восточной Европы были инакомыслящие, оппозиция.

В 1980-е годы, в перестройку, и во время перемен в 1989-м или в 1991-м советский режим и советские системы в Восточной Европе сломались в первую очередь потому, что были не способны организовать решение своих проблем, оказались не в состоянии провести подлинные реформы и вынуждены были объявить «гласность», и тогда возникла публичная сфера, активизировалась новая общественность. В формировании этой новой общественности правозащитники, диссиденты, бывшие инакомыслящие сыграли большую роль. Известные лидеры – Сахаров, Михник, Гавел – все-таки были правозащитниками, а не революционерами. Они сделали, по-моему, гораздо больше, чем любая революция, – они придали переменам «мирное лицо» и сохранили свои принципы в достижении огромных или маленьких побед. Это удивительно! Сергей Адамович Ковалев не раз говорил мне: «Вольфганг, я никогда не был революционером. Я – НЕ революционер. Я выступаю за право, за дисциплинирование революции. Я знаю историю, но наша задача – другая». И для нас опыт того времени сегодня – даже сегодня – очень показателен. Через тридцать лет после мирных революций ситуация в Европе гораздо сложнее, чем мы думали тогда, и я имею в виду не только Россию, но и Польшу, и свою страну. Нам не удалось сохранить послание того движения во всей Европе, и возродить его принципы – наша первостепенная задача.

Знаете, Французская революция создала Робеспьера, но деяния Робеспьера не умаляют деяний Вольтера и Дидро. Франция пережила в XVIII веке три революции, чтобы создать демократическую культуру. Так и решение наших – ваших – задач продолжается. В этом смысле я убежден, что Арсений Рогинский в истории Европы гораздо важнее, чем ваш президент. Поэтому так важна эта конференция, посвященная диссидентскому движению.

Формы и практики протестных движений в СССР, Восточной и Центральной Европе

Тересе Бируте Бураускайте

**Невооруженное антисоветское движение в Литве:
молодежные подпольные группы и организации**

«Крик умирающей нации о помощи» (“A Cry For Help From Dying Nation”) – под таким заголовком в 1950 году в швейцарской печати вышло обращение католиков Литвы к папе римскому Пию XII о преследовании Католической церкви и верующих, об агрессивной и жестокой советизации всех сфер жизни.

Это взывала к людям всего мира не умирающая, а борющаяся нация. К сожалению, на протяжении многих лет, а зачастую и сейчас, на Западе не знают, что литовский народ никогда не смирился с оккупацией, оказывая сопротивление с первых ее дней – конца июня 1940 года. До начала войны между СССР и Германией сопротивление было стихийным, проявлявшимся в основном одиночными спонтанными акциями. Так, например, в июле 1940 года студенты Каунасского университета имени Витаутаса Великого публично отказались участвовать в «свободных» выборах и предлагать своих кандидатов в Народный сейм; 13 августа 1940 года на съезде учителей в Каунасе вместо исполнения обязательного «Интернационала» учителя исполнили гимн Литвы; осенью того же года в День всех усопших в Каунасе возле могил добровольцев – защитников независимости 1918–1919 годов молодежные группы поклялись бороться за свободу Литвы, пели патриотические песни, гимн Литвы.

Акции протеста проходили и в дни празднования Октябрьской революции 7–8 ноября 1940 года. В те дни даже в Вооруженных силах Литвы было водружено несколько литовских триколоров. 16 февраля 1941 года (в честь установленного в 1918 году Дня независимости Литвы) по всей стране были водружены литовские триколоры, разбрасывались или расклеивались антисоветские прокламации, газеты. Очень активный характер носило и антинацистское сопротивление в период немецкой оккупации. Это в большинстве своем проявлялось массовыми тиражами подпольной печати, призывавшей к неповиновению акциям оккупационной власти, агитировавшей отказываться служить в вермахте и учредить литовские структуры СС. Многие включились в акции спасения евреев, в особенности детей.

В июле 1944-го началась вторая оккупация Литвы Советским Союзом, и литовцы вступили в неравную борьбу с оккупантом, длившуюся почти десять лет. Главной целью вооруженного сопротивления было восстановление независимости Литвы, что декларировалось в основных документах партизан. Личное решение вступить в борьбу, как правило, стимулировали опыт фашистской и первой советской оккупаций, советский террор, мобилизация молодежи в армию, а также надежда на то, что страны Запада выполнят свои обязательства по Атлантической хартии и вопрос государственности Литвы после войны будет решен дипломатическими средствами или путем созыва мирной конференции. Но, увы, эта надежда оказалась иллюзией, литовские партизаны остались одни на поле борьбы с могущественной державой. До 1954 года ряды партизан насчитывали около 50 тысяч человек, а по большому счету в вооруженное сопротивление вовлеклись почти 100 тысяч, включая членов подпольных организаций и тех, кто оказывал содействие.

Масштабный террор оккупантов, аресты и ссылки, провокаторская деятельность внутренних агентов и операции агентов-боевиков, военно-чекистские операции НКВД, гибель борцов за свободу – это подтачивало организованное партизанское сопротивление по всей Литве. К 1954 году в лесах Литвы остались партизаны-одиночки.

После жестокого подавления советскими оккупантами последних очагов вооруженного сопротивления, длившегося десятилетие, стало набирать силу и размах сопротивление различными способами гражданского неповиновения с целью противодействия русификации, сохранения традиционных национальных ценностей, истори-

ческой памяти, вероисповедания, с целью отказа от насаждаемого властями образа жизни и идеологии, для защиты прав человека.

Теплившееся в сознании народа стремление к свободе время от времени выливалось в спонтанные массовые демонстрации протеста: в 1956 и 1957 годах в Каунасе и Вильнюсе в День поминовения всех усопших (1–2 ноября), 18–19 мая 1972 года в Каунасе после самосожжения Ромаса Каланты и, наконец, в 1988–1989 годах массовые митинги Саюдиса по всей Литве. Даже страсти спортивных болельщиков не раз приобретали антисоветский характер, как случилось, например, 21 июля 1961 года (в годовщину «добровольного» вступления Литвы в состав СССР) в Каунасе и 9 октября 1977 года в Вильнюсе.

Надо сказать, что самыми распространенными очагами сопротивления до 1972 года были разрозненные подпольные организации и группы, занимавшиеся переписыванием, копированием и распространением запрещенных книг, изданных в довоенной Литве или на Западе. В 1972–1987 годах набирает размах издание подпольной периодической печати, действуют подпольные типографии, возникает все больше точек копирования и распространения запрещенной литературы; в процессе формирования диссидентского движения создаются кружки, открыто декларирующие свои цели – дать отпор насаждению менталитета *homo sovieticus*, русификации, воспитывать национальное самосознание, защищать права человека. Коллективные протесты-петиции верующих и духовенства, направляемые партийному руководству Литвы, в Москву и литовским церковным иерархам, вызывали действия советского режима в отношении Католической церкви. В 1988 году в Литве был создан Саюдис, начался развал советского режима, завершившийся воссозданием 11 марта 1990 года независимости Литвы.

Молодежные подпольные организации и группы

В период партизанского сопротивления (1944–1954) борьба с оккупантами велась не только оружием: действовали многочисленные и активные подпольные организации, созданию большинства которых способствовали партизаны. Через них организовывались акции гражданского неповиновения – бойкот мобилизации в Красную армию, отказ вступать в колхозы, неучастие в выборах и в мероприятиях коммунистической пропаганды, распространение партизанской печати, воззваний, сбор информации для лесных братьев. Участие

в сопротивлении, даже и в невооруженном, было очень рискованным. Только за 1947 год были арестованы и осуждены не менее 132 членов подпольных организаций, 39 человек застрелили в момент проведения заданий или замучили на следствии¹.

После смерти Сталина режим относительно смягчился, прекратились массовые аресты, жестокие пытки задержанных, депортация населения, карательные операции. Общественность Литвы с трудом заживала раны оккупационных репрессий, развал хозяйства, вызванный принудительной коллективизацией.

Когда началась кампания развенчания культа Сталина и появилась надежда на лучшую жизнь, большая часть общества была занята поиском возможностей для собственного благосостояния и благосостояния своей семьи, ослабла установка не сотрудничать с советским режимом. Хрущев частично децентрализовал управление хозяйством Советского Союза, предоставив большую самостоятельность союзным республикам, на некоторое время приостановил безоглядную русификацию, преследование верующих и Католической церкви. Все больше литовцев смогли занимать руководящие должности в управлении промышленностью, в республиканской администрации. В аппарате Коммунистической партии Литвы в 1952 году литовцы составляли 30 %, а в 1965-м уже 64 %. Но недоверие к литовцам никогда не исчезало: в 1957–1958 годах КГБ зарегистрировал 140 000 лиц, ведущих переписку с родственниками и друзьями на Западе, было проверено около 4 000 000 писем (около 6200 из них конфисковали за «антисоветское содержание») и 200 000 посылок.

Конформизм и трусость старшего поколения, перенесшего тотальное насилие, были неприемлемы для молодого поколения. На это указывает то, что в 1954–1972 годах в движении гражданского сопротивления преобладали (около 80 %) подпольные организации молодежи, в основном учащихся и студентов. Идеалы партизан в юношеской среде еще не поблекли. «Если для твоего освобождения, Родина, требуется моя жизнь, возьми ее. Мне не жаль девятнадцати лет», – напишет в 1957 году подпольщица Нийоле Гашкайте в своем дневнике, позднее конфискованном КГБ на обыске².

В 1954–1972 годах в Литве действовало не менее 205 подпольных организаций и групп, в деятельности которых принимали участие более

¹ Gaškaitė N. Jaunimo pasipriešinimas ir jo slopinimas šeštajame-septintajame dešimtmetyje // *Laisvės kovų archyvas* (Kaunas). 1996. Nr. 19.

² Особый архив Литвы. Ф. К-1. Оп. 58. Д. 44614.

1190 членов (более 50 % членов подпольных организаций, раскрытых КГБ в 1957–1958 годах, не достигли 18 лет). Почти все организации были выявлены КГБ, 153 членов арестовали и отправили в лагерь³.

Только небольшая часть подпольных организаций имела фиксированное членство, формально утвержденный устав, сформулированные политические программы, издавала подпольно свою литературу или занималась культурно-просветительской деятельностью. Наказание для членов таких групп было более строгим. Интеллигенция старшего поколения, за редкими исключениями, связей с этими организациями не поддерживала.

Особенно многочисленны были кружки единомышленников, не имевшие формальной структуры, списков членов. В случае раскрытия дело зачастую заканчивалось их предупреждением о необходимости прекратить антисоветскую деятельность (с участниками велась профилактическая работа), исключением из учебных заведений, порицанием на собраниях и в печати, людей вынуждали публично покаяться, заклеить соратников, отказаться от своих убеждений. До конца 1960-х годов была проведена профилактическая работа приблизительно с 5000 молодых людей.

С идеологической точки зрения программы почти всех этих организаций были очень схожи, патриотическая их направленность определяла поставленные задачи: воспитание гражданской сознательности, интереса к истории края, приобретение и изучение изданной до оккупации литературы на исторические, религиозно-философские темы, составление воззваний, вывешивание флагов в ознаменование запрещенных режимом важных для литовцев религиозных праздников и исторических дат. Несмотря на то что большинство членов подполья протестовали против грубой политики русификации, унижающей национальное достоинство, программы не содержали шовинистических заявлений, наоборот, подчеркивалось, что «мы не должны быть слепыми националистами. Все народы должны отвоевать право на самоопределение. Мы всегда должны быть противниками расовой ненависти и русификации»⁴.

Деяния антисоветски настроенных активистов становились достоянием общества, слухи о водружении то в одном, то в другом месте литов-

³ Gaškaitė N. Jaunimo pasipriešinimas

⁴ Программа подпольной организации «Свободная Литва» ("Laisva Lietuva"), 1958–1961 // Особый архив Литвы. Ф. К-1. Оп. 58. Д. 44614.

ского триколора (зачастую накануне 16 февраля) передавались из уст в уста. За 50 лет советского режима не было случая, чтобы 16 февраля не было так или иначе отпраздновано. В трудно достигаемых и хорошо видных местах накануне этого дня, чаще всего ночью, водружались литовские триколоры, наклеивались антисоветские лозунги. Так, в 1958 году в ночь на 16 февраля в Литве было поднято десять триколоров.

Воззвания, которые распространялись в День независимости, призывали молодежь быть верными идеалам свободы, отмечать этот праздник в своих семьях, не бояться из-за этого пострадать.

Зачастую КГБ раскрывал подпольную организацию после выпуска первого же номера газеты или после единожды распространенного воззвания. Но некоторые из таких организаций продержались и три-четыре года, им удалось выпустить по несколько номеров подпольных газет.

Одна из уникальнейших подпольных организаций, с перерывами существовавшая почти 20 лет, – «Союз защитников свободы Литвы» ("Lietuvos laisvės gynėjų sąjunga"), руководимый учителем Пятрасом Паулайтисом. Эта организация, основанная в Юрбаркасе в 1942 году, стала очагом сопротивления нацистским оккупантам, издавала подпольную газету «Литовские отголоски» ("Lietuviški atgarsiai"), высказывалась против вывоза молодежи на работы в Германию, клеймила уничтожение нацистами евреев. После войны члены организации ушли в партизаны, Паулайтис редактировал партизанскую газету «Колокол свободы» ("Laisvės varpas"). В 1947 году он был арестован, до 1956 года содержался в разных лагерях, по возвращении в Литву возобновил деятельность организации. В 1957 году Пятраса Паулайтиса вновь арестовали и приговорили к 10 годам лишения свободы с добавлением 15 лет неотбытого срока. В Дубравлаге Паулайтис возродил «Союз защитников свободы Литвы», целью которого было поддерживать дух молодых солагерников, создать им возможность для интеллектуального развития, материально поддерживать заключенных, не получающих помощи из дома. Велась подготовка и читка рефератов по истории Литвы (и не только для литовцев), совместно с заключенными других национальностей организовывались акции защиты прав человека. За эту деятельность Паулайтиса изолировали от других политзаключенных, до 1974 года его содержали в Дубравлаге в закрытой камере. Всего в заключении Паулайтис провел 35 лет. Где бы он ни находился – и на свободе, и в партизанском бункере, и в советском лагере, –

он поддерживал в собратях по несчастью, особенно среди юношества, стремление к сознательности, духовной стойкости, стремление к знаниям в любых условиях, учил не поддаваться конформизму.

Подпольная организация «Свободная Литва» ("Laisvoji Lietuva"), основанная осенью 1958 года в Вильнюсе в 16-й средней школе, имела 30 членов, устав, действовала на основании принятой программы, в которой была поставлена основная цель – стремление к отсоединению Литвы от СССР. Когда в 1961 году организацию раскрыли, пять ее активных членов были осуждены.

Подпольная организация «Юные мстители» ("Jaunieji keršytojai"), действовавшая в Игналинской средней школе в 1954–1955 годах, выпустила шесть экземпляров газеты «Заря» ("Aušra"), где печатались патриотические стихи, статьи, призывавшие бороться с советской властью.

Подпольная организация «Борьба ради свободы» ("Kova dėl laisvės"), действовавшая в каунасских 6-й и 13-й средних школах в 1953–1954 годах, выпустила три номера газеты «Голос свободы». В ней учащиеся печатали свои стихи и статьи, новости края. Любопытно, что в газете за октябрь 1953 года была опубликована довольно точная информация о содержании секретных протоколов пакта Молотова–Риббентропа.

Долго и эффективно действовала организация учащихся и студентов «Свободу Литве» ("Laisvę Lietuvai"), основанная в 1955 году в Пандельской школе. Входящие в нее учащиеся позднее, став студентами, расширили границы своей деятельности в высших учебных заведениях Каунаса, Вильнюса, Клайпеды, действовали на протяжении трех лет, издали шесть номеров газеты «Голос свободы». В программе организации было отмечено стремление к независимости Литвы, к выводу оккупационной армии, к созданию демократического строя на основе свободных выборов. КГБ раскрыл эту организацию, когда ее члены водружали триколоры на трубу Каунасской электростанции и на высоком холме в Вильнюсе. После продолжительного и изнурительного следствия восемь активнейших подпольщиков были приговорены в 1958 году к 7–8 годам лагерей строгого режима. Молодые люди и в лагере не прекратили своей деятельности. Будучи заключенными Дубравлага, в 1961 году они составили списки женщин-политзаключенных СССР и через отпущенного на свободу заключенного Юрия Трофимова попытались передать эти списки в ООН. Но неподалеку от посольства США Юрий Трофимов был задержан, списки конфисковали.

В лагерях завязывались приятельские отношения между политзаключенными разных народностей Советского Союза, позднее переросшие в тесное сотрудничество диссидентов.

Десятки подпольных организаций появлялись и в более поздние годы. Деятельность некоторых из них носила в большей степени просветительский, культурный, нежели политический характер. Их члены занимались распространением изданных в довоенной Литве или литовцами США книг, запрещенных советскими властями, – беллетристики, поэзии, исторической, философской литературы, стихотворений собственного сочинения, партизанских песен и стихов и пр.

Действовавшая в Панявежисе в 1952–1955 годах группа «Молодняк» („Atžalynas“, с 1953 года «Борцы за свободу» – „Laisvės kovūnai“) не только распространяла запрещенные советскими властями книги, но и организовывала семинары, писала рефераты на политические и философско-религиозные темы. Ксендз Йонас Бальчюнас, руководивший группой с 1953 года, призывал ее членов интересоваться современной политикой, изучать все аспекты советской жизни, усматривая и позитивные.

Спектр палитры сопротивления дополняют несколько подпольных групп левой идеологии, пропагандировавших национальный коммунизм: в 1963 году в Вильнюсском университете действовала подпольная организация «Солидарность литовских позитивистов» („Lietuvos pozityvistų solidarumas“); в 1966–1967 годах в Каунасе «Единое подполье европейских социал-демократов» („Europos socialdemokratų vieningas pagrindis“) издавало нелегальную газету «Голос Витиса» („Vyčio balsas“). Эти группы также были раскрыты КГБ после первого года деятельности, их членов допрашивали, несколько человек были осуждены и заключены в тюрьмы.

Подпольные организации и группы на протяжении двух десятилетий оживляли все более обедняемый дух общества и поддерживали надежду на свободу. Молодые люди в этой деятельности приобрели опыт конспиративной работы, большинство из них позднее влились в движение защиты прав человека, в издание подпольной печати. Кроме того, в постсталинском ГУЛАГе завязались связи с резистентами других поработанных народов и с русскими диссидентами, без помощи которых борьба за права человека значительно дольше не нашла бы отклика.

Петр Поспихал

От «Хартии-77» до «бархатной революции»

Я рад быть сегодня в Москве вместе с вами. Почти год назад я открывал здесь выставку «Хартия-77», и это тоже было очень хорошо. У меня есть 15 минут, в которые я попробую уложить историю «Хартии-77». Возможно, я был самым молодым активистом «Хартии-77»: мне тогда было 17 лет. И хотя прошло уже 42 года после этих событий, мои воспоминания очень живы.

«Хартия-77» как правозащитная инициатива возникла не случайно: она выросла из деталей и подробностей живой жизни в особый период истории Чехословакии. После советской оккупации в 1968 году руководство компартии начало большую чистку в партии и в обществе в целом. Этот процесс они называли «нормализацией». Ну, мы можем сейчас понять, что они считали нормальным: чтобы никто не рыпался, не сопротивлялся, чтобы все слушались, ходили по струнке, чтобы ничего без их согласия не появлялось и чтобы установилось этакое стылое безвременье в стране. И я помню, потому что я 1960 года рождения, помню ребенком эту оккупацию, помню целые годы «безвременщины» – когда просто ничего не делалось, не происходило никаких событий. Если возьмешь газету за какой-то день из тех времен и газету, вышедшую год-два назад, – их нипочем не различить, просто абсолютно обездвиженное время.

Было, конечно, немало людей, не согласных с этим процессом «нормализации», но наши интеллектуалы не могли опубликовать ни слова: могли только обмениваться текстами между собой. Это и стало началом самиздата 1970-х, когда они обменивались текстами, чтобы их оценить, чтобы дискутировать. Кроме интеллектуалов, были и другие недовольные слои общества. Критично относились к этой «нормализации» люди, которых выгнали из коммунистической партии, христианские круги – католики, протестанты и другие; конечно же, художники всех типов. И хотя общественная жизнь была очень тихой и почти ничего нельзя было организовать, люди стремились к действию. И когда в Хельсинки были приняты международные акты о правах человека – о политических и гражданских правах, тогда можно сказать, появилась некоторая основа, на которой стало возникать какое-то движение.

И вот в 1976 году, когда состоялся судебный процесс над музыкантами андеграундной группы Nhe Plastic People of the Universe, люди из кругов «несогласных» встречались в судебных коридорах и обсуждали, как быть, что же делать, потому что начались репрессии уже не против смутьянов со стажем (например, активистов Пражской весны или людей, исключенных из коммунистической партии) – начались репрессии против представителей искусства, и это было новое явление. Вот тогда возникла идея документа, который будет ссылаться и опираться на международные обязательства, подписанные представителями государства Чехословакия, и основная идея документа будет, что права человека – это отнюдь не формальный вопрос. Исходя из Заключительного акта Хельсинкского совещания, мы можем составить документ, в котором будем утверждать, что эти права – для всех, эти права – для всего общества. И предполагалось, что такой документ должен солидаризировать несогласных из разных слоев общества.

Подписи под текстом «Хартии-77» стали собирать еще в декабре 1976 года. Было три основных круга людей: так называемые еврокоммунисты – бывшие члены коммунистической партии; христианские активисты – католики, протестанты, активисты католического самиздата; ну, и художники, рабочие, техническая интеллигенция – люди, которые не были связаны с конкретной средой, но чувствовали себя очень неуютно в этой ситуации государственной «нормализации». Накануне публикации этого основного документа «Хартии-77» под ним была 241 подпись. «Хартия-77» была опубликована 6 января 1977 года, и сразу же, в ночь на 7-е, прошли обыски у всех, ее подписавших. Эта очень масштабная операция была проведена чехословацкими органами госбезопасности. Резкой критикой «Хартии-77» разразилась газета “Rudé Právo”. Это было немного удивительно даже. Ну, мне было 17, я более-менее ориентировался: я тогда уже несколько лет каждый вечер слушал «Голос Америки», читал всякие газеты, хотя людей лично еще не знал. Но удивительно для меня было то, что они не смогли просто замолчать это дело. Ну, какая-то «Хартия-77, да не узнал бы никто об этой «Хартии», потому что откуда же? Нет, они жестко пошли на конфронтацию: статья в ежедневном органе компартии “Rudé Právo” от 7 января называлась «Проигравшие и самозванцы». И конфронтация была очень резкая. Проводили встречи трудящихся в разных коллективах, встречи официальных художников и требовали, чтобы они единодушно

осудили эту «Хартию-77». Некоторые просили дать им прочитать «Хартию-77», но всем таким смельчакам говорили, что прочитать невозможно, но осудить необходимо.

Вот такой абсурд: ясно, что цель была унижить всех, а вовсе не дисквалифицировать с людьми.

В эти первые недели, первые месяцы после публикации «Хартии-77» прокатилась, может, не очень сильная, но вполне ощутимая волна репрессий: Вацлав Гавел уже был арестован, соратники тоже. А «Хартия» была организована так, что всегда выступали три оратора: знаменитый драматург и писатель Вацлав Гавел, философ Ян Паточка и бывший министр иностранных дел периода 1968 года Иржи Гаек. И вот Гавел под арестом, а этих двух, Паточку и Гаека, каждое утро забирали в КГБ, держали там весь день, вечером выпускали, но рано утром на следующий день брали опять. Другие люди тоже – в предварительном заключении, допросах, под следствием. Философ Ян Паточка после очень длительного допроса умер в полиции 13 марта 1977 года. В таком жестком стиле кампания против «Хартии-77» продолжалась несколько месяцев, потом немного стала стихать.

Именно в это время люди без контактов и связей начали ориентироваться в событиях и людях, в личностях. Я, почти 17-летний парень, тоже пробовал найти контакты. Я жил тогда в Брно, и это удалось мне очень легко: по-моему, это даже очень смешно, потому что как я мог это сделать? Ну, я где-то нашел чей-то адрес в Праге или в Брно, пришел, позвонил в дверь, сказал: «Добрый день, я Петр Поспихал и хотел бы с вами познакомиться, потому что знаю, что вы активист «Хартии-77». Ну, это такая особенность 1977 года: никто мне не сказал тогда, что меня на порог не пустят, нет, каждый готов был со мной разговаривать. Может, потому, что мне было всего 17 лет, а будь я на два-три года старше, это уже и не получилось бы, а так было нормально. И вот уже через несколько месяцев я знал практически всех в Праге и Брно, организовывал разные встречи на квартирах, дискуссии, концерты, чтения, обмен текстовыми документами, размножение документов самиздата и т.д. Конечно, другие то же самое делали, но в Брно, например, нас было немного.

Начало движения «Хартия-77» было очень интересным, потому что создало широкую людскую платформу. Потому что если в самом начале был 241 подписавшийся, то затем люди добавлялись, ставили свои подписи – и, конечно, было в десять, может, в тридцать

раз больше сочувствующих, тех, кто не подписывал своим именем «Хартию», но тоже стал участником этого процесса. Это сообщество людей было очень интересным, потому что очень толерантным: практически не случалось – ну, может, единичные случаи, – чтобы кто-нибудь сказал: «Я не хочу подписывать, потому что среди подписавших есть кто-то, с кем я не согласен». Я помню два-три таких случая, но мы старались объяснять, что это неправильно. Речь шла о защите прав человека, а не о том, чтобы ругаться.

Вацлава Гавела выпустили из тюрьмы через четыре месяца, у «Хартии-77» появились и другие ораторы, и понемногу прессинг против «Хартии-77» смягчился. Но репрессии продолжались. Я сам стал объектом следующей фазы репрессий, потому что власти хотели уstrasить именно молодых людей. Вот так, с двумя старшими коллегами, меня арестовали в начале мая 1978 года, и я в первый раз оказался в тюрьме. Это тоже интересно, но не та тема, о которой я хочу сегодня говорить.

«Хартия-77», чтобы не оказаться в бездействии, должна была выработать какую-то долгосрочную стратегию. Организация выпускала документы по разным темам, проводила дискуссии в обществе, занималась защитой репрессированных. Все это, конечно, очень не нравилось власти и органам, и в конце мая 1979 года они решили нанести сокрушительный удар по «Хартии-77». Арестовали Вацлава Гавела, Иржи Динстбира, Петра Ула и других. Мы понесли тяжелый урон в «Хартии-77» и особенно в Комитете защиты несправедливо преследуемых, который был основан в ответ на репрессии. Арестованным дали неожиданно высокие сроки – от 3 до 5 лет. Это вызвало кризис: одни люди стали уезжать в эмиграцию, другие боялись, потому что давление было очень-очень жестким. Мы, оставшиеся, старались продолжать дело, что порой удавалось, а порой и нет. Кризис «Хартии-77» закончился, по-моему, около 1985–1986 года. «Хартия-77» все это время, конечно, работала, публиковала разные документы, стабилизировала свою позицию и авторитет, но значительно расширить свое влияние не удавалось.

Когда начали появляться новые молодые люди, они уже иначе смотрели: для них не были важны темы оккупации и политического процесса репрессивной «нормализации», они уже думали о том, как разработать какую-то перспективу на будущее.

И сейчас, коллеги, хочу вас спросить, дадите ли вы мне дополнительное время, чтобы мы дошли до «бархатной революции»?

Александр Даниэль: Как-то без «бархатной революции» тоскливо. Петр, может, вы как-то чуть более сжато, но все-таки дойдете до счастливого конца?

П.П.: Но имейте в виду, что мне предстоит описать отрезок в 12 лет. Сократить рассказ о 12 годах нелегко.

Итак, во второй половине 1980-х годов появились новые люди, новые движения, даже новые технологии. Стало легче производить самиздат, для связи начали использовать факс. Из Западной Европы эмигранты прислали нам несколько электронных пишущих машинок с памятью, а в 1988 году появились даже первые компьютеры. Может быть, конечно, одним из источников перемен были процессы, происходившие в Советском Союзе. Люди понимали, что сопротивление режиму уже не такое рискованное дело, рискующих стало больше, и положение складывалось все более и более динамичное.

Конечно, процесс перемен захватывал и Советский Союз, и другие страны. Про Польшу даже не говорю – это совсем особая тема. И оказывалось, что перспектива есть, все не так безнадежно, как казалось всего несколько лет тому назад. И интересно было то, что очень-очень многих людей, приходивших в это движение, волновали новые перспективы, новые выходы к новой ситуации: не то, как нам защитить и обезопасить свои права сейчас, а что будет после... И, скажем, в 1986–1987-м дискуссии о близком будущем уже шли повсюду. Это было очень интересно. Дискуссии о демократии, об экономике, о правовом положении государства и т.д. И нам удалось включить в этот процесс даже важный международный элемент – может быть, при моем участии тоже, потому что мы организовали особые встречи с поляками, с польскими диссидентами, воспользовавшись для этого горными участками границы с Польшей. Эти пограничные встречи были очень важны для нас, мы обменивались идеями, контактами, самиздатскими публикациями, мы познакомились не только с конкретными людьми, но и с другим образом мышления. Это было вдохновляюще. И столь же обогащающими были наши контакты с диссидентами из Советского Союза, хотя таких контактов было очень мало, но они были...

А.Д.: Иржи Динстбир приезжал?

П.П.: Нет, Урбан приезжал, Ян Урбан. Я с Подрабинеким общался по телефону и с другими... Были такие контакты, и я сам в них участвовал.

Итак, как и в других странах, процессы у нас ускорялись. И в 1989 году открылись совсем новые перспективы, к нам уже присоединялись люди из так называемой серой зоны, у которых не было прежде смелости поддерживать с нами связь, но тут они поняли, что, если мы все не объединимся, – не будет ничего. В дни «бархатной революции» фронт уже был очень широк и очень решительно двинулся к переменам. Мы тогда очень быстро поняли, что если не мы, то нет другой силы, которая может влиять на текущие события в Праге и в стране. Конечно, мы очень боялись такого развития событий, которое позже произошло в Румынии. Мы боялись столкновений и жертв на улицах, очень боялись. Потому что в такие критические моменты достаточно случиться только одной неожиданной провокации – и последствия могут быть ужасны не только для хода событий, но может быть утрачено доверие масс к революции и вообще к возможности преобразования общества. Но думаю, что нам более или менее удалось овладеть этим процессом, и то, как мы договаривались, как мы общались с демонстрантами на Вацлавской площади, с сотнями тысяч демонстрантов, которые прекрасно нас понимали, – это, по-моему, невероятно. Это значит, что мы не были так уж оторваны от реальности, мы не были таким уж «изолированным гетто», как иногда сами думали. Мы были внутри событий и на одной волне с обществом в целом.

Надежда Белякова

Об отношениях между религиозниками и диссидентским движением в СССР в условиях холодной войны конца 1960-х – начала 1980-х годов

Положение религии и верующих в позднем Советском Союзе остается и сегодня достаточно политизированным сюжетом; такая политизация стала результатом специфической политики советского государства по отношению к религии и того, какое значение эта политика приобрела в 1970-е годы. Расширение и интернализация движения за права человека ввели различные группы советских инакомыслящих в широкий международный контекст и объединили между собой тех, чьи базовые человеческие права ущемляются. Но как соотносились между собой в повседневной жизни Советского Союза религиозные сообщества и различные диссидентские группы (исключая их соседство и взаимодействие в местах заключения), какие представления о другом формировались в их среде и были ли у них какие-то общие интересы, помимо защиты от преследующего их государства, – эти вопросы нуждаются в дальнейшем систематическом исследовании, и задача моего доклада – актуализировать эту проблематику.

Религиозное и диссидентское движения в Советском Союзе были объединены в восприятии советских органов тем, что оба считались формой инакомыслия, представлявшей угрозу советскому строю. Мы знаем, что в знаменитом Пятом управлении КГБ, созданном Андроповым в 1967 году, четвертый отдел специально занимался «контрразведывательной работой в среде религиозных, сионистских и сектантских элементов и против зарубежных религиозных центров»¹. Руководство органов госбезопасности придерживалось установки, что религиозная среда служит базой для идеологических диверсий. Например, поданная в ЦК КПСС из КГБ записка 1966 года начиналась следующими словами: «По имеющимся в Комитете государственной безопасности данным, разведки противника, его пропагандистские органы в подрывной работе против Советского Союза, особенно при осуществлении идеологических диверсий, все более активно используют возмож-

¹ Петров Н. Подразделения КГБ СССР по борьбе с инакомыслием 1967–1991 годов // Повседневная жизнь при социализме. Немецкие и российские подходы. М.: Полит. энциклопедия, 2015. С. 158–184.

ности зарубежных религиозных центров и организаций»². В советских популярных политических изданиях массовому читателю регулярно сообщали об угрозе использования советских верующих западными диверсионными центрами и разными антисоветскими организациями³. С середины 1970-х годов в среде идеологов госбезопасности утвердилось представление о том, что угроза объединения диссидентского и религиозного движений (под влиянием польских событий) и координация их западными центрами представляет серьезную опасность существующей системе. Яркая иллюстрация распространенности в КГБ этого утверждения – фрагмент отчета за 1978 год: «Органы КГБ настойчиво добивались снижения активности антисоветских, националистических, церковно-сектантских и других антиобщественных элементов, недопущения их консолидации и объединения в организационные звенья, блокирования с антисоветскими зарубежными центрами»⁴.

Каким видели религиозное движение участники и аналитики диссидентского движения в Советском Союзе? Как показывает анализ ключевых исследований по истории диссидентского движения, диссиденты-современники тоже включали религиозников в состав инакомыслящих. В ставшем классическим исследовании Людмилы Алексеевой, посвященном истории инакомыслия в СССР, религиозные движения помещены после национальных движений и движений за право на эмиграцию; показательно, что на первом месте у Алексеевой евангельские христиане-баптисты, после них идут пятидесятники, адвентисты седьмого дня и последними – православные. Значительно позднее в составленном Александром Даниэлем списке общественных проблем, попадавших в поле зрения правозащитников в СССР, вторым блоком называется «религиозная жизнь, уровень свободы и независимости ее от государства». Затем А. Даниэль перечисляет религиозные группы и движения в следующей последовательности:

² Записка № 197с в ЦК КПСС начальника 2-го главного управления Комитета госбезопасности при Совете Министров СССР Банникова. 26.01.1966 // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 487. Л. 20.

³ Одна из популярных книг, сегодня широко представленных в Рунете: Белов А., Шишкин А. Диверсия без динамита. 2-е изд. М.: Политиздат, 1976.

⁴ Записка № 646-А/ОВ председателя КГБ СССР Ю.В. Андропова Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу «Отчет о работе Комитета госбезопасности за 1978 год» // Власть и диссиденты : Из док. КГБ и ЦК КПСС / Архив нац. безопасности при Ун-те Джорджа Вашингтона (США), Московская Хельсинкская группа; подгот. текста и коммент. А.А. Макаров, Н.В. Костенко, Г.В. Кузовкин. М.: Моск. Хельсинкск. группа, 2006. С. 211. О срыве попыток западных диверсионных центров по активизации религиозников сообщается и в отчете за 1981 г. на с. 245.

- православные диссиденты («отдельные православные активисты, как клирики так и миряне, оказавшиеся в конфликте с государственным аппаратом и ставшие диссидентами из-за своего несогласия с соглашательской политикой руководства РПЦ»);
- движение баптистов-«инициативников», объединившихся в 1965 году в Совет Церквей ЕХБ;
- пятидесятники (ХВЕ) во главе с епископатом Союза Церквей ХВЕ;
- одно из радикальных течений внутри отечественного адвентизма ВЦ ВСАСД, так называемые шелковцы;
- общество «сознание Кришны»;

И на шестом, последнем, месте – греко-католики⁵.

Классификация обоих авторов мне представляется очень интересной и важной, поскольку она не отражает ни картину официальной религиозной жизни в СССР, ни тенденции в распределении религиозных сообществ в СССР вне границ легальности. Как в таком случае объяснить появление такой систематизации? Первоначально ответ дала сама Людмила Алексеева во введении к своей книге. Она объяснила, что в обзоре движения инакомыслия она поставила на первое место национальные движения «не только потому, что они – наиболее широкие и наиболее традиционные, но и потому, что возникли они раньше большинства религиозных и намного раньше гражданских». Этот аргумент заставил глубже задуматься над вопросом, что же в таком случае понималось под религиозным инакомыслием? Очевидно, что под религиозным движением Л. Алексеевой (а позднее и А. Даниэлем) понимались не верующие, объединявшиеся институционально на основе своих религиозных убеждений и существовавшие во враждебном им секулярном обществе с активно насаждавшимся научным атеизмом, претерпевавшие различные формы дискриминации или даже подвергавшиеся прямым репрессиям за свои убеждения, – как представляется, в данном случае под религиозным движением понимались те группы верующих, которые в публичном пространстве обнаружили свое радикальное противостояние власти, которые занимались распространением самиздатских текстов о борьбе за право выражать свои религиозные убеждения. Такая классификация отражает интенсивность присутствия в публичном правозащитном дискурсе той или иной деноминации,

⁵ Даниэль А. Топология советского инакомыслия, 1950–1960-е годы // Повседневная жизнь при социализме. Немецкие и российские подходы. М.: Полит. энциклопедия, 2015. С. 90-105.

скорее даже определенных течений внутри отдельных деноминаций. Поэтому актуальной исследовательской задачей представляется дальнейшая реконструкция связей и механизмов обмена информацией между верующими и диссидентами в СССР.

Как хорошо известно историкам, в религиозном поле СССР в хрущевский период внутри многих деноминаций оформляются оппозиционные структуры, противопоставляющие себя руководству официальной религиозной верхушки и опирающейся на нее государственной власти. Наибольшую известность получили баптисты-«инициативники», создавшие эффективный механизм противодействия антирелигиозным акциям государства и оповещения международного сообщества. Кроме того, достаточно широко освещалась деятельность адвентистов-реформистов (шелковцев) и пятидесятнического движения за эмиграцию. Феномен эффективной деятельности и мировой известности некоторых религиозных движений (достаточно незначительных внутри СССР) нуждается в дальнейшем осмыслении. Пока же я перечислю те формы протестной активности, которые вывели эти группы религиозников в публичное поле:

- петиционные кампании. Первая значимая кампания была организована движением инициативников в связи с убийством баптиста-неофита Николая Хмары в отделении милиции Барнаула в 1964 году, когда в рекордные сроки из разных концов страны были отправлены тысячи протестных писем. Позднее массовое написание коллективных писем стало организованной, регулярной практикой⁶;
- привлечение внимания высшего руководства страны, требования встреч с представителями высшего руководства. Так, например, известно, что в 1965 году состоялась встреча руководителей баптистов-инициативников с А. Микояном. Однако после массовой демонстрации перед зданием ЦК КПСС внутри руководства ЦК возобладала жесткая позиция в отношении инициативников, предложенная руководством КГБ⁷;

⁶ См., напр.: Письма и жалобы протестанток из Советского Союза // Белякова Н.А., Добсон М. Женщины в евангельских общинах послевоенного СССР, 1940–1980-е гг. : Исследование и источники. М.: Индрик, 2015. С. 284-347.

⁷ Савин А.И. Нелегальная деятельность евангельских общин и практики власти в позднем СССР, 1960–1980-е гг. // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2018. Т. 9. Вып. 7 (71) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: <https://history.jes.su/s207987840002374-0-1/> (дата обращения: 28.06.2019). DOI: 10.18254/S0002374-0-1

- создание общественных структур, ставивших своей задачей мониторинг и распространение информации о преследованиях верующих. Хорошо известна история создания Совета родственников узников, пострадавших за проповедь Слова Божия (в сокращении: СРУ ЕХБ), который регулярно выпускал периодическое издание «Бюллетень Совета родственников узников», сообщающее об известных Совету фактах преследований верующих евангелистов (преимущественно из незарегистрированных общин);
- обращения в международные инстанции с требованиями защитить религиозные права советских граждан. Письма направлялись в ООН, Международный комитет защиты мира и другие организации⁸;
- отказы от советского гражданства / движение за эмиграцию. Разработанные еврейскими и немецкими активистами формы действия, позволявшие добиваться разрешения на выезд, стали активно практиковаться в некоторых религиозных сообществах⁹.

Все эти действия сводились к предъявлению властям основного требования: обеспечить участникам протестной кампании возможность открыто жить в соответствии со своими религиозными убеждениями, что предусматривалось, – утверждали верующие, – и главными законами страны (постоянно встречаются ссылки на Декрет о свободе совести 1918 года), и международными нормами.

Очевидно, знакомство диссидентов с публичными акциями, а затем с отдельными представителями радикальных религиозных групп, регулярное получение от них самиздатских текстов привело к включению их в категорию советских инакомыслящих и к борьбе за реализацию их прав¹⁰.

⁸ О характере писем верующих в позднем СССР см.: Белякова Н.А. «Сообщаем о преступлении против правосудия...»: обращения и жалобы верующих в брежневском СССР // Новейшая история России. 2018. Т. 8. № 3. С. 640–658.

⁹ О движении за эмиграцию в среде пятидесятников см.: Ключева В. Эмиграция по религиозным мотивам: советские пятидесятники в поисках «лучшей доли» // Quaestio Rossica. 2018. Т. 6. № 2. С. 438–453.

¹⁰ Судя по всему, личные связи в отношениях и взаимодействии религиозников и диссидентов были единственными и определяющими. Например, один из моих респондентов, ныне покойный пятидесятнический епископ Владимир Мурашкин рассказывал, что слышал фамилию Гинзбурга от своего непосредственного духовного лидера епископа Ивана Федотова. «Когда в первый раз Федотова посадили, и первый раз, и второй раз обследовали и в психиатрической он лежал на обследовании. И там он лежал вместе с Гинзбургом. Вот они там познакомились. Иван Петрович был знаком с ним. Это были 60-е гг., в 61-м году. Поэтому мне так интересно было» (из интервью с Вл. Мурашкиным). Информация в «Хронике текущих событий» об активности литовских католиков обеспечивалась благодаря контактам С.А. Ковалева.

Почему же тогда встает вопрос о характере отношений между верующими и диссидентами, если внутри религиозной среды существует ярко выраженное протестное движение, участники которого борются за реализацию одного из базовых прав человека – права на свободу совести?

На мой взгляд, тому есть несколько причин. Во-первых, то, что основная часть религиозников находилась вне внимания правозащитников, попав в «серую зону» латентной дискриминации со стороны государства. Во-вторых, из всего спектра прав человека в этих сообществах на повестку дня было поднято только право на свободу вероисповедания. Под этим правом понималась возможность воспитывать детей в своей вере, ограждать их от участия в советских общественных организациях (прежде в пионерской и комсомоле), вести религиозную работу с молодежью; осуществлять миссионерские проекты, а также заниматься образовательной, благотворительной, катехизаторской деятельностью внутри своего сообщества. Говоря современным языком, речь шла о требовании права на открытую и неограниченную евангелизационную активность. Изучение повседневной жизни этих сообществ обнаруживает в них одновременно и авторитарные закрытые структуры, члены которых рассматриваются как винтики в четко отлаженном механизме, не признающем за людьми личных прав и свобод. Более того, именно в оппозиционных религиозных движениях мы видим очень жесткие внутренние формы дисциплинирования членов сообществ, включая контроль за сексуальной жизнью, борьбу с внутренними врагами, нетерпимость к любой форме инакомыслия или проявления самостоятельности.

В этом сложном контексте выведение борьбы Советского Союза (и всех социалистических режимов Восточной Европы) с религиозными пережитками в область обсуждения прав человека было важнейшим достижением религиозных активистов. Судя по всему, существенную помощь в оформлении этого дискурса советским верующим оказали западные центры, провозгласившие своей миссией помощь страдающим христианам Востока, такие как Кестон колледж¹¹ и «Вера во втором мире». Кристаллизация этого дискурса происходила в условиях информационного противостояния в период холод-

¹¹ Об этом см., напр.: Френч Э. Майкл Бурдо и Центр по изучению религии и коммунизма в контексте защиты религиозной свободы (1959–1975) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2017. № 1. С. 216–243.

ной войны, и, как представляется, международная составляющая в его становлении была ключевой.

Дело в том, что борьба с религиозными идеями и религиозными институтами не могла привлечь сколько-нибудь широкого внимания западной общественности, находившейся в фазе активной секуляризации и занятой поиском новых форм отношений с собственными традиционными религиозными институтами. Безусловно, это утверждение относится к политическому мейнстриму. Как раз консервативные религиозные группы восхищались и помогали незаурядным религиозным гражданам СССР (и других стран Восточной Европы), отстаивавшим свое право на воспитание детей в соответствии со своими религиозными убеждениями, готовым за Слово Божие попасть в заключение, создававшим для распространения его подпольные типографии, и противопоставляли эту духовность собственным секуляризирующимся обществам. Известно, что американские евангелики развернули в середине 1970-х годов так называемую евангелизационную кампанию, опираясь на уникальный опыт духовности советских христиан.

Я считаю, что использование правозащитной риторики религиозными активистами от начала 1970-х до конца 1980-х годов не отражало внутренний уровень правосознания (то есть восприятия человеческих прав в качестве базовых или хотя бы чуткости к этой проблематике) в советских религиозных группах, а имело преимущественно внешний, так сказать, «экспортный» характер. Использование дискурса прав человека, по крайней мере на первоначальном этапе, было инструментализовано определенной категорией религиозных активистов для достижения большего публичного эффекта, выработки условий для торга с советским правительством. Более того, в условиях усложняющейся конфигурации холодной войны появление на поле дискурса человеческих прав делало религиозников полноценными акторами международного диалога, а не носителями пережитков прошлого.

Мы знаем, что внутри Советского Союза религиозники и диссиденты существовали в разных мирах с разной системой координат. Однако появление общего пространства прав человека, в котором пересекались диссиденты и верующие, приводило к изменению горизонтов и к более реалистичному восприятию друг друга. Мы видим в среде секулярных диссидентов внимательно-сочувственное отношение к религиозникам, которые хоть и представлялись

порой какой-то загадочной, таинственной силой, подлинно народным движением воспринимались в значительной мере как *terra incognita*. Масштабы преувеличения количества и влияния некоторых религиозных движений порой поражают. Например, Людмила Алексеева в очень ценном для исследователя предисловии к сборнику «Документы Московской Хельсинкской группы» (2006) сообщала, что пятидесятников в СССР насчитывалось до полумиллиона. Между тем эта цифра (в свою очередь весьма преувеличенная) фигурировала для характеристики всего евангельского сообщества СССР в послевоенный период, хотя на деле пятидесятники значительно уступали по численности баптистам и евангельским христианам¹².

Как видели и воспринимали советских диссидентов и их правозащитную активность представители радикального крыла? Позволю себе привести несколько больших цитат из интервью с епископом незарегистрированных пятидесятников, ныне покойным Владимиром Мурашкиным¹³ о его встрече с представителями диссидентского движения.

«Однажды из Владивостока мой друг Леонид Багрин решил уехать в Канаду. Только появилась возможность, они давно добивались разрешения, с таким трудом все это делали. И вот наконец... это, кажется, еще перед моей посадкой. И вот он приехал добиваться, какие-то документы делать, им уже светил выезд; а я жил в Калуге в это время, только приехал из Прибалтики. После исключения из института я был там. Он узнал, что я оттуда приехал, и он приезжает ко мне в Калугу и говорит: «Володя, ты бы не сопроводил меня? Мне нужно встретиться с Гинзбургом». – «А кто такой, – говорю, – Гинзбург?» – «Это такой правозащитник, он живет в Тарусе». Я говорю: «Поедем». А я вообще не знал, кто такой Гинзбург и что такое политика, я вообще не представлял, во что мне это выльется все. И так я его сопровождал. И, короче говоря, только мы приехали, он познакомил нас с Гинзбургом. Он дома, не работает. Вдруг через какой-то момент заходят трое человек и представляют, что они субботники, крещенные Духом Святым. И они в

¹² Синичкин А. В. О динамике роста братства ЕХБ с 1945 по 1965 год // Феномен Евразийского протестантизма : Материалы конф. Богословск. о-ва Евразии 17 окт. 2003 г., пос. Кийлов Киевской обл., Украина / отв. ред. М. Черенков. Одесса, 2003. С. 89-96.

¹³ Владимир Мурашкин был основным помощником многолетнего руководителя незарегистрированного движения пятидесятников Ивана Федотова.

этой среде активно благовествуют, сеют, говорят о своих позициях, о своих понятиях. Гинзбург сидит, мы с Лёней, и приходят эти трое. Они заходят, представляются, и сразу разговор в свои руки, они стали интересно говорить, нам подарили свою литературу, самиздатовские все. Ну, интересно, взяли мы. Я впервые услышал, как они хорошо знают Писание. Они настолько знают Писание, я был удивлен! Ну, суть такая: потом вдруг приходит генерал Григоренко. Вы, может, слышали? Который развенчанный был там, татарин. За то, что он поддержал крымских татар в свое время, он <...> потом, так как он не сломлен был, его в психиатрическую, там ломали его. И теперь рядовой, он, возвращаясь с дачи своей, он зашел к Гинзбургу по своим точкам соприкосновения. Нас представляют генералу Григоренко, чуть-чуть историю кратенько его. Я-то к политике не очень тогда; и тогда Григоренко берет свое внимание и немножко рассказывает кое-что. Но когда он начинает рассказывать о своих злоключениях, он, смотрю: покрывается пятнами красными. То есть ему психически не так это легко дается. Он с женой, и ребенок у них. И ее ребенок, он ненормальный, он типа даун. Короче говоря, для меня это все экзотика, потому что я – узкого плана, образования нет. Религиозный круг, он все-таки замкнут. Все это для меня было экзотически интересно. Мы послушали его, пришло время уже расставаться, и мы отправились. За нами, естественно, хвост <...>

Но через некоторое время Гинзбурга арестовали, начался процесс, и меня раз вызвали в КГБ, Лёни нету. «Куда ты ездил?» А я говорю: «Друг меня пригласил. Ну, были мы где-то у кого-то». Я прикинулся, что минимум знал. Они меня в КГБ вызвали и говорят: «Вот, Лёня был у Гинзбурга. Вот, литература, которую он распространял, – правозащитная. Идет процесс, нам нужно просто подтвердить, что Лёня не мифическая личность. Вот ты должен подтвердить, что ты был с Лёней. А все остальное не надо от тебя». Короче говоря, я первый день сказал – да, с Лёней я был. «Тогда подпиши». Я протокол этот подписал, и, когда я пришел к Валентине Борисовне, она: «Да ты че, не надо было подписывать никакой бумаги, идет суд над Гинзбургом, ты только будешь доказывать че-то, они свое будут крутить из этого». Короче, я подумал – надо же, какой я зеленый и неопытный! И на следующий день я прихожу и говорю: «Вы знаете, я отказываюсь от вчерашнего этого». – «Почему?» – «Потому, что вы меня весь день держали, это было пристрастие,

и под давлением я подписал». И теперь еще из-за этого они два дня вызывали, два дня еще был допрос. Вызвали другого, из Беларуси следователя. Он как ангел божий, он со мной – ой! – так хорошо разговаривал. В общем, это отдельный интересный рассказ, но я отвязался от них, и они не стали меня по делу Гинзбурга вызывать. Третий день я понял, что с ними вообще не надо разговаривать, и они третий день вызывают опять. «Садитесь» – «Нет, я постою». – «Почему?» – «Христос стоял, ему не предлагали стул. И я постою». Короче, я их вывел, и они от меня отвязались. Но это было время, я тебе скажу, когда было КГБ в Калуге... Потом началось мое личное дело.

- А для чего Леонид ездил к Гинзбургу?
- Хороший вопрос. Потом, когда перестройка кончилась, он с женой приезжал сюда. Приглашал меня в Канаду, но меня так и не пустили, потому что был судимый. Ну, короче говоря, мы с ним так поддерживаем связь. Такой истинный мотив, почему он с Гинзбургом встречался, – я даже точно не знаю. <...> Пробивались за рубеж, и, видно, Гинзбург ему помог, и он хотел его отблагодарить или просто встретиться. А вы не знаете, Гинзбург живой или нет уже?
- Нет уже. Умер давно.
- У него рука был инвалидная. Ну и еврей по национальности. А почему меня заинтересовало; оказывается, когда в первый раз Федотова посадили, и первый раз, и второй раз обследовали, и в психиатрической он лежал на обследовании. И там он лежал вместе с Гинзбургом. Вот они там познакомились. Иван Петрович был знаком с ним. Это были 60-е годы, в 61-м году. Поэтому мне так интересно было.
- А как о нем отзывался Федотов?
- Хорошо отзывался, очень хорошо. Они же верующие все, и евреи, они тоже верующие по-своему. **Они к евреям очень хорошо относились, потом чувствовали, что он страдает за религию, диссидент от религии. А те диссиденты от политики. Вот это все сближает.** [Выделено мною. – Н.Б.] Может быть, Лёня находкинские материалы передал ему. Там же целое находкинское дело было, движение»¹⁴.

Этот фрагмент интервью еще нуждается в особом внимательном изучении. Для нашего исследования он представляет интерес как иллюстрация того, как внимательно КГБ отслеживал эпизодически

¹⁴ Из интервью В. Ключевой с В. Мурашкиным.

возникающие связи между верующими и диссидентами, опасаясь, как мы уже знаем из доступных нам сегодня архивных документов, возникновения единого широкого протестного движения в религиозной среде, как это происходило в Польше. Однако в Советском Союзе ситуация была принципиально иной. Диссиденты и религиозники (за исключением очень тонкой прослойки) находились в разных мирах/пространствах. Зафиксированный нами разрыв в видении советских верующих представителями советской власти, с одной стороны, и известными представителями диссидентского движения, с другой, способствовал тому, что религиозная жизнь не рассматривалась в контексте общечеловеческих прав. Тогда как религиозные активисты, вышедшие в поле, которое обозначалось как политическое, смогли стать частью правозащитного движения. Овладение на протяжении 1970-х годов частью религиозных активистов СССР дискурсом «прав человека на религиозную свободу» и дальнейшее включение историков-правозащитников в международный дискурс движения за права человека превратило верующих Советского Союза из носителей «пережитков прошлого», маргинальных и странных для советской диссидентской интеллигенции персонажей – в борцов за права человека, полноценных участников международного правозащитного движения. Одновременно те же верующие вынесли внутреннее размежевание и конфликтность в религиозной среде в публичный дискурс диссидентского движения.

При этом политически активные религиозные деятели, умело использовавшие идеологическое противостояние времен холодной войны, воспринимали советских диссидентов как политиков, а себя характеризовали как отказывающихся от участия в политической борьбе. Сферами, в которых у этих групп были общие интересы, стали правозащитная активность и движение за эмиграцию, очень тесно связанные между собой. Однако, как убедительно показывает уже упоминавшееся исследование Веры Ключевой, в среде пятидесятников даже движение за эмиграцию стояло особняком от других эмиграционных движений, оно не получило международного резонанса (в отличие от еврейского), и его представители так и не смогли вступить в полноценную коммуникацию с диссидентскими кругами. Необходимость соблюдения дистанции между секулярными диссидентами и крещеными по вере формулировалась в религиозной

среде, поскольку занятие политикой могло угрожать религиозной идентичности верующих¹⁵.

Пересечение диссидентского и религиозного движений происходило в области правозащиты. Специфика религиозного подхода заключалась в утилитарном, одномерном понимании правозащиты как инструмента для получения возможностей реализовать свои концепции, базирующиеся на религиозных идеях, в том числе для проведения евангелизации или для эмиграции. Однако благодаря усвоению ими дискурса прав человека положение верующих в СССР оказалось внутри международной повестки дня и, по мере международного развития этого дискурса, приобрело политическое значение.

Постепенно в религиозной среде укоренялась риторика защиты прав человека. Однако, в отличие от западных христиан, советские верующие не смогли в 1970-е годы создать свою теоретическую базу понимания прав человека. Тем не менее сам факт включения советских религиозников в разнородное международное движение за права человека и внесение ими своей лепты в политизацию прав человека сделали их полноценными акторами холодной войны.

¹⁵ См., напр., воспоминания известного религиозного диссидента Георгия Винса, опубликованные в том числе и на сайте Сахаровского центра, в которых он тревожится из-за сближения в конце 1970-х годов его сына с Хельсинкской группой на Украине: «Меня очень беспокоило духовное состояние самого Пети. Я знал, что он перестал посещать собрания верующих и подружился с неверующими людьми, очень образованными: литераторами, учеными, работниками искусств, которые увлекались политическими вопросами и которых именovali “инакомыслящими”. Хотя эти люди не верили в Бога, но симпатизировали гонимым христианам. Они проявляли большой интерес к Петру как члену семьи, переносившей гонения за веру начиная с 1930 года. Возможно, они хотели подключить к своему движению и наших верующих. Это было опасно для его души, и я очень переживал за Петю» (Винс Г.П. Евангелие в узах // <https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=13199>).

Сергей Чупринин

У черты.

Опыт и уроки раннего «подписанства»¹

После смерти Сталина рискованное «слово» стало понемножку отрываться от смертельно опасного для жизни «дела», и писателей, защищенных известностью и социальным статусом, за разговоры *tête à tête* уже почти не преследовали. Доносы и агентурные сообщения куда следует, разумеется, шли, так что, обратившись к рассекреченным архивам, мы и сейчас можем узнать, о чем Паустовский разговаривал с Казакевичем на ялтинском пляже, как Гроссман за закрытыми дверями собственной квартиры пересказывал жене свой судьбоносный разговор с Сусловым и какими планами Евгений Евтушенко делился на дне рождения у Роберта Рождественского.

Но сажать вроде бы уже не сажали. Или... все-таки могли посадить? В этом смысле история литературной жизни в оттепельную пору открывается нам еще и как история осторожного, а иногда и самоубийственного прощупывания реальности: где красная черта? за что сделают только отеческое внушение на партбюро или пригрозят в газетной статье, а за что уже и привлекут по полной?

Вот можно ли, например, уклониться от подписывания очередного гнусного письма, спущенного из инстанций? Или лучше все же не рисковать? И десятки самых именитых писателей страны в ноябре 1956 года ставят свои подписи под открытым письмом с осуждением «фашистского» мятежа в Венгрии. И там не только верные слуги режима, а еще и Твардовский, и Берггольц, и Каверин, и Казакевич. И даже Эренбург, бравировавший своим легальным западничеством: «Текст мне не очень понравился – был пространен и порой недостаточно убедительным. Однако шла война, и рассуждать о том, что мы обороняемся не тем оружием, было глупо. Вместе с Паустовским и другими писателями я присоединился к письму».

Спустя всего два года развернется нобелевский скандал. И что он покажет?

Что, во-первых, Пастернак все-таки преступил черту. Не только и не столько тем, что напечатал роман в Милане: за это его могли бы,

¹ Расширенный вариант доклада опубликован в журнале «Знамя» (2019. № 4).

по тогдашнему выражению, пропесочить, и втемную, не поднимая большого шума, песочили больше года – от 23 октября 1957 года, когда Фельтринелли выпустил «Доктора Живаго» в итальянском переводе, до 24 ноября 1958 года, когда Пастернак телеграммой принял Нобелевскую премию.

Что, во-вторых, его и за это уже не арестовали и не депортировали, как грозились, из страны, а покарали только «всенародным осуждением», прежде всего писательским. Что ж, «Боря знал правила», как спустя десятилетия Михалков-старший заметит в разговоре с Михалковым-младшим. И если постыдными действиями одних, в том числе вроде бы приличных литераторов, руководил исключительно страх, то другие травили поэта именно за нарушение «правил». Так, по словам Лидии Чуковской, ее брат «Николай [Чуковский], как и Маргарита Алигер (как и многие из литераторов, любивших и ценивших Пастернака), считали, что издавать свои книги на Западе – это для советского писателя поступок безусловно недопустимый. А раз так, стало быть, осужден Пастернак “в общем правильно”».

Однако же, и это третий урок нобелевского скандала, оказалось, что от позора уже можно все-таки уклониться. Как особо подчеркнуто в докладной записке заведующего отделом культуры ЦК КПСС Д. Поликарпова, а именно он 27 октября дирижировал исключением Пастернака, «не приехали на заседание 26 писателей», и в их числе либо сказавшиеся больными, либо никак не объяснившие свое отсутствие Твардовский, Леонов, Погодин, Маршак и «личный друг Пастернака писатель Всеволод Иванов».

Да и многие другие, уже не такие титулованные литераторы постарались 31 октября избежать явки на общемосковское собрание писателей в Доме кино на улице Воровского. «Ко мне, – вспоминает Вяч. Вс. Иванов, – подошел вечно улыбчивый и ироничный Давид Самойлов, один из самых близких друзей. Он сказал, что уедет из Москвы, чтобы не участвовать в готовившемся на этих днях собрании всех московских писателей по поводу Пастернака. А на случай, если его перехватят и нужно будет участвовать в голосовании, он перевяжет руку: не могу, мол, ее поднять. Все это говорилось с усмешкой. Но становилось жутко – это была реакция одного из самых достойных молодых писателей и человека взглядов, мне достаточно близких».

Да вот еще пример. Как рассказывает Галина Вишневская, «на собрании деятелей культуры Москвы в Центральном доме работников искусств, где должны были поносить Пастернака, намечалось выс-

тупление Славы [Ростроповича], о чем его и поставил в известность секретарь парторганизации Московской консерватории.

Слава возмутился:

– Но я не читал книги! Как я могу ее критиковать?

– Да чего ее читать? Никто не читал!.. Скажи пару слов, ты такой остроумный...

К счастью, – продолжает Вишневская, – у Славы был объявлен концерт в Иваново, и он уехал из Москвы. На следующий день после концерта – в субботу – он объявил директору Ивановской филармонии, что давно мечтал осмотреть их город и потому останется и на воскресенье. В понедельник же изумленный директор филармонии узнал, что Ростропович так потрясен увиденным, что решил остаться еще на один день. А в это время в московском ЦДРИ шло позорище, и многие видные деятели культуры выступили на нем».

Не явился, не участвовал, не поднял руку – невелика, скажут сегодня, доблесть. Не знаю, не знаю... Мы не жили тогда, а Ростропович жил, и он спустя двенадцать лет скажет: «Я с гордостью вспоминаю, что не пришел на собрание деятелей культуры в ЦДРИ, где поносили Б. Пастернака и намечалось мое выступление».

Где скажет? В открытом письме от 31 октября 1970 года главным редакторам газет «Правда», «Известия», «Литературная газета» и «Советская культура», развернувших кампанию травли Солженицына в связи с присуждением теперь уже ему Нобелевской премии.

Былой, перетолкуем старинное слово, «уклонист» превратился в убежденного борца с коммунистическим режимом. И в правозащитника.

Но для этого должно было пройти двенадцать лет.

А тогда, поздней осенью 1958-го... Тогда никто еще не выступил на собрании со словом поддержки Пастернака, никто не написал письма в его защиту, никто не дал крамольного интервью западным газетам.

Вот и вывод, уже четвертый. Уже можно было не улюлюкать. Но еще нельзя было – или казалось, что нельзя? – заступаться за гонимых и травимых.

Черта, край сдвигались постепенно. И знаковым событием стали похороны Пастернака 2 июня 1960 года, на которые, судя по информационной записке отдела культуры ЦК КПСС, «собралось около 500 человек».

Не все, конечно, там были, и в составленном коллективными усилиями списке «тех, кто не испугался и пришел поклониться гению» (А. Вознесенский), иных достойных имен явно недостает. «Многие

считающие себя порядочными люди не пришли, – свидетельствует В. Каверин. <...> Труссы, дорожившие (по расчету) мнением людей порядочных, постарались проститься с поэтом тайно, чтобы никто, кроме его домашних и самых близких друзей Бориса Леонидовича, об этом не узнал. Так поступил, например, Ираклий Андроников. Боясь попасться на глаза дежурившим в кустах топтунам, он через дачу Ивановых дворами прошел к Пастернакам, ”как тать”, по выражению старой няни, много лет служившей в доме Всеволода».

Важно отметить, что нобелевского сюжета, как и вообще политики, никто на похоронах не касался. Крамольные «выкрики» людей «из толпы» не были поддержаны, так что, как с удовлетворением отмечено в записке отдела культуры ЦК КПСС, «собравшиеся на похороны иностранные корреспонденты были разочарованы тем, что ожидавшегося ими скандала и сенсации не получилось и что не было даже работников милиции, которых можно бы сфотографировать для своих газет».

Все прошло, словом, тихо-мирно. И тем не менее стоит с вниманием отнестись к записи в дневнике Чуковского: «Когда спросили Штейна (Александра), почему он не был на похоронах Пастернака, он сказал: “Я вообще не участвую в антиправительственных демонстрациях”».

Над трусоватым драматургом можно посмеяться. Но по сути он был прав: похороны Пастернака действительно стали демонстрацией неповиновения – может быть, одной из первых. И, что тоже важно, репрессий по отношению к отважившимся приехать в Переделкино не последовало.

Так что край – когда сажают, исключают из Союза писателей, лишают доступа в печать – еще отодвинулся. И – с арестом Бродского в феврале и судом над ним в феврале – марте 1964 года – начинается новая эпоха: эпоха писем. Пока еще в то время исключительно по инстанциям: от Президиума Верховного Совета СССР до правления Ленинградской писательской организации.

«За него, – сказала Ахматова, – хлопчут так, как не хлопотали ни за одного человека изо всех восемнадцати миллионов репрессированных! И Фрида [Вигдорова], и я, и вы, и Твардовский, и Шостакович, и Корней Иванович, и Самуил Яковлевич, и Копелевы. Это на моих глазах, а сколько еще, именитые и не именитые, в Ленинграде!»

Что здесь важно?

Первое – за индивидуальными либо подписанными двумя-тремя именами обращения к власти предрежащим довольно быстро после-

довали коллективные, и Яков Гордин, вспоминая «письмо 49-ти» молодых ленинградских литераторов, где выражена надежда на то, что «справедливость по отношению к И. Бродскому будет восстановлена в законном порядке», с полным основанием отмечает: «Собственно, этим письмом было начато движение “подписантов” – людей, подписывающих коллективные петиции в защиту жертв незаконных процессов».

И второе – появились люди, которые не просто сами подписывали эти ходатайства и протесты, но и «выступали на собраниях, уговаривали знакомых им власть имущих, писали характеристики Бродского, ходили по инстанциям, собирали отклики иностранной печати...» Как правило, они были менее имениты, чем те, чьими подписями открывались протестные документы, зато и сил тратили на эту деятельность больше, и в ряде случаев рисковали тоже большим.

И наконец, третье – письма в защиту опального поэта тогда еще не выходили в публичную сферу, то есть направлялись не в самиздат или тамиздат, а либо непосредственно властным адресатам, либо влиятельным фигурам западного мира (так, к хлопотам об освобождении Бродского подключили Сартра, и он опять-таки не выступил публично, а 17 августа 1965 года обратился к Микояну с личным письмом, говорящим, как мешает это «дело» друзьям СССР в Европе).

Завесу между корпоративным литераторским миром и миром, открытым всякому равнодушному человеку, прорвала Фрида Вигдорова, чьи записи с процесса не только ушли в самиздат, но еще и появились сначала 5 мая 1964 года в эмигрантской «Русской мысли», а затем в американских, французских и английских журналах.

И оказалось, что власть, достаточно терпимая к инакомыслию, не переносит его публичного обнаружения, то есть обращения к общественному мнению и прежде всего к мировому. О криминальных публикациях тут же доложили Хрущеву, и он, разумеется, в первую очередь «спросил, как Фридина запись попала за границу». Этого было достаточно, чтобы репрессивные маховики завертелись, так что, как вспоминают Раиса Орлова и Лев Копелев, «вскоре стало известно, что правление московской организации Союза писателей готовит дело об исключении Вигдоровой из Союза. Уже подыскивали ораторов из числа “умеренных либералов”. Хотели так же, как раньше в деле Пастернака, спекулировать на аргументах: “она препятствует оттепели... она провоцирует репрессии... внушает недоверие к интеллигенции...”»

«Дело, – продолжают мемуаристы, – не состоялось – в октябре свергли Хрущева, растерялись и литературные чиновники – куда повернут новые власти?»

Но сигнал – вот она черта, которую нельзя переступать, – был подан. И уж понятно было тем более, что людям, которые хотят, по пастернаковскому выражению, быть «заодно с правопорядком», никак невозможно участвовать в публичных акциях неповиновения. Поэтому на «митинге гласности», который Александр Есенин-Вольпин в День Конституции 5 декабря 1965 года собрал на Пушкинской площади в Москве, не было ни одного писателя с именем. Знать – знали, но не пришли или, если пришли, то стояли в сторонке – как Варлам Шаламов и даже как Александр Гинзбург.

Почему? «Мы, – вспоминают Раиса Орлова и Лев Копелев, – тоже получили это приглашение, однако на демонстрацию не пошли. Не было даже колебаний. Кое-кто говорил, что это может быть и провокация. Мы так не думали, но просто считали – это студенческая затея, вроде тех собраний у памятника Маяковскому, где читали стихи и произносили речи. Мы хотели действовать по-иному: не выходить на улицу, не взывать “всем, всем, всем!”, а снова попытаться вразумлять власти и выпросить Синявского и Даниэля, как выпросили Бродского».

Вот по-иному и действовали. То есть завалили инстанции письмами – и в связи с процессом Синявского и Даниэля, и в связи с опасностью реставрации сталинизма, и в связи с обращением Солженицына к IV съезду писателей, и – особенно – в связи с делом Галанскова со товарищи.

Уместно спросить: что же здесь нового в сравнении с кампанией в защиту Иосифа Бродского? Отвечу. Ново то, что письма, по-прежнему вроде бы адресуемые советским органам власти и редакциям советских газет, в общем-то уже и не были рассчитаны на ответ, а мгновенно запускались в свободную циркуляцию по стране, звучали по «вражеским голосам», тиражировались зарубежными средствами массовой информации.

И нов был масштаб: если поэта-тунеядца из ссылки выцарапывали десятки, то тут властям пришлось иметь дело с сотнями, а на пике и с тысячами людей, среди которых были уже не только безбоязненные, но и вполне себе законопослушные граждане.

Подписанство стало входить едва ли не в моду. Добровольные активисты челноками сновали из одной квартиры или из одной редак-

ции в другие, и кто-то ставил свою подпись по велению сердца, а кого-то, случалось, брали и «на слабо», взывая к тому самому чувству товарищества, которое провластные публицисты обычно называли ложным.

Вот дневниковое свидетельство Александра Гладкова, которому в мае 1967-го принесли, как и многим, заявление в поддержку письма Солженицына съезду: «Я не вижу в этом прока и подписал, пожалуй, из малодушного нежелания ссориться с обществом».

А вот и Владимир Войнович спустя десятилетия вспоминает, как ему в январе уже 1968 года не хотелось подписывать письмо в защиту Гинзбурга–Галанкова–Добровольского–Лашковой. По той причине, говорит Войнович, что «подписание писем стало казаться мне какой-то глупой, безопасной и бессмысленной игрой». Однако Феликс Светов, доставивший криминальный документ, поглядел на него осуждающе, а «я, – продолжим цитировать Войновича, – признаться, был в те времена чувствителен (и даже слишком) к чужому мнению, к тому, что кто-то посчитает меня трусом и не совсем гражданином».

И что? И подписал, конечно, «проклиная себя самого». Здесь стоит сделать шаг назад и запнуться о то, что подписание писем Войнович назвал не только глупой и бессмысленной, но и безопасной игрой. Дело в том, что репрессивная машина – по крайней мере, применительно к известным фигурам – стала набирать обороты отнюдь не сразу. За подписи в защиту Бродского не наказали никого. Увещевать, конечно, увещевали, но и только.

К ходатаям по делу Синявского–Даниэля отнеслись уже строже. Как вспоминает Вениамин Каверин, «каждый из “подписантов” – так стали называть авторов протестующих писем – был наказан: одни получили выговор, другие – строгий выговор, третьим (в том числе и мне) было поставлено “на вид” и т.д. Помню, как смеялись мы тогда над выговорами К. Чуковскому, В. Шкловскому и И. Эренбургу». Хотя, продолжим каверинскую цитату, «смех смехом, а многим из “подписантов” были возвращены из редакций их произведения, имена перестали упоминаться в печати, а у иных, в том числе и у меня, года на два замолчал (хотя и не был выключен) телефон».

Впрочем, большинство литераторов, деятелей науки и культуры поддалось давлению далеко не сразу – во всяком случае, вал подписантского движения нарастал вплоть до зимы–весны 1968 года, когда, как сообщает Википедия, «под десятком индивидуальных и кол-

лективных писем в защиту Гинзбурга и Галанскова было собрано в общей сложности свыше 700 подписей». И среди тех, кто рискнул своим именем, Юрий Казаков, Давид Самойлов, Василий Аксенов, Юрий Левитанский, Юрий Домбровский, Михаил Рошин.

Уже поминавшееся «ложное» чувство товарищества, равно как и чувство собственного достоинства, еще продолжали действовать в полную силу. И тут власть постаралась вбить свой клин в ряды вольнодумцев.

Вернее, сразу два клина. Первый связан с тем, как власть и общественное мнение оценивали крупность той или иной фигуры. Самым известным из подписантов – в диапазоне от Чуковского до Эренбурга и от Шостаковича до Ромма – неприятностей не причиняли, а если и причиняли, то не за это. Тогда как людям, еще не завоевавшим такую известность, а в особенности молодым, начинающим, могли и вовсе, как тогда говорили, перекрыть кислород, исключив, сошлемся еще раз на Пастернака, саму возможность «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком».

Это и есть, собственно, второй клин. Он в вопросе: стоит ли овчинка выделки и стоит ли удовольствие всего лишь поставить подпись под письмами, в результативность которых все равно никто не верил, возможности печататься и вообще заниматься делом, которое представляется и тебе, и обществу культурно значимым?

Вот Твардовский. Он, хоть после нобелевской истории 1958 года и не замарал себя подписью под чем-нибудь недостойным, хоть и отказался поставить свое имя под постановлением секретариата Союза писателей, осуждавшим Синявского и Даниэля, все-таки публично не выступил в защиту ни их, ни Бродского, которому, судя по дневниковым записям, искренне сочувствовал.

Его можно осудить, конечно. А можно – не для оправдания, а для понимания – привести здесь запомнившийся Раисе Орловой «рассказ А.И. [Солженицына] о разговоре с Твардовским: “У нас с вами огромная разница. Я – вольный стрелок, отвечаю только, перед своим творчеством. Вы же отвечаете за множество жизней, за множество рукописей. Вы должны идти на компромисс”».

Причины идти на компромисс были не у одного Твардовского, ибо власть, карая уже не за инакомыслие, а только за его проявленность, за публичное себе сопротивление, перед каждым поставила недвусмысленный вопрос о цене всего, в том числе и подписи под письмом протеста или защиты.

И цена эта была за каждый поступок своей.

Особенно жесткой – за публичные выступления. Так, из КПСС Григория Свирского исключили за выступление на партийном собрании, а Юрия Карякина – за доклад памяти Андрея Платонова на вечере в Доме литераторов.

И иезуитски дифференцированной – когда речь только о «подписании заявлений и писем в различные адреса, по своей форме и содержанию дискредитирующих советские правопорядки и авторитет советских судебных органов...»

Эта цитата взята из протокола заседания секретариата правления Московской писательской организации, где 20 мая 1968 года разбирались персональные дела сразу нескольких десятков подписантов. Вина у них была одна, а кары разные: Льву Копелеву объявили «строгий выговор с предупреждением и занесением в личное дело», Василию Аксенову, Давиду Самойлову и Лидии Чуковской вынесли просто «выговоры», Белле Ахмадулиной, Науму Коржавину, Юрию Левитанскому и Фазилю Искандеру поставили «на вид», Владимир Корнилов и Юрий Домбровский были «строго предупреждены», а Новелла Матвеева, Юрий Казаков и Вениамин Каверин всего лишь «предупреждены»...

Фишка, говоря по-нынешнему, здесь в том, что «оступившихся» не только наказывали – за них еще и «боролись». Предлагали – то лаской, то таской – признать свою вину и, да, да, покаяться. Или хотя бы признать, что учет и больше не будет.

«Вы поберегите себя, – на том же заседании то ли по-отечески, то ли по-товарищески обращается Сергей Михалков к Александру Галичу, отличившемуся исполнением крамольных песен в Новосибирском Академгородке. – Вот этот вечер – как это выглядит со стороны? Взрослый, уже пожилой человек, полулысый, с усами, с гитарой, выходит на сцену и начинает петь. Да, это талантливо! Но это стилек с душком, с политическим душком. Он воспринимается как политический душок, даже если вы его и не вкладываете».

Галич, в общем, почти и не каялся, но хотя бы не возражал. И дело обошлось малой кровью: его лишь строго предупредили и обязали «более требовательно подходить к отбору произведений», намечаемых им для публичного исполнения.

А вот Борис Балтер на партийном собрании в редакции журнала «Юность» заартачился и стал возражать тем, кто по-своему пытался его спасти: «Я считаю, что, подписав письмо, я поступил согласно со своей партийной и гражданской совестью».

Итог? Исключение из партии и ни одной уже строки, опубликованной при жизни писателя.

Суммируя, можно сказать, что к окончанию оттепельной эпохи власти удалось расколоть писателей-подписантов на три группы.

На тех, кто – подобно Балтеру, Войновичу, Чуковской, Светову – как приоритет выбрал для себя открытую борьбу с правящим режимом, его идеологией и тем самым сознательно отказался от публикаций на родине.

На тех, кто – подобно Олегу Михайлову – в той ситуации не только публично раскаялся, но и перешел на сторону своих гонителей.

И, наконец, на тех, и они в большинстве, кто раскаянием себя не опозорил, друзей не предал и свои убеждения не переменял, но от активной правозащитной деятельности отстранился.

И только ли о писателях можем мы так сказать?

Приведу под занавес чудесную историю, случившуюся в Новосибирском научном центре зимой 1968 года.

Его сотрудники, откликаясь на «процесс четырех», тоже составили и подписали заявление, настаивая на отмене судебного приговора.

И, говорит одна из сборщиц подписей Мария Гавриленко, «первое письмо подписало от 600 до 1000 человек». Но после вразумляющей беседы с [директором Института ядерной физики] Будкером обсудили ситуацию и решили тактику изменить, число подписантов резко сократить, отработав определенные критерии отбора: не привлекать молодых, обоих членов семьи, перспективных ученых, особенно руководителей, поскольку без работы могли остаться работающие под их руководством и с ними вместе. По подписям прошлись и существенно почистили. Первый вариант сожгли».

Вот вам и соотношение – 1000, ну пусть даже только 250 подписей поначалу, и 46 тех, что остались в финале.

Одни выбрали открытую конфронтацию с режимом, другие – возможность и в дальнейшем продолжать свою научную деятельность, преподавать, писать книги и т.д., и т.п.

Оценка любого из этих выборов зависит от личной позиции оценивающих.

Но я не об оценке. Я о том, что именно такой – раздробленной – российской интеллигенция вошла в послеоттепельную эпоху, которую позднее назовут эпохой застоя.

Или, на сегодняшний манер, эпохой стагнации.

Культура, идеология, гуманитарное знание

Ирина Гордеева

**Толстовцы и диссиденты.
К истории складывания «толстовских» коллекций
«Мемориала»**

Среди фондов архива «Мемориала» есть две большие коллекции, связанные с историей толстовского движения. Первая из них – это фонд с условным названием «Толстовцы», который сложился в ходе подготовки публикаций по истории толстовских коммун, осуществленной Арсением Рогинским во второй половине 1970-х – 1980-е годы¹. Вторая – фонд А. Лобачева – Е. Ювченко, в состав которого входят материалы, собранные толстовцем Владимиром Евгеньевичем Ювченко и переданные на хранение толстовцу Александру Лобачеву в 2000-е годы. Ввод в научный оборот этих интереснейших документов требует тщательного изучения их происхождения как в историческом, так и в архивоведческом контекстах.

Толстовское движение очень мало известно в обществе и плохо изучено в историографии² по причинам культурно-идеологического

¹ Поповский М. Русские мужики рассказывают. Последователи Л.Н. Толстого в Советском Союзе, 1918–1977 : Документальный рассказ о крестьянах-толстовцах в СССР. По материалам вывезенного на Запад крестьянского архива. London: Overseas Publications Interchange (OPI), 1983; Воспоминания крестьян-толстовцев, 1910–1930-е гг. / сост. А.Б. Рогинский. М.: Книга, 1989.

² По существу, научное исследование толстовства началось только недавно: Гордеева И.А. Забытые люди. История российского коммунитарного движения. М.: АИРО-XX, 2003; Петухова Т.В. Коммуны и артели толстовцев в Советской России (1917–1929). Ульяновск, 2008; Alston C. Tolstoy and His Disciples. The History of a Radical International Movement. L.; N.Y.: I.B. Tauris, 2014; Агарин Е. Трудом рук своих. Толстовские земледельческие колонии в дореволюционной России. М.: Common Place, 2019.

и политического характера. Консервативная версия православия и ленинская интерпретация религиозно-нравственных идей Толстого сошлись в своем стремлении обесценить этику и общественную значимость толстовства. Это привело к подмене научных исследований публицистикой и к ярко выраженной тенденциозности в сфере сохранения толстовских архивов, обеспечения доступа к ним и публикации материалов толстовского движения.

Толстовство – это этическое течение и религиозно-общественное движение, возникшее в России и во всем мире в конце 1880-х годов под влиянием работ Л.Н. Толстого и получившее особенно широкое распространение в первой трети XX века. Как движение, толстовство существовало в неформальных формах, единомышленники Толстого не имели и не пытались выработать общую доктрину, их круг был пестрым в религиозном и идеологическом отношении и базировался скорее на общей этической платформе: учении о совести как голосе Бога в человеке, превосходящем все внешние авторитеты, включая государство и церковь, на представлении о всеобщем братстве людей, ценностях и идеях ненасилия, свободы совести и толерантности, концепциях мирного неповиновения и мирной духовной революции.

Первые российские толстовцы, принадлежа к мирному течению в русском народничестве, противопоставляли свой общественный идеал революционному и ставили перед собой цель изменить общество путем мирного нравственного самосовершенствования в сельскохозяйственных общинах. Основанное ими коммунитарное движение просуществовало до конца 1930-х годов, когда последние толстовские коммуны были уничтожены, а их участники репрессированы.

Еще одно движение, организаторами которого стали толстовцы, – радикально-пацифистское – зародилось на рубеже XIX–XX веков и ставило целью радикальную трансформацию международных, социальных и межличностных отношений в духе любви и ненасилия, с помощью всемирной ненасильственной революции братства. Пацифистское движение толстовцев имело свою легальную и нелегальную прессу, издательства, организационные центры. Участники этого направления, в отличие от Толстого, считали, что для реализации их идеалов необходимы не только индивидуальные усилия отдельных людей, но и координированные общественные действия в духе гражданского неповиновения. Особенно активными в публич-

ном пространстве толстовцы были в период Первой мировой войны и в 1917–1922 годы.

До революции толстовцы резко критиковали самодержавие и его полицейский режим, «казенную» православную церковь и все формы насилия над людьми, печатали и распространяли запрещенные произведения Толстого и религиозно-нравственную и просветительскую литературу для народа, боролись с голодом, отказывались от военной службы, выступали в защиту преследуемых сектантов и свободы совести, за что подвергались преследованиям со стороны властей.

Толстовцы активно участвовали в революционных процессах 1917 года, однако большевистскую революцию поддерживали лишь частично, в основном в связи с ее демократическими лозунгами и социальной программой. Убедившись в насильственном характере «социализма» большевиков, толстовцы выступили в качестве его резких критиков. В конце 1920-х – 1930-е годы многие активные деятели толстовского движения были подвергнуты разного рода репрессиям.

Последняя волна арестов толстовцев пришлась на конец сталинского правления. Тогда толстовское движение было подавлено, и толстовцы на долгие годы исчезли из общественной жизни. Те, кто выжил, к общественной борьбе и публичным выступлениям не стремились, но многое сделали для того, чтобы сохранить для потомков память о своем движении. Помимо участия в издании Полного собрания сочинений Толстого (1928–1958) и литературы о нем важнейшим делом, которое удалось осуществить толстовцам в 1950–1970-е годы, было сохранение архивов и написание воспоминаний.

Еще с дореволюционных времен толстовцы тщательно сохраняли личную переписку, документы о преследованиях и все материалы, связанные с их общественной деятельностью. Самые важные тексты они размножали во многих копиях как с целью обмена информацией с единомышленниками, так и с целью ее сохранения для потомков. Результатом этой работы стало формирование большого числа архивных фондов и коллекций личного происхождения, которые в настоящее время хранятся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки, в Российском государственном архиве литературы и искусства, в Государственном музее истории религии, в Отделе рукописей Государственного музея Л.Н. Тол-

стого и в других местах. Особенно важное значение для изучения истории толстовского пацифистского движения имеет фонд друга Толстого В.Г. Черткова, хранящийся в ОР РГБ (Ф. 435). Он содержит около 65 000 листов и по содержанию представляет собой не просто личный архив владельца, но в первую очередь огромное собрание документов по теме. К сожалению, долгие годы эти фонды были недоступны для исследователей, десятилетиями находились «в описании», за которым стояло как пренебрежение к толстовскому движению, так и стремление скрыть от общественности одну из идеологических альтернатив советскому коммунизму.

С уходом толстовцев с общественной арены надолго прекратилось и пацифистское движение. Советские диссиденты и правозащитники в основной массе были противниками насилия и нередко декларировали свою приверженность ненасильственным методам борьбы³. А.Д. Сахаров говорил, что стратегия диссидентов основана на «тотальном, принципиальном отказе от применения силы и от призывов к насилию»⁴. Тем не менее в целом инакомыслящие, диссиденты и правозащитники 1960–1970-х годов серьезно и систематически не занимались разработкой вопросов ненасильственного протеста, антимилитаризма и миротворчества, равно как и не предпринимали попыток возродить пацифистское движение. Пацифистом себя называл лишь один из них – Юрий Галансков⁵, придававший большое значение не только внутренним советским, но и мировым, глобальным проблемам.

Мечтая создать на планете «общество разоруженных государств и умов», Галансков планировал превратить ООН в подлинно низовую мирную организацию – Всемирный союз сторонников всеобщего разоружения. В его планах также было издание пацифистского журнала. В 1965 году Галансков устроил одиночную демонстрацию у посольства США в Москве, протестуя против американской интервенции в Доминиканскую Республику⁶. В текстах Галанскова заметны следы влияния именно толстовской традиции радикального пацифизма, но доказать наличие личных его контактов с толстовцами или знакомство с их текстами пока не представляется возможным.

³ Сориентироваться в этой проблеме мне помогло исследование: Буббайер Ф. Совесть, диссидентство и реформы в Советской России. М., 2010. С. 8, 128 и др. Так же см.: Тернавский Л. Воспоминания и статьи. М., 2006. С. 71-72.

⁴ Цит. по: Буббайер Ф. Указ. соч. С. 209.

⁵ Юрий Галансков. Франкфурт-на-Майне, 1980. С. 76-98.

⁶ Там же. С. 8.

Александр Даниэль утверждает, что толстовская формула «не могу молчать!» «как нельзя лучше отражает диссидентскую этику»⁷. А.Д. Сахаров также неоднократно использовал эти слова Толстого, а Г.С. Померанц однажды назвал правозащитное движение «соборным Толстым с его “Не могу молчать!”»⁸.

В диссидентской среде были и те, кто заявлял о своем особом отношении к Толстому и его религиозно-нравственным идеям. Например, Ю.Ф. Орлов писал в воспоминаниях: «В тот последний год перед войной огромное влияние оказала на мои мысли невероятная комбинация Ленина, гения насильственной революции, со Львом Толстым, фанатиком непротivления злу насилieм <...> Я прочел почти все, что написал Ленин, пожирая том за томом в читальнях; то же самое было и с Толстым. Пятнадцать лет спустя я полностью освободился от ленинского обаяния; но Толстой остался любовью на всю жизнь»⁹.

В «Письме» Анатолия Якобсона, посвященном протесту на Красной площади 25 августа 1968 года, есть ссылка на следующие слова Толстого: «Рассуждения о том, что может произойти вообще для мира от такого или иного нашего поступка, не могут служить руководством наших поступков и нашей деятельности. Человеку дано другое руководство, и руководство несомненное – руководство его совести, следуя которому он несомненно знает, что делает то, что должен»¹⁰.

Был в среде советских инакомыслящих и человек, который называл себя толстовцем не только в этическом, но и в религиозном смысле, – литературовед и культуролог Герман Наумович Андреев (Фейн). Изучая Толстого как литературовед, он увлекся его религиозно-нравственным учением. Андреев издал книгу о религиозно-общественных идеях Толстого, проникнутую глубоко личным отношением к его учению¹¹.

⁷ Цит. по: Буббайер Ф. Указ. соч. С. 148.

⁸ Померанц Г. Цена отречения // Сахаровский сборник, 1981. М., 2011. С. 84.

⁹ Орлов Ю.Ф. Опасные мысли : Мемуары из русской жизни. М., 2008. С. 55.

¹⁰ Якобсон А. Письмо Анатолия Якобсона // Горбаневская Н. Полдень. Дело о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 г. М., 2007. С. 318.

¹¹ Андреев (Фейн) Г. Чему учил граф Лев Толстой. М., 2004.

¹² Этот вопрос еще требует исследования. Представляется, что приверженность идеям Толстого в позднее советское время могла быть гораздо более распространенным явлением, чем принято считать. Так, например, недавно появилась публикация И. Семененко-Басина, посвященная Н.Л. Колбутовой, которая стала единомышленницей Толстого на рубеже 1970–1980-х гг. (И.Б. О Наталье Колбутовой // Среда : Междунар. альманах лит. и искусства. 2018. № 3 (11). С. 85). Также оказалось, что толстовские идеи ненасилия были важны для Веры Лашковой, Сергея Лезова, членов Группы Доверия Марка Рейтмана.

В послевоенные годы и последние десятилетия существования СССР имели место случаи единичного обращения в толстовство¹². Двое из таких толстовцев попали в историю диссидентского движения. Речь идет о киевлянине В.Е. Ювченко, собирателе документов, вошедших в состав фонда Лобачева–Ювченко, и о его бывшей ученице Любове Середняк. Как сообщала «Хроника текущих событий» в выпуске 25 за 1972 год, 15 мая у Ювченко, работавшего учителем, был проведен обыск по делу Середняк, арестованной за хранение и перепечатку самиздата. При обыске изъяли самиздат, после чего работники КГБ провели «беседы» с Ювченко и допросили его по делу Середняк и Леонида Плюща.

Воспоминания Л.И. Плюща свидетельствуют о мужественном поведении Середняк, совсем молодой девушки: «Эта девочка, отпраздновавшая совершеннолетие в тюрьме КГБ, вела себя лучше, чем многие мужики, протестовала, держала голодовки. Она была тогда “толстовкой”, требовала вегетарианской пищи – и ей готовили! В общем, Люба – молодец. Она получила год по отсиженному. В зону не пошла, освободилась после суда, а в период гласности уехала в Америку»¹³.

«Толстовкой» Любовь Середняк стала под влиянием Ювченко, который был ее учителем истории и классным руководителем с пятого по восьмой класс в киевской школе-интернате санаторного типа № 20. В 1969 году кто-то пожаловался дирекции на то, что Ювченко ведет «антисоветские» разговоры с педагогами и учениками, после чего его уволили по статье, запрещающей работать с детьми.

Диссиденты были первыми, кто начал восстанавливать историческую память о толстовцах – собирать их архивы, изучать и публиковать документы. Марк Александрович Поповский, известный и успешный советский литератор, неожиданно познакомился с толстовцами в конце 1976 года. В 1970-е годы Поповский уже внутренне порвал с советской властью: он читал, собирал и распространял самиздат, участвовал в правозащитном движении, был близок к А.Д. Сахарову. Работая над биографией архиепископа и хирурга Войно-Ясенецкого, он познакомился с о. Александром Менем и принял крещение. Часть своих текстов он писал не для печати и распространял в самиздате.

¹³ Десятникова И. «Поэт-диссидент Иван Свитлычный смеялся: “у нас не зона, а пен-клуб какой-то”» / [Интервью с С. Глуzmanом] // Факты. 2016. 16 сент.; URL: <http://fakty.ua/49242-quot-poet-dissident-ivan-svitlychnyj-smeyalsya-quot-u-nas-ne-zona-a-pen-klub-kakoj-to-quot>

Поповский вспоминал, что толстовцы сами вышли на него, прочитав его самиздатские работы: «Однажды друзья сообщили мне, что рукописи мои заинтересовали толстовцев, последователей философских взглядов Льва Николаевича Толстого. Я удивился: откуда взялись толстовцы на шестидесятом году советской власти?»¹⁴ Вскоре Поповский получил от толстовцев два документа – письмо Д.Е. Моргачева в Генеральную прокуратуру о реабилитации и положительный ответ на него. Писателя поразило то чувство собственного достоинства, с которым толстовец требовал реабилитации, его верность своим убеждениям, которая была заметна в этом письме.

Первый толстовец, с которым Поповский познакомился лично, был И.П. Ярков, позже он нашел еще тридцать два адреса толстовцев, со многими из которых сумел установить контакт. Друзья-диссиденты помогали ему собирать информацию о толстовцах и перепечатывать полученные от них документы. Так, например, по его поручению в Кемеровскую область к толстовцам ездила Лариса Богораз, которая оставила небольшие воспоминания об этом событии¹⁵.

Результатом работы стала большая коллекция копий воспоминаний толстовцев и их переписки 1960–1970-х годов. Собранные материалы Поповский забрал с собой в эмиграцию осенью 1977 года. В настоящее время они хранятся в составе Бахметьевского архива в Колумбийском университете (Mark Popovskii Papers), а их копии – в фонде Архива Международного Мемориала и в Гуверовском архиве Стэнфордского университета (Mark Aleksandrovich Popovskii Collection, 1919–1977, микрофильмы). Среди них воспоминания Б.В. Мазурина, Е.Ф. Шершеневой-Страховой, В.В. Янова, Д.Е. Моргачева, И.Я. Драгуновского, Ю.М. Егудина, С.М. Беленького, Эдуарда Левинскаса, И.П. Яркова, А.С. Малород, Г.Г. Тюрка, толстовская поэзия и переписка 1960–1970-х годов, включая их письма известным советским литераторам – исследователям Толстого и письма «во власть».

С конца 1976 года Поповский интенсивно работал над рукописью о толстовцах и уже в апреле 1977-го закончил черновик исследования под рабочим названием «Куда девались толстовцы?»¹⁶ Исследование

¹⁴ Поповский М. Русские мужики рассказывают... С. 13.

¹⁵ Богораз Л.И. Толстовцы в Кемеровской области (70-е годы) // Л.Н. Толстой и традиции ненасилия в двадцатом веке : Материалы симпозиума. М., 1996. С. 17-19.

¹⁶ Среди тех, кто высоко оценил рукопись книги Поповского, был Виктор Сокирко, откликнувшийся на нее статьей «Советский читатель вырабатывает убеждения. О книге М. Поповского "Куда девались толстовцы"». Ему показалось важным исследование Поповского как опыт изучения свободного религиозно-коммунистического движения русского народа.

Поповского – прежде всего попытка честного ответа на «воровской вопрос», заданный советским писателем Л.М. Леоновым в речи, произнесенной в 1960 году в Большом театре по случаю юбилея смерти Толстого: «Почему же не апостолы, не пламенные ученики, а лишь рассеянные по свету сектанты остались после Толстого?»¹⁷ На эту речь открытым антисталинским письмом Леонову уже отвечал толстовец Б.В. Мазурин, и его текст стал единственным толстовским документом, который распространялся московским самиздатом¹⁸. Другой вопрос, ответ на который искал Поповский в своей книге, – «можно ли выстоять, можно ли сохранить свою совесть незапятнанной в тоталитарном обществе?»¹⁹

Для Поповского как представителя советского диссидентского движения это исследование было в том числе и попыткой найти ответ на вопросы, что из себя представляет русский народ, есть ли среди его ценностей свобода, способен ли он на сопротивление тоталитаризму. История толстовского движения, его нонконформизм давали на это надежду. Толстовцы, с которыми познакомился Поповский, как правило, были людьми без высшего или даже без среднего образования. Тем не менее в личном общении его поражала «громадная их начитанность, знание истории, философии, религиозных проблем, этики и высокие личные нравственные качества», самостоятельность мышления.

Книга Поповского о толстовцах вышла в Лондоне под названием «Русские мужики рассказывают» в 1983 году. Уезжая, Поповский вывез более 3000 листов писем, дневников, воспоминаний и судебных документов толстовцев, охватывающих период с 1918 по 1977 год.

Параллельно исследованию Поповского в кругу авторов сборника «Память» возникла идея опубликовать воспоминания толстовца В.В. Янова и религиоведа М.В. Муратова, близкого к кругу толстовцев-пацифистов²⁰. В подготовке этих публикаций принял участие Д.И. Зубарев, который скрывался за псевдонимом И. Кривин.

¹⁷ Поповский М. Семидесятые. (Записки максималиста). С. 111. URL: //edvig-arhiv.narod.ru/popovsky-semidesyatye.htm

¹⁸ Публичные письма толстовцев, собранные М. Поповским, содержат смелую полемику с советской, ленинской в своей основе концепцией значения Толстого как великого художника и «смешного» мыслителя, они написаны с антисталинских позиций и напоминают адресатам о религиозности и пацифизме Толстого.

¹⁹ Поповский М. Русские мужики рассказывают... С. 22.

²⁰ Янов В.В. Краткие воспоминания о пережитом / публ. И. Кривина // Память. Вып. 2. М., 1977; Париж, 1979. С. 83-159; Муратов М.В. Итоги. (1912–1954) / публ. С. Линдина // Память. Вып. 5. М., 1981–1982. Париж, 1982. С. 315-335.

Дело Поповского продолжил Арсений Рогинский. В сентябре 1988 года в «Новом мире» он опубликовал воспоминания Б.В. Мазурина²¹, а в 1989 году большим тиражом вышла книга «Воспоминания крестьян-толстовцев», в которой впервые были опубликованы сокращенные и прокомментированные Рогинским и Зубаревым воспоминания толстовцев крестьянского происхождения.

Обе публикации Рогинского имели большой общественный резонанс и привели к всплеску интереса к толстовскому движению как в обществе, так и в научной среде (впрочем, он оказался недолгим). Рогинский получил письма благодарности от читателей, авторы некоторых писем признавались в том, что им очень близки толстовские взгляды. Статьи о толстовцах появились в центральной и провинциальной прессе, был снят документальный фильм о Б.В. Мазурине и толстовском движении. В. Эджертон, профессор-славист из Индианского университета, перевел книгу на английский язык²². Документы, собранные и скопированные Рогинским в ходе подготовки издания, и отложились в фонде Международного Мемориала.

Перечисляя имена тех, кто помогал ему составить сборник о толстовцах, Рогинский среди прочих назвал Георгия Мейтина. Этот человек открывает уже совершенно новую страницу в истории толстовского движения, связанную с распространением толстовских идей в среде советской контркультуры 1970–1980-х годов. В это время в культурном андеграунде стали появляться молодые люди, интересовавшиеся идеями Л. Толстого и даже считавшие себя толстовцами. Среди них можно назвать таких не похожих друг на друга представителей советского культурного андеграунда, как собиратель неофициального искусства и легендарный деятель подпольного художественного рынка Владимир Мороз, режиссер-авангардист Иноземцев по прозвищу Энерт (или Инерция), память о котором сохранилась у выживших остатков советской богемы, пока еще не распознанный нами режиссер театра на Таганке, который сначала стал толстовцем, а потом принял православие и ушел в монастырь, эстонский хиппи Андрей Мадисон (Макабра), таллинский хиппи Александр Дормидонтов, львовский

²¹ Мазурин Б.В. Рассказ и раздумье об истории одной толстовской коммуны «Жизнь и труд» / подгот. текста А. Рогинского // Новый мир. 1988. № 9. С. 180–226.

²² *Memoirs of Peasant Tolstoyans in Soviet Russia* / trans. by W. Edgerton. Bloomington: Indiana University Press, 1993.

хиппи Александр Лобачев, рижские хиппи Георгий Мейтин (Гарик) и Владимир Якушонок, куйбышевский хиппи Владимир Соломко (Ленский), тартуский студент Александр Карев, сибирский анархист Игорь Подшивалов, а в Москве – участники арт-группы «Мухоморы», хиппи Юрий Попов (Диверсант), хиппи и художник Вячеслав Демин, художник, хиппи и активист советского низового движения за мир Александр Рубченко, выходец из баптистов, хиппи и член Группы Доверия Степан Гура.

В сентябре 1978 года около трех десятков представителей контркультурной молодежи прибыли в Ясную Поляну на празднование 150-летия со дня рождения Льва Толстого, чем конечно же шокировали простых обывателей и тех, кто по долгу службы отвечал за организацию официального торжества.

Среди тех, кто участвовал в этом паломничестве, были такие, кто на полном серьезе считал себя последователем Толстого, – Александр Лобачев и Георгий Мейтин. Эти двое много путешествовали в поисках тех людей, которых они могли бы назвать единомышленниками, – обошли пешком и объехали автостопом почти весь СССР и познакомились с множеством религиозных общин и с отдельными богоискателями²³. На толстовцев они вышли только в середине 1980-х, когда Гарику с помощью киевской баптистки удалось получить адрес Е. Ювченко. В архиве Лобачева–Ювченко хранятся свидетельства глубокого уважения «старых» толстовцев к молодым людям, самостоятельно обнаружившим почти подпольную религиозно-этическую традицию. Хиппи-толстовцы включились в дружеские сети «старых» толстовцев, которые делились с ними важными текстами и состояли в переписке.

В 1989–1991 годах Мейтин выпускал в Риге самиздатский религиозно-общественный журнал «Ясная Поляна», в котором в частности публиковал полученные от толстовцев тексты по истории толстовского движения. Когда к нему обратился Рогинский за помощью в публикации воспоминаний крестьян-толстовцев, Георгий уже был хорошо информированным знатоком толстовского движения.

По воспоминаниям Мейтина, помогая Рогинскому, он познакомился с еще одним диссидентом, Глебом Павловским, в то время редактором журнала «Век XX и мир». Благодаря этому знакомству в жур-

²³ Личное сообщение Г. Мейтина от 21.05.13.

нале появилась подборка статей и писем на тему ненасилия²⁴, в том числе Мейтина и Лобачева.

В 2000-е годы Е. Ювченко, который состоял в переписке со многими толстовцами и собирал архив, передал свои материалы Лобачеву, после смерти которого А. Рогинский принял их в Мемориал.

Таким образом, освоение архивного наследия толстовского движения началось благодаря диссидентам. Их эстафету уже в период перестройки и первые постсоветские годы подхватили ряд публицистов и литературоведов антитоталитарного направления²⁵.

²⁴ Соппротивление насилию // Век XX и мир. 1991. № 2; URL: <http://old.russ.ru/antolog/vek/1991/02/post.htm#p3>

²⁵ См., напр.: Нежный А.И. Комиссар дьявола. М.: Протестант, 1993; Шенталинский В. Донос на Сократа. М., 2001; Шенталинский В. Лав Толстой у Лубянки / прев. с рус. Н.Н. Бобић. Београд: Руссика, 2012; Яковенко М.М. Зоя Ге : Документальная повесть. М.: О-во «Мемориал» ; Изд-во «Звенья», 2006 и др.

Андрей Гросс

Кибернетика, теория демократии и неолиберальный дискурс в советском самиздате 1970-х годов

В целом ценность самиздатских текстов довольно низка. Причины понятны: люди жили в консервной банке, запаянной со всех сторон, информационный поток ограничивался русскими философами, цитатами из советских изданий и книжками ИНИОНа с грифом ДСП, которые ходили только в Москве.

Виктор Давыдов. 12.08.2018¹

Метафора «железного занавеса», отделившего советскую социальную мысль от «мировых» (предполагается – западных) интеллектуальных поветрий, до сих пор живет в публичном дискурсе. Парадоксально, но она же распространяется советским диссентом на самый свободный домен позднесоветской культуры – самиздат. Ранее об интеллектуальной изоляции советских диссидентов, жизнь которых в определенном смысле центрировалась вокруг самиздата, писала Людмила Алексеева². С одной стороны, вопрос об изоляции советской «второй культуры» представляется надуманным, ведь в самиздате ходили тексты западных ученых, философов и литераторов. С другой стороны, находиться в контексте – значит испытывать влияние, отвечать на одни и те же «глобальные» вопросы и заимствовать языки для разговора о таких вопросах. В этой статье на примере двух самиздатских текстов, посвященных классификации политических режимов, я собираюсь показать, что социальная мысль в советском самиздате 1970-х годов могла соответствовать «духу времени». В случае с данными работами этому поспособствовали КПСС и официальная советская печать, поднявшие на идеологический щит «западную» трансдисциплинарную область знания – кибернетику.

¹ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=539231326489308&id=100012073364093

Виктор Викторович Давыдов – советский диссидент, автор самиздата в 1970-е годы.

² Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. Вильнюс; Москва: Весть, 1992. С. 191, 194.

Кибернетика, определяемая как теория или наука об управлении и связи в машинах и живых организмах³, появилась на Западе после Второй мировой войны и предложила универсальный способ объяснения механических и биологических процессов. В послесталинском СССР она была взята на вооружение советскими учеными в качестве инструмента деидеологизации науки⁴. Основатель кибернетики американский математик Норберт Винер считал кибернетику не только академической дисциплиной, но и способом мышления о социальных институтах, направленным против чрезмерного контроля над разнообразными коммуникациями, происходящими в них. Его критика «сверхдетерминированных систем» относилась как к США времен сенатора Маккарти, так и к Советскому Союзу⁵. На Западе влияние кибернетики распространилось на социальные науки, дав жизнь теориям таких известных социологов и политических ученых, как Карл Дойч, Дэвид Истон и Амитай Этциони. Используя методологические предпосылки и терминологический аппарат кибернетики, ученые приходили к выводу, что современные человеческие общества представляют собой системы обратной связи между политическими элитами и «обществом». С их точки зрения, «управляемое» общество (его различные единицы) проводит в жизнь решения элит, которые представляют собой «вывод» информации из «центра» системы. Общество в свою очередь имеет интересы и запросы, которые оно «возвращает» («вводит») в центр вместе с результатами выполнения решений. Тем самым достигается согласование целей элит и интересов «общества», а общественная система постоянно подвергается корректирующим изменениям⁶. В приложении к социальным наукам кибернетика становилась антитоталитарной теорией: не случайно упомянутые ученые были адвокатами демократии и предлагали кибернетические описания диктатур⁷.

³ Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине, 1948–1961. М.: Наука, 1983. С. 56; Колмогоров А. Кибернетика / БСЭ. : 2-е изд. С. 149-151. Иначе – в живых и неживых системах.

⁴ Gerovitch S. From Newspeak to Cyberspeak : A History of Soviet Cybernetics. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, 2002. P. 199-201, 293-295, 298-299.

⁵ Gerovitch. 99-100; Noble D. Forces of Production : A Social History of Industrial Automation. New Brunswick; London: Transaction Publishers, 2011. p. 71.

⁶ Etzioni A. Toward a Theory of Societal Guidance // The American Journal of Sociology. Vol. 73. No. 2. 1967. Особенно p. 173-187; Easton. D. An Approach to the Analysis of Political Systems // World Politics. Vol. 9. No. 3. 1957. P. 383-400.

⁷ Barnes S., K.W. Deutsch. The nerves of government: Models of political communication and control. New York: The Free Press, 1963; Behavioral Science. 10(1).1965. p. 83; Etzioni A. P. 184-185.

Известные советские диссиденты Валентин Турчин и Виктор Сокирко находились под влиянием кибернетики, когда писали свои политические трактаты⁸. Кроме их трактатов в самиздате ходили еще несколько работ, анализу которых будет посвящена следующая часть статьи. В отличие от текстов Турчина и Сокирко, они не были опубликованы в традиционной печати (в тамиздате) и не подвергались анализу в известной мне литературе. В то же время рецепция кибернетики в этих текстах неотличима от той, которая была в западных социальных науках.

Тексты, о которых пойдет речь дальше, сохранились в Архиве истории инакомыслия Международного Мемориала. Один из них, по-видимому, представляет собой четвертую главу (перед названием стоит цифра 4) какой-то большой работы. Он начинался на машинописном листе под номером 136 и имел название «Демократия – что это такое?»⁹ Эта работа 1973 года¹⁰ сохранилась в Ленинградской коллекции – архиве самиздата, собиравшемся ленинградскими диссидентами в том числе из текстов, ходивших в Москве. Другая работа, написанная в 1974 году и отложившаяся в том же архиве, имела название «Глазами натуралиста. К вопросу о трех типах общественной организации»¹¹. В отличие от первой она представляла собой отдельную статью и полностью сохранилась¹². Кроме этого на первом листе второй работы можно прочесть псевдоним Богдан Е., под которым решил скрыться автор. Дальше я буду обозначать эти тексты как I и II соответственно.

При первом знакомстве с данными работами возникает мысль о том, что их автором был один человек. В обоих случаях он дает определение терминам «демократия» и «диктатура» и приводит их черты. Оба текста написаны в академическом стиле¹³, а их выводы всецело основаны на кибернетике. Поразительное сходство неолиберального дискурса, в рамках которого они были написаны, а также сход-

⁸ Я имею в виду работу «Очерки растущей идеологии (Антигэлбрейт)», опубликованную Сокирко в самиздате в 1970 г. под псевдонимом Буржуадемов К., и работу Турчина «Инерция страха. Социализм и тоталитаризм» (Нью-Йорк, 1978). Однако надо отметить, что в известном мне самиздатском варианте этого текста, написанном до эмиграции, в конце 1960-х гг., влияние кибернетики на мысли автора об обществе не прослеживается.

⁹ Архив Международного Мемориала. Ф. 102. Оп. 1. Д. 7.

¹⁰ Атрибуция этого и следующего текстов – сотрудников архива.

¹¹ Архив Международного Мемориала. Ф. 102. Оп. 1. Д. 3.

¹² Первый текст обрывается на листе 151. Кроме того, от листа 145 сохранился лишь небольшой фрагмент.

¹³ Впрочем, порой стиль меняется на ярко публицистический.

ство поднимаемых в них вопросов и позволяет мне говорить о том, что их автором был один человек.

Отвечая на вопрос, поставленный в названии текста I, автор предлагал следующее определение демократии: «Современная демократия представляет собой не что иное, как свободу производства, продажи, приобретения и потребления информации. Она переносит в область производства и потребления информации законы капиталистического рынка» (I – Л. 85).

Схожее определение находим в тексте II: «Политическая демократия представляет собой распространение законов товарного конкурентного рынка на области политики, идеологии, производства, обращения и потребления информации любого типа: научно-технической, эстетической, идеологической, экономической и т.п. (II – Л. 135).

Информация – центральное понятие для кибернетики. В качестве эпиграфа к тексту I автор приводил цитату Норберта Винера из его книги «Кибернетика и общество» (М., 1958): «Действенно жить – это значит жить, располагая правильной информацией» (I – Л. 85).

Заметим, однако, что он не утверждает, что демократия работает по принципам саморегулирующихся («кибернетических») систем. Демократия для автора – свобода производства и продажи информации, она работает по «законам рынка». «Информация» в данном случае означает продукцию интеллектуалов и не имеет отношения к кибернетике. Дальше становится ясно, что он приравнивает демократию к свободе слова¹⁴. Противоположность демократии – диктатура – означала для него «крайнюю степень монополизма в области информационного предложения» (I – Л. 86).

Другая проблема, которую автор текстов видел в «диктатурах», заключалась в «массовых потерях информации» (I – Л. 88). «Диктатуры» плохи не просто потому, что они самостоятельно производят информацию. «Потеря информации», которую мог произвести кто-то еще, ведет к тому, что общество лишается знания о самом себе и об окружающем мире¹⁵. Это утилитарное обоснование вредности «диктатуры» накладывалось в текстах автора на дискурс «тоталитаризма». Информационная монополия «диктатуры» означала для него

¹⁴ «...здесь никто не лишен права (ИНАЧЕ ЭТО НЕ ДЕМОКРАТИЯ) (Здесь и далее выделено мной. – А.Г.): 1) права подвергать обсуждению законный правовой порядок; 2) права предлагать или продавать свои мысли тем, кого они привлекают и интересуют, обмениваться ими с единомышленниками и оппонентами; 3) права пропагандировать свои убеждения, т.е. активно воздействовать на общественную идеологическую конъюнктуру» (I – Л. 90).

¹⁵ I – Л. 91; II – Л. 132.

подмену «действительности» идеологией¹⁶. Автор был знаком с дискурсом «тоталитаризма» по романам «Обитаемый остров» братьев Стругацких и «1984» Джорджа Оруэлла¹⁷. Вместе с этим он лишь проводит сравнения некоторых черт «диктатур» с известными «тоталитарными» антиутопиями. Хотя этот дискурс был ему знаком, его мышление о политических режимах было организовано не им, а кибернетикой. Она в свою очередь была интегрирована в неолиберальный дискурс, в рамках которого «инакомыслящий» размышлял о публичной жизни в целом.

В отличие от текста I, где ссылки на Норберта Винера не связаны с рецепцией его кибернетических идей, в тексте II кибернетика была препарирована для характеристики политических режимов. Пользуясь выражением английского кибернетика Уильяма Эшби, автор определял «центр диктатуры» как «машину, производящую решения» или «выполняющую подходящий отбор»¹⁸. Здесь «диктатура» представлена в виде системы обратной связи, в которой «общество» соединено с «центром диктатуры» через «субординированный исполнительный аппарат». «Диктатура» по определению устроена плохо и работает только посредством «принуждения или поощрения»¹⁹. Причина в том, что эффективное управление сложными системами, подобными обществу, требует слишком большого ко-

¹⁶ «...один бедный комплекс идей, «повторенный тысячекратно» (А. Галич), становится единственной (или основной) духовной пищей поколения и формирует в значительной мере все социально существенные представления. Когда вся или почти вся циркулирующая в обществе информация воспроизводит одну-единственную мировоззренческую модель, последняя начинает занимать в сознании общественного человека место самой действительности. Эта односторонность создает в конце концов впечатление массового психоза, страшного обеднения общественной идеологии, духовной жизни и умственных способностей общества, необходимой приверженности к абсурдам целой нации, что характерно для ВСЕХ ВАРИАНТОВ УСТОЙЧИВОГО ТОТАЛИТАРИЗМА» (I – Л. 88).

¹⁷ В тексте I автор ссылается на «Обитаемый остров» для обоснования тезиса о том, что обязательная идеология занимает место самостоятельного мышления человека (Л. 88-89). Ту же мысль в тексте II он иллюстрирует сюжетом романа Оруэлла (Л. 129). И в том, и в другом случае автор определяет самостоятельное мышление, выбор целей и принятие решений основополагающими для человека с точки зрения кибернетики.

¹⁸ Автор ссылался на статью Эшби «Что такое разумная машина» в советском сборнике «Кибернетика ожидаемая и кибернетика неожиданная» (М.: Наука, 1968).

¹⁹ II – Л. 126. «Ни команды, идущие по каналу I (то есть из «центра» к «обществу». – А.Г.), ни сведения, поступающие по каналу II (из «общества» в «центр». – А.Г.), попадая на вход своих адресатов, не оказывают на них автоматическое воздействие. Сведения, идущие по каналу II, Центр использует произвольно, по своему усмотрению: может их вообще не использовать, может, как это ни абсурдно, требовать от отправителей фальсификации отчетных данных. Команды, идущие по каналу I, сами по себе, без дополнительного принуждения или поощрения тоже не вызывают у получателя реакции, предусмотренной Центром».

личества информации. Централизованный характер «диктатуры» не позволяет ей собирать достаточное количество достоверной информации (II – Л. 128). В данном случае автор вступал в дискуссию с советскими экономистами, рассуждавшими о применении ЭВМ в советском планировании²⁰.

Утилитарное обоснование несостоятельности диктатуры соединяется здесь с биолого-кибернетическим дискурсом, который «натурализует» общественные отношения и обосновывает либеральную этику автора. По его мнению, частям любых систем свойственно осуществлять «личные цели». Людям в общественных системах: преследовать личные интересы. «Глобальный» способ организации, подобный диктатурам, не свойствен «живой досоциальной природе». Он подчиняет все части системы одной цели, которую только и может выполнять эффективно в условиях ограниченности информации – сохранению «монополии центра». Напротив, для «всей органической живой природы» характерен «локальный», или «демократический» способ организации. В последнем индивидуальные цели частей системы не элиминируются, а объединяются таким образом, чтобы приносить пользу всей системе²¹. «Демократический» способ организации общественных систем тождествен естественному отбору: в нем заложен «конкурентно-рыночный» принцип. Применительно к «демократии» как политическому режиму этот принцип выражается в перманентной борьбе партий и идеологий. Отсутствие подобной «конкуренции» означает победу «диктатуры»²².

²⁰ II – Л. 127. Автор цитировал статьи В.И. Терешенко (Литературная газета. 1970. 18 авг.) и Н.Т. Федоренко (Новый мир. 1970. № 10), в которых оба ученых говорили о широте хозяйственных связей в советской экономике.

²¹ II – Л. 129-130, 134. Говоря о «локальном способе организации» общественных и природных систем, автор ссылаясь на статью: Васильев Ю.М., Гельфанд И.М., Губерман Ш.А., Шик М.Л. Взаимодействие в биологических системах // Природа. 1969. №6-7. (Л. 134-135).

²² «Демократические структуры конфликты, подвижны, и опасность монополизации НИКОГДА не исключается из их конкурентно-рыночной ситуации. Демократия как принцип должна постоянно противодействовать монополистическим тенденциям своих антагонизирующих составляющих» (I – Л. 89). «Особенность борьбы за демократию против монополизма заключается в том, что эта борьба никогда не сможет окончиться настолько ПОЛНОЙ победой демократии, чтобы появилась возможность социального мира (прекращения битвы за демократию): ПОЛНОЙ бывает только монополия, демократия не допускает и предполагает постоянную борьбу разнообразных тенденций; в этом допущении, а следовательно – и в этой борьбе и заключается ее существо» (Л. 94). «В [демократии] постоянно действуют и соревнуются антагонистические монополистические тенденции, борьба между которыми и образует реальную действительность демократии; нельзя полностью предусмотреть и раз навсегда предотвратить возможность победы и абсолютизации какой-то из борющихся тенденций, ибо прекращение подобной борьбы уже само по себе означало бы победу тотала» (II – Л. 135-136).

Мы уже встречали этот парадоксальный неолиберальный дискурс, в рамках которого автор вел разговор о демократии. Уподобление политического устройства рынку, а политической борьбы – рыночной конкуренции теперь встраивается им в теорию кибернетики. На место утилитаристской этики становится этика либерального индивидуализма и рыночных отношений, прикрытые разговором о «функциях» элементов системы и о естественном отборе.

Отождествление демократии с перманентной дискуссией ставило перед автором вопрос о границах свободы слова. Неолиберальный дискурс давал ему основания для оправдания абсолютной свободы слова. По словам автора, «конкурентно-рыночный отбор» идеологий в демократии проводится на основании общественного спроса. «Рыночные механизмы» демократии не предполагают этической оценки идей, поэтому «демократический политический рынок» может приводить к установлению «диктатур» (II – Л. 136). В то же время попытка запретить те или иные идеологии («пропаганду расизма, жестокости, насилия, аморализма, тоталитаризма») наталкивается на необходимость создания специального органа, способного злоупотреблять правом определения их полезности или вредности на основании всегда несовершенных критериев (I – Л. 91). Напротив, в «демократии» общество само определяет ценность идей в ходе «идеологической битвы» или «конкурентно-рыночного отбора» (I – Л. 92; II – Л. 135). В этой связи любое новое знание не должно сталкиваться с какими-либо превентивными барьерами (I – Л. 91; II – Л. 132).

Эта аргументация автора напоминает защиту свободы слова и мысли Джона Стюарта Милля во второй главе его эссе «О свободе». Мы не можем утверждать, что автор читал знаменитый трактат либерального философа, однако он ссылаясь на другого либерального мыслителя того же времени – Герберта Спенсера. Последний, по его мнению, доказал «совпадение понятий “конкуренция” и “свобода” еще в 1890-е гг.»²³

Итак, «кибер-яз» помог автору этих работ обосновать либеральную этику, с которой он был знаком через Герберта Спенсера. Мы не знаем о других источниках его мышления о политических режимах, однако автор также разделял классическое либеральное подозрение к прямой демократии (в тексте – «примитивной»). Последняя,

²³ II – Л. 136. По-видимому, речь идет о работе «Основания этики. (1892–1893 гг.)».

по его мнению, подавляет мнения «меньшинств», наделяет властью граждан, не обладающих необходимыми компетенциями, и не предполагает контроля «пассивного большинства» над непременно возникающим органом реализации его «воли» (II – Л. 122-123).

Автор этих текстов предлагал классический либеральный подход к организации политики, который не имел аналогов в советском самиздате. Мне представляется, что под псевдонимом Богдан Е. скрывался известный ученый-биолог Александр Александрович Малиновский, в 1960–1970-е годы занимавшийся проблемами применения кибернетики к биологическим процессам. Сын известного революционера Александра Богданова (отсюда псевдоним «Богдан Е.»?), он был отцом левого диссидента Александра Александровича Малиновского, публиковавшегося в самиздате под псевдонимом А. Михайлов. Сам ученый в начале 1970-х годов распространил машинописную копию стенограммы своего антилысенковского выступления на VII Конгрессе по генетике в 1939 году и не понаслышке был знаком с ограничением интеллектуальной свободы в Советском Союзе²⁴. Научная карьера Малиновского, занимавшегося функциональными корреляциями в человеческом организме и эволюционной биологией, объясняет ссылки на некоторые специальные работы биологов в тексте II²⁵. К сожалению, доказательство этой гипотезы на сегодняшний день невозможно – личный архив ученого недоступен для работы исследователей²⁶.

²⁴ Малиновский А.А. Тектология. Теория систем. Теоретическая биология. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 10.

²⁵ Автор ссылаясь на работу немецкого зоолога Антона Дорна «Происхождение позвоночных животных и принцип смены функций» (М., 1937) и статью известного советского физиолога Петра Анохина в сборнике «Философские проблемы высшей нервной деятельности и психологии» (М., 1963), когда обосновывал несостоятельность «диктатуры» как «среды обитания» для человека.

²⁶ Часть архива ученого находится в неразобранном состоянии дома у его внука – Александра Александровича Малиновского.

Валентина Паризи

Самиздат и тамиздат как художественная тактика в совместных проектах 1970–1980-х годов

Риммы и Валерия Герловиных

Римма и Валерий Герловины – видные представители так называемого нонконформистского, или неофициального искусства, которые не определяли себя как диссидентские художники, но тем не менее под давлением властей в конце 1970-х вынуждены были уехать из Москвы в Нью-Йорк. В этом докладе я буду рассматривать тамиздатскую продукцию Герловиных в начале 1980-х, а именно двуязычный интернациональный журнал «Колхоз» как своеобразную попытку переосмыслить самиздат, используя его как некий эстетический принцип вне зависимости от конкретных политических обстоятельств.

Самиздатская активность Герловиных уходит корнями в контекст Москвы 1970-х, когда формировался «другой» круг общения художников, не причастных к советскому официальному мейнстриму, возникала связь между диссидентским движением и неофициальным, нонконформистским искусством. Наглядно такую связь можно продемонстрировать на примере истории Виктора Тупицына, будущего теоретика культуры и мужа искусствоведа Маргариты Мастерковой-Тупицыной. В первой половине 1970-х Виктор Тупицын общался в Москве со многими представителями мира искусства, в том числе и с Герловиными, и уже в 1966 году познакомился с Аликсом Гинзбургом и Юрием Галансковым¹, подписывал письма и петиции в защиту прав человека, а в 1974 году был среди организаторов знаменитой «бульдозерной выставки» на пустыре в Беляево. В результате он потерял работу, вынужден был эмигрировать в США. В начале 1980-х Тупицын становится важным соратником Герловиных в Нью-Йорке, соавтором их рукописного журнала «Колхоз». Правда, в 1982 году они поссорились, и дружба их закончилась².

В свою очередь, в 1970-е годы Герловины активно содействовали развитию альтернативной культуры в Москве, участвовали в первой масштабной выставке, неофициально устроенной Леонидом Соковым

¹ Беседу М. и В. Тупицыных с Г. Кизевальтером см. в его книге: Эти странные семидесятые, или Потеря невинности : Эссе, интервью, воспоминания. М.: НЛО, 2010. С. 286.

² Тупицын В., Тупицына М. Москва–Нью-Йорк // WAM. 2006. № 21. С. 209–223.

в своей мастерской в Большом Сухаревском переулке (д. 7, кв. 16). Речь идет о показе работ семи художников – Игоря Шелковского, Ивана Чуйкова, Леонида Сокова, Риммы и Валерия Герловиных, Сергея Шаблавина и Саша Юликова, – проходившем с 10 по 20 мая 1976 года³.

Интересно, что информация об этой выставке просочилась на Запад, точнее, она дошла до Милана, где благодаря содействию местного искусствоведа и знатока русского авангарда Николетты Мизлер в июле 1977 года влиятельный журнал «Art Flash» опубликовал обширные материалы о художниках, представленных на показе у Сокова и об альтернативной культурной жизни Москвы вообще⁴. Время выхода в свет этой статьи не случайно: она появилась накануне открытия знаменитой выставки «Новое советское искусство. Неофициальная перспектива», организованной в рамках венецианского «Биеннале инакомыслия». Среди участников выставки были и Герловины, которые передали кураторам Энрико Крисполти и Габриелле Монкадой множество материалов о своем творчестве и о концептуальных акциях, устроенных ими в Москве⁵.

Начиная с середины 70-х годов, а значит до эмиграции, Герловины уже предпринимали попытки установить контакты с международным арт-миром. Но вопрос о восприятии советского нонконформистского искусства на Западе на фоне всеобщей политизации того, что происходило в СССР, пересекается с другой важной проблемой, а именно: как художник-эмигрант может существовать (или даже «состояться») при разрыве человеческих связей и при прерывании творческих отношений, уже обозначавших вектор его развития в Советском Союзе. В этом плане американский опыт Герловиных свидетельствует о возможности довольно успешно функционировать в новом контексте, обращаясь к реалиям бывшей жизни в СССР и креативно переосмысляя их в связи с новыми перспективами и с новым окружением.

Советский период в жизни Герловиных закончился навсегда зимой 1979 года. Конечно, они были не единственными в их круге общения, кто принял такое решение. К тому времени из Москвы уже уехали в Нью-Йорк Генрих Худяков, Вагрич Бахчанян, Маргарита и

³ Соков Л. Москва, семидесятые... // Эти странные семидесятые. С. 263-264.

⁴ Bignamini I. From the U.S.S.R. – Dall'U.R.S.S. // Flash Art. 1977. No. 76/77. July-Aug. P. 9-19.

⁵ См. каталог выставки: La nuova arte sovietica / Una prospettiva non ufficiale a cura di E. Crispolti e G. Moncada. Venezia: La Biennale di Venezia-Marsilio editori, 1977. P. 190-193.

Виктор Тупицыны, Леонид Соков, Александр Косолапов, Виталий Комар, Александр Меламид. Нью-Йорк естественным образом привлекал русских художников своим уже признанным статусом центра арт-мира, где происходили важные события художественной жизни⁶. В то же время в условиях холодной войны Америка была символом «дикого Запада». Хотя с ироническим оттенком, это словосочетание часто встречается в письмах известного коллекционера Леонида Талочкина⁷, который в течение трех десятилетий вел интенсивную переписку со многими представителями «другого искусства», уехавшими на Запад, в том числе и с Герловиными. Из всех центров сосредоточения русской диаспоры за рубежом именно в Америке наиболее остро проявилось личное столкновение советских эмигрантов со спецификой капиталистического мира, и это дает возможность проанализировать проблемы самоидентификации там художников, а также особенности их адаптации (или не-адаптации) к новой культурной среде. С этой точки зрения то, как складывались взаимоотношения Герловиных с представителями художественного мира в Нью-Йорке, очень показательны, чтобы описать процесс интеграции русских художников в западный мир искусства, а также, в более широком смысле, чтобы определить степень «переводимости» русского искусства за рубежом. Именно этот последний вопрос, на мой взгляд, остается до сих пор открытым. Если согласиться с тезисом Александра Гениса, что Третья волна эмиграции была «попыткой договорить на Западе то, что не дали сказать дома»⁸, то естественно возникает вопрос: а предоставил ли «свободный мир» советским художникам эту возможность.

Как и многие представители московского нонконформистского искусства, уехавшие на Запад, Римма и Валерий испытали некоторое разочарование при первом столкновении с системой отношений, определявших тогдашний художественный мир. Художники-«западники», которые на родине были склонны к идеализации «всего того, что находилось за границей»⁹, столкнулись при приезде с тем специфическим явлением, что Милена Славицка определила как «сопротив-

⁶ См. воспоминания Генриха Худякова (уехавшего в 1974 г.), Леонида Сокова (1979 г.) и Леонида Лермана (1980 г.) в кн.: Русское зарубежье. Вторая половина XX – начало XXI века / Гос. центр соврем. искусства. М., 2010. С. 138, 165, 168.

⁷ Письма Леонида Талочкина находятся в фондах архива Музея современного искусства «Гараж», Москва.

⁸ Генис А. Третья волна: примерка свободы // Звезда. 2010. № 8.

⁹ Русское зарубежье. Вторая половина XX – начало XXI века. С. 191.

ление местного рынка по отношению к “чужому товару”». Иными словами, они вдруг осознали, что являются носителями «экзотерического», нечитаемого искусства, которое не поддается вхождению в музейный контекст. Ведь, как заметила Маргарита Тупицына, тогда на Западе еще не выработались искусствоведческие понятия, чтобы адекватно интерпретировать «незаконнорожденное дитя авангарда и тоталитаризма»¹⁰, то есть советское неофициальное искусство.

С другой стороны, все эксперименты русских художников, позиционирующих себя вне социального заказа, на Западе автоматически воспринимались как акты диссидентства, то есть исключительно в политическом аспекте. 29 августа 1977 года Виктор Тупицын писал Андрею Монастырскому из Америки: «Критика – беспощадно желчная: пишут, что неофициальная культура столь же банальна, как и официальная. Весь разговор вокруг этого ведется в терминах политики – от этого тошнит. Даже ваши “поползновения” с [воздушными] змеями и шарами, а также с дадаистическими ящиками были бы тут расценены как “протест” <...> Русским художникам теперь лучше скрывать, что они русские»¹¹. Под «поползновениями со змеями и шарами» имеется в виду пятая акция «Шар», осуществленная 15 июня 1977 года московской арт-группой «Коллективные действия».

Интересно, что сами Герловины выражали недовольство общей тенденцией к политизации нонконформистского искусства после того, как западная пресса истолковала в сугубо политическом духе их перформанс «Зоо», устроенный в их мастерской в Измайлово 15 февраля 1977 года. Фото этой акции выставлялись в Венеции в рамках Биеннале инакомыслия, и она была интерпретирована как символ заточения русской культуры, хотя авторы вкладывали в нее значительно более широкий, универсальный смысл.

С другой стороны, идентификация неофициального искусства и диссидентства мешала найти общий язык с местной просвещенной аудиторией, состоящей в Нью-Йорке почти исключительно из левых интеллектуалов, не разделяющих антисоветские взгляды русских художников в убеждении, что критика тоталитарной культуры отвлекает внимание от критики капитализма.

Как Герловины реагировали на эту ситуацию? Каким образом они пытались вписаться в западный мир искусства? Чем отличается их

¹⁰ Тупицын В., Тупицына М. Москва–Нью-Йорк. С. 15.

¹¹ Там же. С. 129.

творческая траектория от опыта других представителей советского андеграунда, оказавшихся на Западе?

Случай Герловиных довольно уникален, потому что они первыми осознали необходимость не скрывать, что они русские (в отличие от того, что посоветовал бы им Виктор Тупицын), а наоборот, переосмыслить особенности бытования нонконформистского искусства в советском пространстве, обратившись именно к самиздату как к традиции, направленной на создание самодельных, рукописных, малотиражных изданий, отражающих творческие искания узких кругов. О желании продолжить на американской почве линию художественного самиздата, начерченную на родине изданиями, собранными в Московском архиве нового искусства (МАНИ), или машинописным журналом «Метки по новой живописи»¹², они высказались в письме Маргарите и Виктору Тупицыным через год пребывания в Штатах. В нем они выразили разочарование – культурная жизнь Нью-Йорка не оправдала их надежд: «В последний наш поход по галереям они нам показались совсем скучными <...> Французская выставка (где показывались перформансы) больше чем не понравилась. Надо а) делать журнал; б) выставку»¹³.

Необходимость издания, отражающего творчество определенного круга художников, Герловины уже испытывали в начале 1970-х в Москве. Тогда они задумали выпускать в одном экземпляре серию самиздатских сборников, коллективно составленных самими художниками. Из предполагаемой серии они смогли издать только полтора сборника – «Воздухоплавание» и оставшийся незаконченным «Животный мир».

Кроме того, в 1976 году они собрали и напечатали на пишущей машинке материалы для нового художественного альманаха, который, как предполагалось, должен был выходить в восьми экземплярах. Сюда вошли их теоретическая статья с фотографиями; документальные записи бесед с Юрием Соболевым, с Комаром и Меламидом; раскадровка независимого художественного фильма Олега Киселева; визуальная картотека Всеволода Некрасова; манифест музыкальной группы композитора Артемова; рентгеновские снимки Михаила Чернышова в качестве иллюстраций к работам Валерия Герловина.

¹² Паризи В. Il lettore eccedente. Edizioni periodiche del samizdat sovietico, 1956-1990. Mulino: Bologna, 2014. P. 299-314; О московском Архиве нового искусства см. также: Hirt G., Wonders S. Präprintium. Moskauer Bücher aus dem Samizdat. Bremen: Edition Temnen, 1998. S. 105-108.

¹³ WAM.2006. № 21. С. 218.

Поняв, что такая рукотворная издательская деятельность у них отнимает слишком много творческих сил, перед отъездом в Америку они отдали весь готовый номер Виталию Грибкову, который в то время выпускал самиздатский журнал «Метки»¹⁴.

Принцип самиздатского сборника как своеобразного контейнера для хранения произведений авторов из московского «Воздухоплавания» перевоплощается в новое издание, которое Герловины стали выпускать в Нью-Йорке уже к началу 1981 года, – «Collective Farm», или «Колхоз». [ИЛ.] Двухязычное название уже указывает на то, что мы имеем дело с интернациональным проектом, направленным не только на перегруппировку сил советских художников, уехавших в США, но и на сотрудничество с представителями местной культурной жизни. [ИЛ.] Начиная со второго выпуска было использовано оригинальное решение: блок состоял из переплетенных вместе конвертов, каждый из которых служил как бы мини-галереей для каждого участника. [ИЛ.] Интересно, что идея «конвертного» журнала возникла у издателей, когда они нашли на свалке целый контейнер с новыми разнообразными конвертами. Поэтому внешне новое издание как бы апеллировало к «мусорной» эстетике, столь важной для советского нонконформистского искусства и прежде всего для отечественного концептуализма.

Каждый номер «Колхоза» строился на определенном концепте. Например, № 4 «Вундеркинды» [ИЛ.] состоял из детских рисунков, каждый из которых в своем стиле дополнялся маленьким коллажем, наклеенным в углу картонной страницы. Для коллажей были использованы фрагменты репродукций известных художников, в чьем искусстве были заметны черты детского творчества, таких как Жан Дюбюффе или Пабло Пикассо. [ИЛ.]. Так, по мысли издателей «Колхоза», замыкалась цепь взаимообмена: дети художникам – художники детям. [ИЛ.] А вот № 6 «Сталинский тест» был составлен из собранных Вагричем Бахчаняном портретов Сталина, исполненных русскими эмигрантами, которые не были художниками, – Иосифом Бродским, о. Михаилом Меерсом-Аксеновым [ИЛ.], бывшим узником лагерей Леонидом Комогоровым... [ИЛ.].

¹⁴ Ср.: Герловина Р., Герловин В. Концепцы. Вологда: Б-ка моск. концептуализма Германа Титова, 2012. С. 400. О самиздатской деятельности Виталия Грибкова в 1970-е в Москве см.: Метки-4. Рисунки из Ивашково. М.: Тривант, 2010; Метки: Группа «Фикция» Виталия Грибкова и художественная жизнь 60–80-х годов / сост. И.В. Семененко-Басин. М.: Galerie Serge, 2014.

Интересно, что «Колхоз» был переправлен в Москву, о своем впечатлении о журнале Никита Алексеев писал Виктору Тупицыну 14 июля 1982 года: «Колхоз – забавный. Разглядывать интересно. Забавно, что из этого разноцветного ксерогарбаджа проглядывает некая история, даже мифология. Будут ли еще выпуски?»¹⁵

Решение выпускать в Нью-Йорке в начале 1980-х годов рукописный журнал выглядит парадоксально: зачем возвращаться к самиздату, когда уже нет цензурных ограничений и можно публиковать все что угодно? Даже сам факт существования такого журнала можно расценить как некий анахронизм или вообще нонсенс, если не учитывать потребность художника-эмигранта найти общий язык с представителями новой для него культурной среды, опираясь на собственный опыт. Как ни странно, традиция самиздатских, рукописных изданий способствовала интеграции Герловиных в новый контекст, позволила им завести контакты с деятелями местного авангарда, с американскими и неамериканскими художниками, которые тоже занимались изданием самодельных, малотиражных публикаций.

Самиздатская активность Герловиных в Америке не была вызвана невозможностью выпустить адекватную информацию о себе и о своем круге общения типографическим способом – на их взгляд, самиздат уже не был способом обойти цензуру, а был эстетическим принципом, способствующим представлению себя как художника в новом контексте. Иными словами, в 1980-е годы Герловины уже используют самиздат не как стратегию выживания независимого творчества в ситуации государственного контроля, а как своеобразный и потенциально успешный товарный знак – именно поэтому они пишут «Самиздат» на обложках всех номеров «Колхоза».

При этом важно заметить, что для Герловиных понятие «самиздат» не ограничивалось сферами художественной литературы или публицистики, наоборот – самиздат интерпретировался ими как генетическое явление советской действительности¹⁶, неизбежно определившее поведение тех художников, которые формировались в 1960–1970-е годы в Советском Союзе, а потом эмигрировали. Как утверждали Герловины, «не только литература существовала за счет “сам-себя-издата”, но и искусство в целом самоутверждалось

¹⁵ WAM. 2006. № 21. С. 223.

¹⁶ См. их предисловие к кн.: *Russian samizdat art / essays by Szymon Bojko, John E. Bowl, Rimma & Valery Gerlovin*; ed. by Charles Doria, New York: Willis Locker & Owens Publishing, 1986. P. 67-69.

и самосохранялось таким же образом: самотеком и само по себе»¹⁷. Именно расширение самого понятия самиздата в сторону искусства позволяло критически сопоставить его с визуальными экспериментами авангарда начала века, а также с такими новейшими интернациональными течениями, как, например, Флюксус.

Кульминационным моментом этого креативного переосмысления самиздата как явления можно считать выставку «Russian samizdat art», организованную Герловиными в 1982 году в нью-йоркской галерее Franklin Furnace, а потом путешествовавшую по США и Канаде. Часть экспонируемых на ней работ была из собственной коллекции Герловиных, вывезенной из Союза; что-то им смогли переправить друзья из Москвы; много работ им дали художники из своих архивов и некоторые текстовые объекты были сделаны специально для показа. Впоследствии большинство работ репродуцировано в книге «Russian Samizdat Art», которую Герловины определили как попытку «суммировать свой опыт жизни в России»¹⁸. Книга вышла на английском языке в Нью-Йорке в 1986 году и в 1990 году в Варшаве на польском¹⁹. Уже само название и выставки, и книги свидетельствует о том, что явление самиздата здесь переосмыслено как определенная художественная тактика, если употреблять термин, введенный видным французским историком культуры Мишелем де Серто. В книге «Изобретение повседневности» он связывает понятие «стратегия» с институтами и структурами власти, в то время как «тактика» используется личностью, чтобы создать свободное личное пространство в окружении, которое определяется стратегиями. В этой парадигме то, что Герловины определяли как самиздат-арт, помогало им не только свободно творить в ситуации государственного контроля на родине, но и сохранить и развить свой творческий и жизненный опыт за границей.

¹⁷ Герловина Р., Герловин В. Издания «Воздухоплавание» и «Коллективная ферма», 2007 // www.gerlovin.com/writing_publishing.htm

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Gerlowinowie R. i W. Rosyjska sztuka samizdatu. Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej, 1990.

Владимир Орлов

Три псевдонима.

По материалам архива журнала «Континент»

Это сообщение родилось из попытки составить перечень путей передачи рукописей и машинописей (в основном поэтических) из СССР на Запад, превращения их из самиздата в тамиздат. Сообщение базируется на работе с архивом журнала «Континент», хранящимся частично в Университете Нантера¹ (как правило, в копиях), частично в Институте исследования Восточной Европы (Бремен). Если говорить более конкретно – на сохранившейся переписке редакции «Континента» с авторами и представляющими их посредниками.

Как известно, «Континент» с самого начала был задуман как журнал текущей литературы, которая создавалась за железным занавесом, но не могла быть опубликована в СССР. Для авторов, живущих в Советском Союзе, публикация в «Континенте» была и соблазнительна, и опасна. Суть противоречия обрисовал в письме к Владимиру Максиму 8 мая 1980 года Юрий Кублановский: «<...> когда я прочитал, что мои стихи вновь объявлены в № 24 – немного растерялся. И хочется и радостно их увидеть в Вашем великолепном журнале – и страшновато. <...> Если появится эта новая публикация, Вы должны быть готовы защищать меня “на полную катушку”. Если же есть дела поважнее – публикацию лучше попридержать». Добавим, что письмо было написано вскоре после вызова поэта в КГБ. Понятно, что журнал не адвокатская контора, чтобы защищать своих авторов в постоянном режиме (хотя многое для них делалось и в этом смысле). Поэтому некоторые публикации шли под псевдонимами – нельзя сказать, что это приветствовалось редакцией журнала, но с учетом вышеизложенных обстоятельств вызывало понимание. О некоторых случаях публикаций под псевдонимом я и хотел бы рассказать.

Хотя здесь будут рассмотрены только три таких случая, но, с точки зрения, например, географической, они дают полный срез бытования самиздата: провинция, Москва, Ленинград. То же самое с каналами доставки и причинами возникновения псевдонимов – во всех трех случаях они разные, этим и интересны.

¹ Далее в статье используются материалы именно этого архива.

Раскрытие рассматриваемых ниже псевдонимов, по большому счету, не составляет особого труда, но, поскольку до сих пор этого никто не сделал и в различных библиографических указателях один и тот же автор до сих пор фигурирует под двумя (и более) различными фамилиями, мне кажется, что такая работа имеет смысл. Все-таки более тридцати лет прошло, пора как-то упорядочить знания.

Случай 1. Кишинев.

Стихи Бориса Календарёва впервые были опубликованы в уже упомянутом номере 24 журнала «Континент» за 1980 год. Вот что сказано об авторе в сопровождающей публикацию справке: «Календарёв Борис живет в СССР – других биографических сведений о нем редакция не получила». Тексты стихотворений также не дают дополнительной информации к размышлению. Немногим больше можно узнать о Календарёве из его публикации в «Новом русском слове», состоявшейся более-менее параллельно: «21-летний Календарёв недавно арестован в Ленинграде за отказ служить в Советской армии (ему и его семье уже несколько раз отказывают в праве на эмиграцию)».

Действительно, согласно справке, полученной в правозащитном обществе «Мемориал», в Ленинграде был такой Борис Календарёв, 1957 года рождения, отказник с 1973 года, прошедший в заключении два года (1979–1981) за отказ от службы в армии. Он покинул СССР только в 1986 году. Но если начать разбираться со стихотворением, опубликованным в «Новом русском слове» и начинающимся словами «Гляжу на лезвие меча...», то выясняется, что оно уже публиковалось в 1978 году в номере 16 самиздатского журнала «37», издававшегося в Ленинграде Виктором Кривулиным и Татьяной Горичевой, и что его автор – некто Фрадис (так – без имени – он обозначен в журнале «37») из Кишинева.

С Александром Фрадисом я знаком лично (хотя и заочно), поскольку много общался при подготовке книги стихов Евгения Хорвата, так что прояснить картину не составило труда. Что же, по словам Фрадиса, произошло? Эти стихи он, будучи в Ленинграде, оставил у Календарёва для передачи за границу. Календарёв же, передавая подборку стихов западному журналисту, из осторожности снял страницу с указанием авторства, рассчитывая, видимо, сообщить фамилию позже, уже после того как машинопись пересечет границу, но вскоре был арестован. Западный корреспондент, искренне убежденный, что стихи написал тот же человек, который и передал их ему, так и обозначил их авторство.

Александр Фрадис при своем следующем появлении в Ленинграде тоже был задержан за распространение листовок против вторжения советских войск в Афганистан, отправлен по месту жительства в Кишинев и помещен в Костюжаны (местную психиатрическую больницу). Вскоре ему все-таки удалось эмигрировать. Обнаружив произошедшую путаницу, он почти сразу обратился в «Континент» с просьбой исправить ошибку и опубликовать подборку под настоящим именем, особо оговорив, что она должна открываться стихотворением, посвященным Борису Календарёву (который на тот момент все еще находился в лагере).

Что интересно, в архиве «Континента» имеется еще одно письмо Александра Фрадиса, в котором он сообщает о себе такие сведения: «А. Фрадис – литературный псевдоним в память о моей матери, под которым пишу и публикуюсь». Так что же – мы имеем случай невольного «псевдонима псевдонима»? Нет. Если сравнить подписи под этими письмами, то становится очевидно, что они поставлены разными людьми. Кроме того, «второй» А. Фрадис помимо прочего сообщает о себе, что публиковался в журнале «Время и мы», и это помогает распутать клубок.

«Настоящий» Александр Фрадис писал позже Константину Кузьминскому: «В № 33 “Континента” вышла моя поэма “Еще раз о снеге”. А вот некий Фрадис, опубликованный во “Время и мы”, явно не я. Не я и А. Фрадис, расхваливающий в Лос-Анджелесской Панораме советскую киномакулатуру. А вот Б. Календарёв в №2 4 Континента – на самом деле я. Тут вокруг моей фамилии завертелась какая-то нездоровая, мистическая свистопляска, и я уже порой сам не знаю, где я – я, а где я – не я»².

В заключение, как подтверждение свистопляски, приведем начало ответа Василия Бетаки, представляющего «Континент», «настоящему» Александру Фрадису. Письмо датировано 9 июня 1981 года: «Глубокоуважаемый господин Градис!» – начинает свое послание Бетаки.

Случай 2. Москва.

В № 34 «Континента» опубликованы стихи и проза Л. Евгеньева (инициал в публикации не расшифровывается). Несмотря на то что это явный псевдоним, автора довольно быстро «вычислили» и вызвали повесткой в КГБ.

² Антология «У Голубой Лагуны» /сост. К. Кузьминский. Т. 3Б. Newtonville: ORP, 1986.

Действительно, если использовать столь любимый авторами детективных романов «метод дедукции», то кто на самом деле публиковался под этим псевдонимом, можно установить достаточно легко, поскольку в предыдущем номере «Континента» был сделан анонс, полностью изобличающий автора. Все анонсированные в номере 33 авторы указаны в содержании номера 34, кроме одного, следовательно Л. Евгеньев = Е. Герф.

Однако не следует идти на поводу у детективного шаблона и считать, что именно так настоящего автора, Евгения Герфа, и вычислили. Дедукцией в КГБ не занимались, все было проще. В архиве «Континента» имеется письмо Игоря Бурихина, через которого передавались стихи для первой публикации Герфа – еще под своей фамилией, в № 28 за 1981 год. После этой первой публикации его, видимо, и стал активно вести КГБ. И новый повод не заставил себя ждать.

Вот как об этом пишет сам Герф в неопубликованных пока воспоминаниях³: «Органами безопасности был арестован некий студент из ФРГ. В чемоданчике, который он, как опытный конспиратор, сдал на хранение в раздевалке Ленинской библиотеки, было обнаружено, среди прочего, и мое письмо со стихами на папиросной бумаге. Письмо я намеревался отправить одной моей знакомой в ФРГ. Меня пригласили на Лубянку, вернее, в тот самый дом (угол Малой Лубянки и Фуркасовского переулка), который припомнит всякий, кто ходит к св. Людовику по воскресеньям на мессу. <...>

“Евгений Иосифович! ... числа ... месяца органами Государственной Безопасности (как это звучит! Безопасности! Да еще ГОСУДАРСТВЕННОЙ! Тысячу лет звучит: ЦАРРЬ! ГОСУДАРЬ! – сердце уже не стучит, а еле-еле где-то точкой чуть теплится) был арестован агент ЦАРРЭУ...” Ну, все. Это конец. “Евгений Иосифович! Это ваши ... тут майор снова поморщился... стишки?” И – под нос, на папироске... Ну, конечно, ваши. И бесполезно это отрицать... “И бесполезно, Евгений Иосифович!” <...>

Спрашиваю: “Ну, а в чем, собственно, моя вина?” “Ну, как же! Максимов жалуется, что журнал приходит в упадок. А Вы – пополняете портфель Максимова!”»

В результате Герфу (участковому врачу-терапевту, нехватка которых всегда ощущалась в Москве) вдруг вклеили на работе три выговора подряд, и он был уволен из поликлиники – фактически с волчьим

³ РГАЛИ. Ф. 3488.

билетом, после чего почти три года не мог работать по специальности.

Что не помешало (а может, даже и помогло) ему опубликоваться в «Континенте» еще раз, в 1984 году, под более чем прозрачным теперь псевдонимом Г. Евгеньев.

Заметим, что у Евгения Герфа имеется еще и более ранняя, нежели в «Континенте», публикация – в журнале «Время и мы», под фамилией Гефт – однако, можно ли считать ее еще одним псевдонимом или просто при публикации нечаянно переврали подлинную фамилию, пока установить не удалось. Сам Герф, судя по одному из его писем, вплоть до 1991 года вообще не был уверен в том, что его в этом журнале напечатали.

Случай 3. Ленинград.

В № 51 «Континента» (1987) опубликованы стихи Григория Марка. В данном случае – это вообще первая из известных нам публикаций названного автора.

Вот что пишет Владимиру Максимову о нем Ирина Муравьева (ученица профессора В. Е. Хализева, окончившая филфак МГУ, эмигрировавшая в 1985-м, сама уже к тому времени печатавшаяся и в «Континенте», и в «Русской мысли»): «Мне уже много лет шлет свои стихи один ленинградский поэт с очень страшной судьбой...»; «Это человек прекрасный, а судьба его безрадостна даже по российским меркам...».

Сам псевдоним (а то, что это псевдоним – очевидно) при этом никак не раскрывается. И только по мере появления новых публикаций Г. Марка кое-что медленно, но проясняется. Приведем сведения, которыми сопровождалась журнальные публикации этого поэта в порядке их появления.

- Континент. 1987. № 51: «Марк Григорий – математик, живет в Ленинграде, много лет находится в отказе. Более об авторе нам ничего не известно».
- Время и Мы. 1988. № 99: «Стихи пришли по каналам Самиздата и публикуются без ведома автора».
- Грани. 1988. №148: «Псевдоним ленинградского поэта. Получено из России».
- Знамя. 1993. № 9: «Григорий Марк не занимается публикацией своих стихов в российской периодике, его тексты переслала нам из Бостона (США) Ирина Муравьева <...> Все, что нам известно об этом авторе, – что ему 52 года и живет он в Санкт-Петербурге».

- Звезда. 1997: «Григорий Марк (псевдоним, род. в Ленинграде в 1940 г.) – поэт. По профессии – математик».
- Время и мы. 1998. № 139: «Григорий Марк. Родился в 1940 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Активно участвовал в диссидентском движении».
- Словарь С.И. Чупринина «Новая Россия: мир литературы» (2003): «Марк Григорий (Марк Григорьевич) (р. 1940). Род. в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Эмигрировал в США. Дебютировал (еще в России) стихами в газете “Русская мысль” и журнале “Континент”».
- Новый мир. 2003. № 2: «Марк Григорий Маркович родился в 1940 году в Ленинграде. По образованию математик. С 1974 года в эмиграции. Автор четырех лирических сборников. В настоящее время живет в Бостоне (США)».

Обратите внимание, как отличаются последние сведения в «Новом мире» от первых в «Континенте». Они-то, при современном уровне развития компьютерных технологий, и позволяют довольно легко раскрыть псевдоним. Автором во всех перечисленных случаях выступает Марк Гиршевич Карповский (р. 1940), участник еврейского движения за эмиграцию; подвергался преследованиям: допрошен по «самолетному» ленинградскому делу (1970). С 1973 года кандидат технических наук, старший научный сотрудник научно-производственного объединения «Ленэлектронмаш», в том же году эмигрировал в Израиль. В 1973–1978 годах преподавал в университете Тель-Авива. А к моменту своей первой публикации в «Континенте» М. Карповский уже давно преподавал в Бостонском университете. Что подвигло его на выбор такого странного окольного пути вступления в литературу – судить трудно, возможно, просто нежелание афишировать по основному месту работы свои занятия поэзией.

Протестующая культура

и культура протеста

Вольфганг Айхведе

О культуре противостояния. Мир Арсения Рогинского

Арсений Рогинский

34 года назад, в 1985-м, когда Арсений Рогинский вышел из лагеря, товарищи по заключению устроили прощальный концерт в его честь: взобравшись на крыши бараков, они звонко били ложками в котелки. Об этом рассказал мне брат Арсения.

Еще до суда, под следствием, в 1981 году, Рогинский возражал, чтобы его дело рассматривалось как политическое – не будучи преступником вообще, он уж точно не был политическим преступником. И суду над ним был дан ход не политического процесса, а обычного, уголовного. Четырехлетний лагерный срок, конечно, наложил на него глубокую печать, хоть он и не любил говорить об этом опыте. В качестве последнего слова на суде он произнес речь о праве на поиск исторической правды. Эта речь получила резонанс в мире. Ему же надо было выжить и думать о том, как выживать.

Не станем бить ложками в котелки, чтобы почтить его память. Наше средство – слова и дела, которыми мы пытаемся продолжить дело жизни Рогинского, как бы сложно это ни было. Рогинский обладал умом стратега и тактикой тихого вестника. Свою весть он не превращал в проповедь – он рассказывал о ней и жил ею. Он был вдохновенным рассказчиком – и внимательным слушателем. За более чем три десятилетия нашей тесной дружбы в бесчисленных разговорах с ним у меня всегда было чувство, что он точно знает, чего хочет. Но никогда – что он навязывает свое мнение окружающим. Он убеж-

дал, но и позволял себя убеждать. Может, именно своему лагерному опыту он во многом обязан способностью слушать и наблюдать, не отдаваясь и не поддаваясь чужому опыту полностью¹.

Арсений Рогинский и Агнес Хеллер, Адам Михник и Лариса Богораз, Вацлав Гавел и Андрей Сахаров – истинные наследники Вольтера и Дидро, они продолжили историю Просвещения XVIII века. Ценности у них все те же: человеческое достоинство, терпимость, свобода слова, ограничение и распределение власти, господство права.

Инакомыслие

Люди, подобные Рогинскому, рисковали свободой и жизнью. Они не просто вслух отстаивали свои ценности – они ими жили. Их преследовали и сажали. Вместо провозглашения общих прав вообще они выдвинули идею борьбы за права человека, каждого отдельного человека. Так воплотились для них идеалы эпохи Просвещения. Цитируя великого философа Юргена Хабермаса, скажу: они боролись за структурные перемены в своих странах, создавая новые, независимые формы общественной жизни.

Они выступали за свободу слова и мысли? Конечно! Но к их ключевым принципам принадлежал полный отказ от насилия. После всего, что было пережито человечеством в XX веке, после революции 1917 года, превратившейся в миф о сотворении правового советского государства, после Большого террора, после Второй мировой войны и преступлений национал-социализма отказ от насилия стал обязательным условием движения за права человека. Осознавая, что почти любая революция предполагает насилие, Рогинский подчеркнуто характеризовал себя в разговорах с Сергеем Адамовичем Ковалевым как не-революционера. Он выступал за безусловное господство права, до тех пор, пока оно защищает права каждого отдельного человека. Орудиями борцов за права человека, какими я их знал, были перья, а не гильотины, слова, а не пули².

Они, борцы за права человека, частично оказывались вне основных течений, которые начиная с 60-х годов стали определять культурную жизнь стран Восточной и Восточно-Центральной Европы. Вли-

¹ Периодическое издание OSTEUROPA (Восточная Европа) посвятило Арсению Рогинскому отдельный выпуск: Streiflichter. Der Terror, die Wahrheit und das Recht // Osteuropa Heft. 2017.11–12.07.

² Даниэль А. Истоки и смысл советского самиздата // Eichwede W., Pauer J. (Hg.). Ringen um Autonomie. Dissidentendiskurse in Mittel- und Osteuropa. Berlin, 2017. S. 13–100.

ятельные деятели литературы и мыслители вычеркивали из своих произведений свидетельства о желании отстоять – вопреки диктату партии и идеологии – собственное пространство личных страстей и устремлений. То, что началось в короткую эпоху оттепели с призывов к искренности, вылилось в литературе в «восстание личности», как озаглавила свою книгу известный литературный критик Элен фон Сахно³. Поиск новых форм выражения вне соцреалистических доктрин задавал тон культурной жизни, хотя и приводил к острым конфликтам с цензурой. Когда в 1965 году судили Андрея Синявского за то, что он издал свои произведения под псевдонимом в Париже, он заявил на суде, что как советский человек он не был врагом режима, но просто был иным. Действительно, «инакомыслящие» охватывали письмом и словом, изобразительным искусством и музыкой широкий диапазон совершенно различных позиций. Но всех их объединяли поиск своего собственного, независимого мира и готовность сохранять ему верность. Немало среди них было тех, кто решался на открытое противостояние, как, например, подписанты, собиравшие подписи против решений суда или в защиту политзаключенных. Литературные клубы и объединения – от истинных марксистов до национал-большевиков – составляли программные листовки. Комитет по правам человека, основанный в 1970 году при участии Сахарова, оказал решающее влияние на движение за гражданские права во всех странах социалистического блока, далеко за пределами СССР. Но к миру непокорности и протеста принадлежали также и салоны художников, и запретные рок-концерты и уж конечно легендарные музыканты, которые своими дерзкими песнями завоевали неслыханную популярность.

Летом 1970-го на встрече московских правозащитников Наталья Садомская сказала с изумлением: «Знаете что? Мы с вами, оказывается, “диссиденты”. Нас называют “диссидентами”... Мы так смеялись над этим... Мы и слова-то такого не знали». Так их окрестило одно западное издание. Термин быстро приобрел популярность, но скорее в западных СМИ, чем среди тех, кого так называли. Критическим умам в их богатом разнообразии претила перспектива быть занесенными в рубрику какой бы то ни было классификации. Многим сам термин казался слишком близким к оппозиции, слишком политическим. В отношении самого себя не применял этот термин

³ Ssachno H., von. Der Aufstand der Person. Sowjetliteratur seit Stalins Tod. Berlin, 1965.

и Арсений Рогинский. Раиса Орлова и Лев Копелев, дорожившие собственным неповторимым почерком, боялись, если я правильно помню, оказаться под ярлыком, который бы им не соответствовал. То же касалось и слова «инакомыслящие». Многим виделся в нем слишком сильный акцент на отрицание или отказ от принятого порядка вещей. Особенно художникам не нравилось, когда их отношение (отрицательное) к системе воспринималось как определяющее качество, – для них речь шла прежде всего о собственной индивидуальности, о независимости от системы, а не о противостоянии ей. Я предложил бы отделить термин «несогласие» (Dissens, от которого образовано слово «диссидент») от его политического контекста и понимать «инакомыслие» как порыв и прорыв, с возможными альтернативами. Несогласие – термин скорее культурный, нежели политический. Кто при диктатуре, которая упорядочивает истины и требует соответствия им, сохраняет независимость своей внутренней жизни, тот неизбежно оказывается в несогласии с данным порядком, даже если не стремится к столкновениям с ним. Таким образом, несогласие может состоять как в открытом противостоянии, так и во внутреннем осознании собственных прав.

Споры в диссидентских кругах

Невозможно перечислить здесь все области, в которых происходило разрушение идеологических табу. В само понятие «инакомыслия» заложен плюрализм точек зрения. Без сомнения, освобождение исторического знания из-под оккупации советской идеологией сыграло здесь ключевую роль. Оно касалось как переоценки периода сталинизма, а вслед за тем и революции 1917 года, так и практики насильственного включения народов в состав СССР, так же, как и учреждения политики советского империализма после 1945 года. Как болезненно происходило исправление исторических обманов, – от самых первых публикаций, вызвавших тогда преследования, вплоть до периода Горбачева, – видно на примерах раскрытия исторической правды о пакте Гитлера–Сталина и о Катынском расстреле. С освобождением, принесенным обращением к воспоминаниям о судьбе собственного народа, приходит и опасность самовозвышения, что нашло свое выражение в статье Солженицына, опубликованной в сборнике «Из-под глыб». В диссидентской среде велись горячие споры об образе России, о ее самосознании. Но и в других странах решались важные для них

вопросы: в Чехословакии – о массовом изгнании немцев после 1945 года, в странах Прибалтики – о национальном наследии.

Солженицын в своих романах и в «Архипелаге ГУЛАГ» возвратил миллионам жертв их имена. Но интерес в диссидентских кругах к восстановлению личных биографий этим не ограничился. Арсений Рогинский, искавший следы своего отца, принадлежал к пионерам этого движения. Возможно, в этом и состояла наиболее значительная заслуга диссидентов перед человечеством и обществом: диссиденты сделали возможным существование отдельных личностей. Колымские рассказы Шаламова и воспоминания Евгении Гинзбург приводились как примеры. Частные правды накапливались и умножались, чтобы дать дорогу исторической правде. Освободившись от террора и смиренной рубашки идеологии, история обнажилась и была заново обретаема в личных судьбах. Ничто так не ослабило казавшуюся всемогущей диктатуру, как появление тысяч выкованных страданием жизненных историй. Одна из величайших моих надежд – что культура противостояния сильнее возможностей подавления, находящихся в арсенале политики.

Гениальное изобретение – Самиздат

Чтобы повлиять на что-то, идеи, конечно, нуждаются в собственных формах выражения. В конце сороковых годов поэт Николай Глазков отпечатал на машинке и кустарно переплел сборник собственных стихов, который стал показывать друзьям и знакомым. Вряд ли эти стихи прошли бы в советскую печать сквозь цензуру. На обложке, там, где обычно обозначено издательство, он поставил: «САМСЕБЯИЗДАТ». Возникший импровизированный способ распространения текстов независимо от Главлита сформировался в последующие десятилетия в разветвленную структуру, а название его сократилось до двух слогов. В самиздате осуществились явочным порядком свобода слова и независимость идей. По мере того как права человека все больше утверждались в сознании общества, авторы самиздата, уйдя из-под контроля власти, продолжали публиковаться во имя собственных прав. К Самиздату вскорости добавился Магнитиздат: следом за текстовыми публикациями появились новые системы коммуникации – люди читали и перепечатывали, писали и переписывали, слушали и сохраняли магнитофонные записи, пели, что хотели, уклоняясь от господствовавшего тогда полицейского единообразия. Уже в 1967 году писатель Георгий Владимов торжественно объявил, что советское

государство бессильно против всех видов самиздата-магнитиздата: «И если бы вы устроили массовые обыски, если бы вы конфисковали все рукописи, все пленки, посадили всех авторов и тех, кто хранит и передает их произведения, – одну копию вы пропустите, и она сохранится и размножится, больше, чем до этого, ведь запретный плод слаще». «Освобождение искусства» было необратимо.

Ключевые качества советской системы и ее сообществ

Советские режимы – от Сталина до Горбачева – были действенными диктатурами. Они всеми силами старались подавить и истребить дух несогласия и самиздатскую практику диссидентства. Хотя тотальный террор остался в прошлом, выборочные репрессии и слежка продолжались. Коммунистические партии цеплялись за власть без конкурентов, но растеряли свою эффективность. Много говорилось о социалистической законности, но о главенстве права, об установлении «третьей власти» не могло быть и речи. Уровень жизни постепенно повышался, но намного отставал от западного. Дефицит, с одной стороны, и возмутительная система привилегий, с другой, были в порядке вещей. Почти никто уже не верил в навязшую в зубах идеологию, в лучшем случае она была принятым официальным декором, но свободы слова она не давала. Власть, коснея в привычных заблуждениях, держалась принятых авторитарных форм, все глубже и глубже увязая в противоречиях. Да, советский режим 1970–1980-х на всех парах несли в пропасть модернизации, из которой для него не было выхода. Диссиденты-экономисты предлагали исследования с самыми резкими прогнозами. С индустриальным прогрессом неизбежно усложнялась экономика. При этом государственная иерархия теряла возможности безусловного контроля. Ее «вертикальная» логика противоречила потребности в «горизонтальной» системе, как раньше уже поняли венгерские социологи из кругов «несогласных». Сами по себе достижения вызывали только новые дисфункции. Система утверждала себя только через выход за рамки и нарушение собственных норм. Начальники жили показухой и ложью, преследуя тех, кто хотел освободить страну от лжи. Даже распространившаяся практика западных кредитов и импорт технологий не могли преодолеть заложенную в системе абсурдность.

В странах слабеющей диктатуры люди с удивительной ловкостью приспособляются к складывающемуся положению. Представители

среднего класса, без какой бы то ни было собственности, находящиеся в плачевном положении, но достаточно изобретательные, чтобы уклониться от столкновений с государственной системой, с замечательной фантазией развивают стратегии выживания, находят способы извлечь выгоду из общественного дефицита, занимают известные и находят новые ниши. Помогают «черные рынки», блат и взятки – речь идет не о коррупции, а о «прикорме». Когда система основана на самообмане, в обществе возникает культура мелкой лжи. В романе «Пушкинский дом» Андрей Битов предложил правило: «Только не обнаружить себя, свое – вот принцип выживания...» Диктатура играла в прятки с обществом, и точно так же общество играло в прятки с диктатурой. Польские социологи диагностировали «общественную шизофрению», авторы самиздата говорили о «двоемыслии», которое делало возможными одновременную игру с властью и противостояние ей, повторяя великую ложь системы в мелочах на всех уровнях жизни. Диссиденты, как могли, противостояли злу двоемыслия и приспособленчества. В результате они оказывались аутсайдерами, не только преследуемыми системой, но и некоторым образом дистанцированными от общества. Они не вполне соответствовали устремлениям людей, права которых защищали. При обнаженном повседневном равнодушии, или, по словам Раисы Орловой, «в будничном цинизме» они выглядели морализаторами, но никак не представителями насущных интересов.

В начале 1981 года я разговаривал в Москве с либерально настроенной супружеской парой врачей, чья спальня была увешана иконами. Они не скрывали свое прохладное отношение к академику Сахарову, который, по их словам, самонадеянно считал, что он всегда прав. Но один имевший в то время широкое хождение анекдот о Сахарове им очень нравился: будучи лауреатом Нобелевской премии, академик имел право делать покупки в валютном магазине «Березка». И якобы он настоял однажды, чтобы в лавке, где торговали исключительно за иностранную валюту, ему отпустили товар за рубли – раз рубли были единственной признанной законом валютой. Состояние умов в позднесоветском обществе невозможно воспроизвести при помощи только черной и белой краски. И в академических кругах я встречал людей, чьи мнения нельзя было бы назвать иначе, как диссидентскими, читал рукописные издания, которые, далеко выходя за допустимые цензурой рамки, не могли быть изданы. Самиздат ценили и те, кто сам не решался писать. Повторю: границы запре-

щенного и преследуемого, приемлемого и разрешенного не были зафиксированы раз и навсегда – они были изменчивыми и могли резко сдвигаться. Незыблем был только диктаторский характер однопартийности.

Отдельные страны

У каждой страны Восточной Европы собственная история и собственное лицо. Так и диссидентские движения, движения непокорства, ненасильственного противостояния или оппозиции имели в каждой стране свои отличительные национальные черты. Уже на уровне самосознания и, следовательно, самоназвания проявлялись различия.

Спектр «инакомыслия» в СССР во всех измерениях противился приведению к общему знаменателю. В определенном ракурсе советское государство и его роль представляли одновременно как империалистическая сила и как родина революции и сталинизма. Воспоминания, которые приводили в миры Колымы и Воркуты, и документы, свидетельствовавшие о несправедливости в настоящем, были основными темами в кругах диссидентов. Начиная с 1968 года «Хроника текущих событий» служила примером для всех критически настроенных сообществ в Восточной Европе. Чтобы описать остальные уровни деятельности, достаточно упомянуть борьбу крымских татар за возможность вернуться на родину и различные протестные движения в других республиках, таких, например, как Литва или Грузия, за возвращение своей национальной идентичности, стертой навязанной им силой советской властью. Как говорил Валерий Чалидзе, диссиденты находились в «преддверии политики».

Иначе было в Польше. После провалившихся попыток внутренних реформ 1965 года и массовых протестов рабочих в 1970 и 1976 годах гражданское движение уже на раннем этапе приняло политический характер, с помощью стратегии «эволюции» люди бросили вызов власти и не гнушались термина «оппозиционеры». С основанием профсоюза «Солидарность» в 1980 году сформировалось общественное движение, открыто претендовавшее на власть в качестве «самоконтролируемой революции». Независимый профсоюз насчитывал свыше 10 миллионов человек, по рукам ходило несколько тысяч бесцензурных бюллетеней, подпольные издания имели неслыханную популярность. Введение в Польше в декабре 1981 года военного

положения продлило внешнее, официальное существование режима, но не вернуло ему власть и контроль. Кроме того, католическая церковь держала себя как неприступная крепость, даже церковные нефы раскрашивались в цвета национального флага.

Особенностью Чехословакии – после подавления «Пражской весны» в 1968 году и крушения идеи «социализма с человеческим лицом» – было то, что к диссидентскому движению в поисках путей борьбы за реформы примкнули многие бывшие представители властных структур. Они одновременно с новой свободомыслящей общественностью создали множество независимых изданий, в которых стремились – во имя гражданских прав – к налаживанию диалога с властью предрержащими. Хартия-77 стала их символом, в то время как коммунистическая партия с ее политикой «нормализации» теряла контроль над культурной жизнью страны. Я с удивлением наблюдал этот мир вплоть до моего собственного ареста в Праге в 1985 году и последовавшей за ним депортации.

Относительно малочисленная «демократическая оппозиция» в Венгрии пользовалась некоторыми либеральными послаблениями, допущенными режимом Кадара, и могла самостоятельно большими тиражами выпускать бюллетени и книги. В пределах социалистического блока Венгрия выступала временами в качестве связующего звена между различными диссидентскими сообществами, в то время как работы «Будапештской школы философии» оказывали значительное влияние на западных левых. Публиковавшийся за границей и в сборниках самиздата Георгий Далош с насмешкой называл свою страну «Архипелаг Гуляш».

В ГДР начиная с 1979 года независимое гражданское движение за мир под лозунгом «Перекуем мечи на орала» вышло на уровень, не достигнутый ни в одной другой стране Варшавского договора. Разумеется, здесь отразилась тяжесть груза немецкой истории и внутренняя близость к мирному движению в другой части Германии, в ФРГ. Нередко призывы к миру включали в себя требования, касающиеся охраны окружающей среды, что находило поддержку протестантской церкви. В среде, образовавшейся вокруг художественных академий, проводились, как и в соседних странах, выставки экспериментальных художников, полностью освободившихся от влияния официальных догм.

Это лишь некоторые, далеко не все, аспекты диссидентского мира Восточной и Центральной Европы. Все вместе они отражают многооб-

разие культуры противостояния, исполненной фантазии и расставившей в послевоенной европейской истории неизменные акценты, сохранявшиеся до 1989 года. Нигде больше не находил я таких явных форм зарождающегося «цивилизованного общества», как в кругах сомневающихся в Праге или Ленинграде периода 1970–1980-х годов. Там же зарождался один из истоков грядущего конца.

Западный взгляд

Могу ли я начать с личного опыта? Я – человек Запада, но с правами человека меня познакомила Восточная Европа. Конечно, я и раньше знал о Билле о правах и об идеях Французской революции. Однако свой облик, свою живую жизнь они приобрели для меня благодаря общественным движениям в странах советского блока. Пока мы на Западе писали после войны историю объединения Европы, Восток писал историю свободы. Борцы за права человека внутри советских режимов своей жизнью дали нам пример того, что мы теперь воспринимаем как естественные и общие ценности, хотя сегодняшний путинский авторитаризм обвиняет их в «нерусскости».

Однако, если отложить в сторону эти сугубо автобиографические замечания, реалии большой политики и холодной войны выглядели, разумеется, менее однозначно.

Восстание 1956 года в Венгрии и его подавление, Пражская весна 1968 года и вооруженное вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию, молниеносный взлет профсоюза «Солидарность» и введение в Польше в 1981 году военного положения – у нас на Западе от этих событий перехватывало дыхание. Репрессивную мощь советской власти, казалось, не могли сломить несогласные, и те, кто в западном мире сочувствовал им, ощущали полнейшее бессилие. В это же время Борис Пастернак (1958), Александр Солженицын (1970), Чеслав Милош (1980), Ярослав Сейферт (1984), Иосиф Бродский (1987) получили за свои выдающиеся произведения Нобелевскую премию по литературе, Андрей Сахаров (1975) и Лех Валенса (1983) – Нобелевскую премию мира. Разрушение табу, творческая сила культурной жизни стран Восточной Европы нашли сочувственный отклик у западной общественности. На высшей точке разрядки международной напряженности права человека стали главной темой международной политики – в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинкская конференция в своем заключительном документе закрепила их в 1975 году

как составную часть нового европейского устройства. Чтобы проверить состояние и соблюдение прав человека в 35 странах, подписавших договор, были проведены дополнительные встречи. В какой-то момент казалось уже, что правительства потеряли в этом вопросе право исключительного представительства своих государств. Но это только казалось.

С новым витком гонки вооружений, с появлением советских ракет СС-20 и ответом НАТО, с войной в Афганистане в 1979 году эйфория, сопровождавшая политику разрядки, ослабела. Изначально идея разрядки включала в себя изменение общественных отношений в обоих блоках, отказ от взаимной враждебности и увеличение гражданских свобод. Но при этом политика разрядки требовала все больших средств, раз уж мир должен быть сохранен любой ценой. Экономические интересы усиливали нацеленность на сохранение статус-кво, в то время как затрагивающие внутреннюю политику общественные вопросы отходили на второй план или отбрасывались как лишние. Пражские борцы за гражданские права предупреждали: западная политика мира обращена к правительствам стран Восточной Европы, которые у себя дома воюют против собственного народа. Это не могло привести ни к чему хорошему. Западные политики, в особенности немецкие, связывали свою деятельность до определенного времени с советскими режимами, давно уже утратившими всякую легитимность. Польша при Ярузельском и ГДР при Хонеккере с готовностью объявлялись достойными партнерами, в то время как «Солидарность» была запрещена, а мирное движение задавлено. Многие политики оказывались пленниками «государственных» и «национальных интересов», в пределы которых права человека не входили. Как «государственники» (в худшем смысле этого слова) они были обречены выпасть в скором времени из хода истории.

Мирные революции 1989 года

Революции 1989–1991 годов не были делом рук представителей «инакомыслия». Режимы, поддерживавшие видимость собственной мощи, рушились от слабости и вследствие самообмана. Программа реформ Горбачева провалилась, не справившись с противоречиями системы. Но она высвободила силы, позволившие народам СССР свергнуть диктатуру коммунистической партии и разрушить империю.

В этом процессе диссиденты от Москвы до Варшавы, от Таллина, Риги и Вильнюса до Тбилиси, от Праги до Будапешта сыграли выдающую-

юся роль. Они не стали революционерами, но придали революциям мирный облик. Сахаров в Москве, Гавел в Праге, Валенса в Варшаве стали ориентирами для окружающих среди путаницы противоборствующих настроений. «Круглые столы» создавали на развалинах диктатур новую законность. В этом отношении повороты истории 1989 года принадлежат традиции диссидентства. Иными словами, тем, что крушение коммунистических режимов шло во многом гуманными путями, мы в большой степени обязаны диссидентам. Через 200 лет после Французской революции они подарили европейской истории новую главу – череду практически ненасильственных революций. Конечно, нельзя забывать о заслуге Горбачева, не прибегшего к насилию в то время, когда драматический ход истории оставил в стороне его самого и его партию. Вероятно, и насилием это развитие было не остановить. Но то, что он отказался от этого средства, сделало его поражение эпохальным событием. Не зря Арсений Рогинский и Сергей Ковалев приняли участие в праздновании его 80-летия, несмотря на то, что были в лагере в то время, когда он состоял членом Политбюро.

Диссидентство в современных реалиях – без Арсения Рогинского

За 30 лет, прошедших со времени этого всеобщего – за исключением Румынии – европейского торжества мирной истории реальность Европы кардинально изменилась. Никто не оспаривал значительность свершившегося поворота истории. Железный занавес отошел в прошлое, противоборствующие блоки больше не существуют. Вместо этого в Европе стало на 15 государств больше, многие из них объединены Европейским союзом. Коммунистическая идеология потерпела крах, во всех странах проводятся выборы.

При этом надежды «Парижской хартии» 1990 года оказались иллюзией. Расширенный и объединенный Евросоюз не просто разрознен, но разделен на внутренние блоки. Решающее условие отказа от насилия потеряло всякий смысл после оккупации Крыма. Экономические интересы низводят права человека до *quantité negligible*. Националистические движения во всех странах имеют прочное положение. Россия, которая еще в 1990 и 1991 годах подавала надежды на гуманизацию международной политики, живет сегодня при путинском режиме военных конфронтаций и использования энергетических ресурсов в качестве политического оружия. Во внутренней полити-

ке преобладает националистически окрашенная враждебность по отношению к внешнему миру – злоупотребление властью, направленное вовне, дополняется внутренней нетерпимостью.

Для создания и сохранения внутренних параллельных миров опыт диссидентов представляет большую ценность. У них мы учимся не искать глобальных и идеальных решений, а осуществлять свой путь как последовательность иногда совсем небольших шагов. Им не чужды были и компромиссы, пока это можно было назвать компромиссами. Они создавали альтернативные миры, скрытое действие которых можно было ощутить там, где никто на него не рассчитывал. Борцы за права человека целиком посвятили себя охране прав или, по словам Вацлава Гавела, защите людей. В этом и состоит их завещание.

На практике сохранение и развитие этого наследия наталкивается в современной России на препятствия, сильно отличающиеся от позднесоветских. Место увядающей, пронизанной ложью идеологии занял национализм, связывающий многочисленные группы населения. Стране, как кажется, слышна и внятна пропаганда власти. Властная вертикаль вкупе с энергетическими ресурсами образуют некоторого рода стабильность, благодаря которой критический дефицит инноваций в экономике отходит – по крайней мере, временно – на второй план. В сущности, советской системе противоречили свободы, на которых она сама была основана. Новая система инкорпорировала свободы, особенно экономические, до тех пор, пока они оставляют властные структуры неприкосновенными. Голоса критики не находят отклика, и часто их удается маргинализировать, не прибегая к официальным запретам. Конференция, подобная нашей, не могла бы состояться в Москве в советские времена. В целом, путинский режим представляется более гибким и действенным с точки зрения сохранения власти, чем предыдущий. Исключая девяностые годы, рассматриваемые как время хаоса, с их катастрофическими экономическими показателями, время правления Путина и Медведева представляет собой частичную консолидацию, правда, стоившую людям ограничения их свобод. Когда монополия власти оказывается под угрозой, на помощь пропагандистам приходит возрожденная демонизация Запада, который как бы потерял всю свою привлекательность. Конечно, в своей внешней обособленности и внутреннем недостатке обновлений властные структуры не выглядят прочными в длительной перспективе. Но пока что все эти грозящие выйти из-под контроля факторы, как кажется, удастся сохранять в равновесии.

Вырабатывать стратегии – не дело стороннего наблюдателя из Германии. Они сами будут развиваться внутри страны. Но нельзя не заметить, что движение за права человека должно не просто учитывать специфику властных структур в сегодняшней России, но строить на ее основе свою концепцию и деятельность.

Никто не мог сделать это лучше, чем Рогинский. И сегодня мне более чем когда-либо не хватает Арсения с его неустанным стремлением всегда и везде утверждать достоинство человека – в научной работе, в лагере, в буднях «Мемориала», в эйфории прорыва и разочаровании падением.

«Круглый стол»

Модератор Александр Архангельский

Александр Архангельский: Когда мы обсуждали с Александром Даниэлем, как поточнее сформулировать тему этого «круглого стола», мы говорили о трех, ну, может быть, четырех возможностях. Как можно говорить о культуре и протесте? Вообще я сейчас буду отыгрываться, потому что долгие годы работаю на телевидении, и каждый раз, когда ко мне приходят гости в студию, то начинают с того, что критикуют тему, а я сейчас отыграюсь, потому что мы не договорились о понятиях: о чем мы говорим? Культура: что мы понимаем под культурой? Давайте условимся – не академически, а по-человечески, что мы говорим о культуре в самом широком смысле слова. То есть искусство – это, может быть, ядро, но оно маленькое, а культура большая. Мы говорим о культуре, включая все социальные институты, которые отвечают за производство образов, смыслов и ценностей. То есть в этом смысле – школа, наука, образование да и бытовая практика...

Голос из зала: Религия, традиции...

Александр Архангельский: Да, всё вместе. Поэтому всё, что не природа, то – культура. Как мы ставим вопрос? «Культура и протест». Если мы ставим вопрос так, то тогда мы говорим, как культура в целом связана с протестом – когда и при каких обстоятельствах она включается в него, при каких обстоятельствах она предпочитает игнорировать необходимость протеста. Можно говорить о «протесте и культуре» – о том, чего требует протестное движение от деятелей культуры, от искусства, от деятелей образования. И в первом случае мы будем смотреть скорее глазами Пушкина, который писал о «Думах» Рылееву «все целит, а все невпопад». А в другом случае будем смотреть на Пушкина глазами Рылеева, который все был недоволен тем, что Пушкин не выполняет свой высокий общественный долг, свою великую миссию и занимается всякой ерундой. Но можно го-

ворить о культуре и как о протесте, и как о компромиссе – о том, что культура легальная и культура подпольная не так противопоставлены на самом деле друг другу, как кажется; что они перетекают одна в другую, и границы провести очень сложно, и в разных странах, разных традициях эти границы находятся в разных местах, и что там, в позднем Советском Союзе, уклончивый Аверинцев и бесстрашный Сандр Рига находились, может, и в разных социальных и политических ситуациях, но в одном культурном поле, создавая энергию сопротивления – только необязательно энергию политической борьбы. Вот вокруг этого, мне кажется, разговор и можно построить, и каждый из собравшихся скажет о том, что ему ближе, потому что поле, я повторяю, широкое и общее.

Томас Венцлова: Я по поводу Литвы. Я все-таки из Литвы и знаю о ней чуть больше, чем о других странах.

Я уже цитировал своего как бы учителя и друга Александра Штротаса, который много занимался диссидентами и выделил в Литве (но не только в Литве: это, наверное, в любой стране работает) два их вида: интродукторные диссиденты и экстраструктурные диссиденты.

Интродукторные – это те, кто участвует в официальной советской жизни. Не участвовать было крайне трудно, потому что советское государство было единственным работодателем. И почти все как-то участвовали, создавалась какая-то элита, очень, надо сказать, компромиссная, в чем-то очень лицемерная (мы, молодые люди, относились к ней с немалым презрением), но тем не менее немало сделавшая. Это было похоже на то, что в XIX веке поляки под властью царской России, а также, наверное, в Австрии и Пруссии называли «органической работой». То есть надо пытаться делать что-то полезное, не избегая при этом компромиссов, но с тем, чтобы полезного было больше. И вот этим занималась практически вся литовская интеллигенция, в том числе члены компартии вплоть до некоторых номенклатурных, среди которых было очень много затаившихся антикоммунистов. Но что надо было делать? Издавать классиков, создавать театры, музеи, писать или создавать более или менее честные произведения, поддерживать разумные экономические начинания и как-то противостоять абсурдным вещам, которых всегда было больше. Ну, что еще? Сохранять, конечно, прошлое – хотя бы архитектуру; сохранять фольклор, тем самым сохранять национальную идентичность. Это было главное направление литовской интеллектуальной

работы почти всю советскую эпоху, по крайней мере с хрущевского времени. В сталинское время было, конечно, сложнее и хуже, хотя и тогда это присутствовало.

Конечно, это все было перемешано – черное с белым -- в каких-то невероятных пропорциях, но можно было отличить, у кого больше белого, у кого больше черного, и человек в ответ получал либо общественное презрение, либо общественное, так сказать, поощрение. Мог писать стихи про Ленина, но если при этом напишет что-то крайне патриотическое, то все в порядке, даже может стать какой-то культовой фигурой. Эти люди потом создали Саюдис – движение, которое, собственно, и привело Литву к независимости. Именно эти люди, часто с очень сомнительным прошлым, очень часто не очень высоких человеческих качеств, но именно они это делали.

И были экстраструктурные диссиденты – люди, которые старались в советской жизни не участвовать. Прежде всего это были католики – как священники, так и верующие, как бы по определению не вмещающиеся в советские рамки. Потом была молодежь, для которой в заметной мере это был просто молодежный бунт самого разного характера, такая даже немного – позволю себе это выражение – «игра в индейцев и ковбоев». Но они, как рассказывала госпожа Бураускайте, они поднимали красные флаги по ночам, писали какие-то листовки; их хватали – кого-то вербовали, кого-то запугивали, а кого-то и сажали.

Но оба эти слоя – и интроструктурных, и экстраструктурных диссидентов – были в очень большой степени пронизаны провокаторами и агентами.

Когда пошла горбачевская эпоха, слой экстраструктурный создал так называемую Лигу свободы Литвы, которая как-то вышла на поверхность, стала митинговать и проверять – посадят или не посадят. Когда увидели, что не очень сажают или даже совсем не сажают, а только ругают в газетах и пытаются запугать, – тогда интроструктурная группа тоже оживилась и даже очень оживилась, и была между ними такая кибернетическая обратная связь: вот Лига, так сказать, «передовой отряд, проверяет, что можно сделать без большого риска быть посаженным (даже с риском: «мы проверим, можно или нельзя», и когда она уже это проверила – вступает в дело Саюдис, потому что в душе у них было, в общем, одно и то же.

Госпожа Бураускайте в своем докладе много рассказывала про эту балтофильскую молодежь – что есть люди, которые занимались нео-

язычеством. Власти пытались их поддерживать, потому что язычество – это и способ борьбы с католичеством. Потом выяснилось, что этих неоязычников тоже надо контролировать и контролировать лучше, так как в сфере их интересов была народная история, прошлое, фольклор и т.д. Дело в том, что советская власть создала единственную в своем роде систему, в которой живое и даже не очень живое слово автоматически становилось антисоветским: хотел ты этого или нет, все становилось антисоветским.

Была другая группа, к которой я сам принадлежал, очень небольшая, гораздо меньше, чем балтофильская, объединявшая людей городских. Я интеллигент в третьем поколении, уже мой дед преподавал в университете. И я совершенно не знаю деревню, не знаю фольклор, не знаю хуторской образ жизни, который многим был близок и понятен. Меня интересовала мировая культура, Джойс, Кафка – то, чего нельзя было найти, прочесть. Но оказалось, что можно, надо только выучить польский язык. А поскольку я знал русский, а зная русский, выучить польский не так уж и трудно (так же, как, скажем, украинский или белорусский), то я его выучил, и книги можно было доставать в польском магазине, правда, с некоторыми сложностями. Например, пришли в магазин семь экземпляров романа Кафки, но их списали и сожгли. Поскольку Кафка в своем завещании требовал, чтобы его книги сожгли после его смерти, то Литва оказалась едва ли не единственной страной в мире, в которой исполнено завещание Кафки. Но один экземпляр остался, и он попал-таки в наши руки и стал ходить по нашим рукам. Заинтересовал меня Борхес, я перевел четыре его рассказа с испанского, который знал очень плохо и сейчас знаю очень плохо, но все-таки перевел – ну, латынь я знал, это помогает. Понес переводы в журнал, считая, что в этом некоторое расшатывание советской власти: подача читателю вещей, которые он не знает, но полезно бы ему знать, что на Западе на самом деле происходит. На это, кстати, смотрели более косо, чем на балтофильство. Балтофильство – это, знаете, все-таки борьба с немецкими рыцарями, «проклятым Западом», с католичеством. Ну, там, летели в 1933 году летчики Дарюс и Гиренас через Атлантику. Сначала строго было запрещено их упоминать, потому что они фашисты якобы, а потом – можно, заявили, будто их сбили на территории Германии гитлеровцы, что, по-видимому, есть миф: сейчас вышла целая книга, которая доказывает, что это все-таки миф. Но миф, который был очень удобен советской власти, – вот такой «предохранительный

клапан», национальные герои, пожалуйста, поклоняйтесь: они тоже «наши», борцы с «проклятым Западом» и гитлеровским режимом. Вернемся к Борхесу. Борхеса я перевел, принес в журнал. Редактор спрашивает: «Этот Борхес часом не антисоветчик?» – «Нет, он не анти-советчик». Дальше я процитировал Ильфа и Петрова: «Ему вообще не нравится наша Солнечная система». Редактор очень смутился, говорит: «Ну, если так, то надо проверить, нет ли его в черных списках». Я говорю: «А где черные списки? Я бы хотел посмотреть, чтобы знать заранее, кого переводить, а кого не переводить». – «Нет, – говорит, – я сам с большим трудом добиваюсь до черных списков. Это вообще государственный секрет, я вам объяснять это, разумеется, не буду». Ну, Борхеса таки напечатали, из четырех рассказов два. Вот так мы и действовали. Но на Борхеса охранители смотрели более косо, чем на битву при Грюнвальде и на Дарюса и Гиренаса, более косо, чем на язычество с их «проклятым Западом», с которым не надо иметь дела.

Вот таким образом делалось то, что привело к некоторому расшатыванию власти. И когда эта власть по-настоящему стала шататься, люди были к этому более-менее готовы, а результат мы знаем, и, слава богу, что он имеет место.

Александр Архангельский: Можно короткий вопрос? Правильно ли я понимаю, что национальный фактор (и в чуть меньшей степени католический) наводил сам собой мосты между «легальными» литераторами, сотрудничавшими с властью, но сохранявшими национальную традицию, прежде всего с литераторами, и теми, кого называли экстрадиссидентами?

Томас Венцлова: Нет, я говорю, что как экстраструктурные, так и интроструктурные диссиденты в общем занимались одним делом. Только одни – с компромиссами, за которые часто становились презируемыми, но не всегда: зависело очень от личности, от...

Александр Архангельский: Вот такие люди, как Слуцкис, сохранили какую-то репутацию?

Томас Венцлова: Слуцкис – это особая статья. Прежде всего, простите, существует латентный антисемитизм, а Слуцкис еврей, поэтому он особо популярным не был. Но безумно популярным был Марцин-

квяичус, который писал стихи и про Ленина, и про что угодно. Но вот наше поколение старалось уже такие стихи не писать и, по-моему, мало кто из нашего поколения их писал. Но некоторая связь между этими двумя «брендами» диссидентов – официальным и неофициальным – конечно, была. Хотя было и противоречие, и взаимное недовольство. Официальные диссиденты считали, что не надо «раскачивать лодку», это плохо кончится – нас перестанут печатать; а неофициальные диссиденты говорили: «а вы все-таки продажные шкуры, если подумать». Ну, и то, и другое было отчасти верным.

Александр Архангельский: Спасибо огромное. Прежде чем Александра Даниэля попросить взять слово, короткая история. Молодым журналистом я пришел брать интервью к Булату Окуджаве. Тогда только вышла книга кого-то из грузинских поэтов, где Окуджава значился в качестве переводчика, а я не знал, что на самом деле переводил Даниэль. Я начал расспрашивать, ведь книга только вышла, у меня информационный повод. Окуджава окаменел, начал цедить сквозь зубы... Ну, это – пример встречи двух культур протеста. Прошу вас...

Александр Даниэль: Двух ли? У меня есть в этом большие сомнения. Из перечисленных вами постановок вопроса мне ближе всего третья, и я даже посмею высказать совсем радикальное мнение, что никакой легальной и никакой нелегальной культуры, быть может, и нет вовсе и граница между подцензурным и неподцензурным творчеством настолько условна, что не имеет вообще особого значения. Но, конечно, можно ставить вопрос и по-другому. Противоположная постановка вопроса, которая тоже вами названа, – «культура как инструмент протеста», да? Мне кажется... Простите, мое выступление будет очень хаотичным, такой веер соображений...

Александр Архангельский: Это «круглый стол»...

Александр Даниэль: Да. Вот «культура как элемент протеста» – бывает такое? Конечно, бывает. Но, на мой взгляд, проблема в том, что плоть культуры протестует против любой инструментализации и в результате культура начинает протестовать против протеста – это феномен, который довольно часто встречается.

Я приведу, скажем, польский пример. Польские диссиденты очень гордятся таким важным эпизодом своей освободительной борьбы, как

«оранжевая инициатива»; но ведь так было не всегда: когда возникла «оранжевая инициатива», она среди «классических», так сказать, польских борцов за свободу (во всяком случае среди многих из них) вызвала и некоторое неприятие: «Чего?! Мы боремся, а они хихикают – как это?» А потом, когда стало понятно, что «оранжевая инициатива», может быть, помощнее любой забастовки, они примирились и даже стали гордиться этой «инициативой», рассматривая ее как инструмент протеста. А я не уверен, что авторы «оранжевой инициативы» воспринимали это только исключительно как инструмент протеста.

На самом деле мне кажется, что отношения между культурой и, скажем, гражданским протестом действительно варьируют от страны к стране, от культуры к культуре, от национальных... Например, в России. Если мы вспомним историю российского диссидентства, то ведь первоначальным контекстом гражданского протеста был именно культурный – именно культурные проблемы стали контекстом и детонатором гражданского протеста. Вспомните, как было вообще устроено общественное сознание, что было главное в сознании российского интеллигента начиная примерно с середины 1950-х годов и, наверное, до второй половины 1960-х. Даже не XX съезд и даже не подавление Венгерской революции, хотя все это присутствовало, а история с романом Пастернака, дело Бродского, дело Синявского... Вообще роковая ошибка советской власти, что она пришла к прямым уголовным преследованиям и сразу обострила «культурные» проблемы, которые обладали такой огромной детонирующей силой в традиционно литературоцентричном русском сознании, что диссидентство стало большой общественной проблемой. А в других случаях гражданское движение вырастало не из культурного контекста. В Литве во многом это был религиозный контекст. Украина в этом смысле занимает некоторое промежуточное положение между Литвой и Россией...

Томас Венцлова: Западная Украина – больше вроде Литвы, а Восточная – вроде России...

Александр Даниэль: Да, пожалуй, да. Гражданская, политическая борьба – это, конечно, Польша, это отчасти Чехословакия... То есть все тут как бы варьирует.

И наконец, с вашего позволения, я хочу высказать еще одну мысль – о борьбе за свободу культуры. О культуре позволю себе высказаться

резко: культуре не нужна свобода (нет ничего более тоталитарного, чем хорошее стихотворение), культуре нужна независимость, это гораздо важнее. Вот на этой – боюсь, что несколько еретической, – мысли я хочу закончить.

Александр Архангельский: Ну, пожалуйста: у нас нет инквизиции, высказывайте еретические мысли... Да, прошу вас...

Томас Венцлова: Я еще одну мысль выскажу по этому поводу. Со многим, что было сказано, я согласен, но думаю, что, вообще говоря, Иосиф Виссарионович Сталин совершил одну роковую ошибку, которая загубила все его дело: он не запретил классическую литературу. То есть он запретил, скажем, более-менее Достоевского, тем более модерниста Пруста. Но он не запретил Шекспира, Сервантеса, Шиллера, а когда это читаешь, то учишься свободе, и ничего с этим не поделать.

Александр Архангельский: И свободе, и более того. Советская власть запрещать-то запрещала, но сколки старых литературных следов оставляла. Библиотека имени Достоевского оставалась Библиотекой имени Достоевского, в то время как печатать Достоевского было запрещено. Советская власть была в этом смысле непоследовательна. И она не только проповедовала свободу, но и насаждала религиозную мысль. Да, она часто была богоборческой, вопрос – с кем ты борешься? Советская власть – продолжу вашу мысль – совершила еще одну ошибку: она сакрализовала литературу, придала ей почти церковный статус. Будучи государством победившего атеизма, она давала людям веру в то, что слово сворачивает горы. Арсений Рогинский рассказывал, как он попал в ту часть Архива КГБ, которую удалось быстро рассекретить в тот короткий романтический период, когда рассекречивать еще было можно, и как он шел и быстро набирал все, что мог: любые папки – на тележку, и потом эту тележку через переходы везли к тогдашнему руководителю объединенного, по-моему, если я не ошибаюсь, тогда объединенного МВД и КГБ, когда Баранников...

Александр Даниэль: Да-да-да.

Александр Архангельский: ...был во главе «сугубого министерства», вспоминая XIX век. И он рассказывал, что сидел и думал: «Нет, щас про промпартию не разрешат». А тот подписывает: «Рассекретить».

Какие-то дела, там, про Раскольников (другого, «хорошего» Раскольникова) – «Рассекретить». И тут дело доходит до папки, которую Рогинский просто схватил попутно, от жадности, – дело о романе «Молодая гвардия»...

Ирина Щербакова: Да-да. Но это миф, как с ним... Миф же такой.

Александр Архангельский: Да. «Ну, – думает, – щас подпишет». Нет: зависает и начинает читать подряд, страницу за страницей. Откладывает в сторону и говорит: «Нет, это пока рано». Так что это такое, как не сакрализация «слова», расплатой за что стала десакрализация государства?

Борис Равдин, прошу вас.

Александр Даниэль: Прошу прощения, Александр Николаевич. Борис, можно мне еще буквально тридцатисекундную добавку?

Это не первая конференция по диссидентству, которая проходит в «Мемориале». Первая была в 1992 году, совместно с РГГУ. И там довольно долго обсуждался вопрос, значит, кто был раньше – курица или яйцо? Культура породила протест – гонения на культуру породили протест? Или культура своей независимой активностью породила гонения, которые стали порождать протест и, т.д.? Такой типичный вопрос: кто первым начал. И с этим вопросом, в частности, в дискуссии, похожей на нынешнюю, обратились к Ларисе Иосифовне Богораз, диссиденту не из последних, да? Лариса Иосифовна на секунду задумалась и выдала в конце концов очень короткую формулу: «Первым начал Булат», то есть Окуджава.

Александр Архангельский: Спасибо.

Борис Равдин: Я начну, пожалуй, с эпиграфа – буду скакать, прыгать, но эпиграф остается неизменным. Эпиграф такой: «Хочу лежать с любимой рядом, хочу сидеть с любимой рядом, хочу стоять с любимой рядом, а с нелюбимой – не хочу». Носит ли «протест» Хвостенко – а это его песня – сугубо личный характер или в нем есть признаки общественного характера, то есть можно ли было его привлечь по «общественной» статье за эту песню?

Следующий сюжет. Вскоре после освобождения Рогинского из заключения Борис Федорович Егоров просил его заняться подготовкой к

изданию в серии «Литературные памятники» замечательной книги А.Н. Энгельгардта «Письма из деревни (1872–1887)», Энгельгардта, профессора химии, мечтавшего об интеллигентном земледельце, так сказать, «тонконогом», в составе земледельческой артели, читай – в «коммуне». На каком-то этапе Рогинский отошел от работы над «Письмами из деревни», вступительная статья и комментарий к которой обещали дать возможность взглянуть на общественное движение 1870–1880-х годов и представить особенность этого движения с учетом того времени, технологий и т.д. То есть делать то же самое, чем он занимался, когда занимался декабристами. Рогинский отошел от этой работы над Энгельгардтом и ушел в «Мемориал», по сути, продолжил заниматься тем же Энгельгардтом, то есть стал практикующим историком, а не историком-теоретиком.

Между тем в середине 1880-х годов – возвращаясь к Энгельгардту – Энгельгардт ушел от внимания к сельскохозяйственной артели и занялся с тем же энтузиазмом фосфорными удобрениями, расстаться с которыми не мог, поскольку он все-таки химик. И после смерти расстаться с ними не мог: известно, что гроб с Энгельгардтом, по крайней мере в доме, был установлен на четырех мешках с фосфорной мукой. По-моему, замечательная смерть.

Второй сюжет – по поводу протеста. Несколько лет назад скончался Янис Сикстулис – латышский востоковед, выпускник Ленинградского университета. В 1968 году он оказался вместе с группой студентов в Чехословакии – в августе, в Братиславе. Сделал около тридцати фотографий: танки, протесты, лозунги, трамвай перевернутый и т.п. В этом году 50 лет пражских событий. Пошел я в Музей оккупации – рижский, довольно известный. «Давайте, – говорю, – сделаем выставку». – «Оставьте фотографии, мы подумаем». Как говорится, думают, продолжают думать. Звоню в чешское посольство – как-то вяло отреагировали. Правда, дело я имел не с послом, не с атташе по культуре, а с девушкой на телефоне, которая обещала все передать кому следует. Министр культуры – ученица Яниса Сикстулиса – содействовала передаче копий этих фотографий в киноархив, и все. И только посольство Словакии достойно оценило материал – все-таки Братислава – и пригласило вдову, дочерей, еще кого-то и в Военном музее устроило презентацию всех этих материалов. Казалось бы, чем можно сейчас объяснить реакцию Музея оккупации? Проще всего: «Чехия далеко, Словакия далеко, все, что было тогда, нас сегодня не интересует, мы занимаемся 100-летьем образования

Латвийской республики». Но тут выясняется, что и свои-то материалы не очень-то собирают. Даже, например, такой сюжет, связанный со страшными событиями: Илью Ривса, известного самосожженца возле памятника Свободе, и его пропустили, забыли сделать хоть что-то в связи с 50-летием этого события. Это тоже форма протеста; это форма протеста против навязывания обществу определенного отношения к бывшим протестующим.

Дальше – об образе диссидента в мировой литературе. Конечно, есть какие-то отдельные сюжеты, связанные с этой темой, но персонажей (ну просто сюжетообразующих, пальчики оближешь) – нет таких персонажей. Например, история Бразинскасов, сына и отца. Замечательная же история, закончившаяся тем, что сын убил отца восемью ударами гантелей. А как начиналось все, помните? Или, например, сюжет: Синявский, Кузнецов, Буковский, Воронель, Хейфец, Григорянц – это же просто замечательный сюжет для какого угодно романа. Необязательно пасквильного, не обязательно памфлетного, не обязательно романа в стиле Войновича. Замечательный материал, но почему-то никто не трогает. Ну, может Быков когда-нибудь тронет. Книга «Ленин в Цюрихе» у нас есть, но у нас нет, по-моему, книги под названием «Вермонтский отшельник». Почему? Почему литература пропускает эти сюжеты все дальше, дальше и дальше? Необязательно, чтобы это был роман «Бесы» – я не люблю этот роман, это не то памфлет, не то пасквиль, до сих пор не могу разобраться. Но пусть хоть будет что-то в таком роде, но нет. Каких-то персонажей, героев еще можно набрать у Улицкой, но я о сюжетообразующих персонажах, которых сегодня никто не трогает.

Поскольку я из Риги, то должен сказать, что и рижских событий никто не касается. Например, в прошлом году приезжал Иосиф Мозусович Менделевич. Известная операция «Свадьба», попытка угона самолета из Ленинграда, есть там замечательный сюжет о том, как они собирались, перелетев в Швецию, выслать деньги за топливо, которые они потратили при перелете. Ну, замечательный сюжет! А сюжет со сложными отношениями внутри этой группы? Одни знали, другие не знали, третьи подозревали, четвертых обманывали, пятые обманывались сами – тоже замечательный сюжет! В Израиле, может быть, и написано что-то такое на русском материале, но здесь-то, здесь-то такого сюжета совершенно нет! Нет никакого романа про, скажем, того же Сандро Ригу, которого упоминали здесь сегодня. Я вчера с ним говорил или позавчера. Он сидел на

Дальнем Востоке в психушке; рассказывает, что когда кто-то крикнул доктору: «Сахаров в Москве!», доктор сказал: «Значит, покайся». Убежден был, что никак иначе советская власть выпустить людей из этого «сумасшедшего дома» не могла. Или сюжет, тоже рассказанный Сандро Рига, о том, как у него был один из – как его назвать? – последователей, который выбирал... (Хиппи – это вообще начальная стадия движения. Одни ушли в католицизм, другие ушли в протестантизм, третьи ушли в национальные движения, четвертые туда-то и туда-то.) Так вот, рассказывал об одном человеке из еврейской среды, который колебался: быть ли ему хиппи, быть ли ему толстовцем или быть ему в движении еврейского сопротивления. На всякий случай он решил, что будет в последнем направлении двигаться. Пошел записывать новорожденную дочку в загс. Делопроизводитель спрашивает: «Как хотите записать?» Он говорит: «Запишите: Мариям-Ципора». («Ципора» – это на иврите, если не ошибаюсь, не то «птичка», не то «бабочка» – «птица», да.) Делопроизводитель долго смотрит на него, потом спрашивает: «А жена согласна?» – «Да, – говорит, – согласна».

В общем, разные сюжеты есть. В Риге был такой человек по имени Миша Бомбин – один из основателей фестивалей хиппи в Лиласте, такой местный Вудсток. Фестивали давно кончились, движение хиппи давно кончилось, а он по-прежнему ездил в Лиласте, чтобы ощутить этот воздух свободы, которого ему не хватало в последние двадцать лет, когда он был корреспондентом журнала «Свобода». А дальше можно подумать, стоит ли вписывать в его биографию рассказ о том, что он и утонул в Лиласте, то есть там, где состоялась вершина его биографического пути.

И последний сюжет. Все знают, что в Латвии открыли карточки КГБ – вот некоторые из них, *(Показывает.)* Я когда-то по просьбе «Мемориала» занимался латышскими диссидентами и довольно много разных биографий наработал. Я был против того, чтобы печатались, чтобы публично были представлены эти фотографии агентов. Теперь я не знаю – должен ли я заявить протест или нет, могу ли я заявить протест или нет? А если могу, то как?

Возвращаясь к работе с «Мемориалом». Есть такой персонаж, назовем И.Ц. Даниэль знает, о ком идет речь. Он 17 лет отсидел, несколько лет участвовал в таком-то движении, несколько лет в таком-то движении, в таком-то. И вот пожалуйста – карточка на него. И что теперь в биографическом словаре я должен о нем писать? «Такой-

то такой-то, активный участник национально-освободительного движения, впоследствии агент КГБ»?

Томас Венцлова: «Впоследствии» или «одновременно»?

Борис Равдин: Нужно ли вообще об этом писать или нет – это сложный вопрос. Я занимался, например, историей коллаборационистской печати. Там масса людей, там, допустим, Филиппов, Завалишин, Аскольдов, которые активно печатались в коллаборационистских газетах, журналах, книгах. Как правило, в их биографии опускается эта строчка, сами они об этом не вспоминают, их последователи тоже не вспоминают. Историки в последнее время начинают вспоминать и неожиданно чрезвычайно резко, не так, как они бы заслуживали на самом деле. То есть какая-то «отрыжка» долгого молчаливого невнимания к этой строчке их биографии сегодня оборачивается уродливыми сюжетами.

Вот такие разные формы протеста. Я бы тоже хотел быть в чем-то протестующим.

Александр Архангельский: Спасибо большое. Во-первых, передайте Сандру Риге привет – и от нас от всех, не только от меня. А во-вторых, про то – писать или не писать... Мне кажется, что ответ простой: писать. Вопрос – как? Но разве энциклопедист спрашивает у героя своей энциклопедической статьи, что он должен про него написать?

Борис Равдин: Но если это семейная история...

Александр Архангельский: Это та проблема, над которой бился Рогинский, и он все время говорил: «Я не могу дать окончательного ответа». Первый пример – когда он не стал все-таки публиковать свое исследование о том, как можно было избежать посадки при переезде из одного дома в другой, потому что его мама могла бы это прочесть, а она всю жизнь гордилась тем, что спасла детей, бросив все и бежав, и т.д. И это – вопрос выбора между долгом историка и человеческим долгом.

Второй пример он всегда приводил. Это когда он нашел в картотеках, открытых в Украине и в Латвии, данные на одного большого музыканта, который согласился сотрудничать с НКВД. И что-то его

остановило от публикации этих данных, хотя они уже у него были. А через пятнадцать лет он нашел другой документ, в котором куратор этого музыканта докладывает начальству, что за пятнадцать лет сотрудничества этот музыкант не дал ни одного факта ни на кого. Вот что бы было, если бы он опубликовал эти данные, а потом оказалось бы, что да, человек подписал, но ничего не сделал. И таких много. Этот вопрос в Польше впервые был поставлен Михником: может ли Институт памяти распоряжаться закрытыми данными? Либо никто, либо все, и тогда в Интернет – всю картотеку, все данные, все целиком; чтобы любой человек мог сказать: «Вы меня обвинили, но вот, пожалуйста, свидетельства того, что я ничего не делал». Но это проблема, которую Рогинский ставил всегда. Спасибо вам, что вы ее в этом аспекте подняли. Одного человека, который занимается материалами о коллаборационизме в России, вы знаете, это Кирилл Александров...

Борис Равдин: Да.

Александр Архангельский: ...только что уволенный из Санкт-Петербургского университета, а директор института, допустивший защиту его докторской диссертации о власовском движении, отправлен на пенсию. И никто Кирилла, которому лет сорок, он в самом расцвете сил, ни на какую работу не берет.

Борис Равдин: Его последние публикации появились в «Звезде»...

Александр Архангельский: Да, его публикует «Звезда», но и «Звезда» тоже на грани закрытия.
Прошу вас, Дмитрий.

Дмитрий Зубарев: Пятьдесят два года назад – в конце марта 1967 года – я познакомился в Тарту со своим ровесником, коллегой, тоже студентом-филологом Арсением Рогинским. В тот же день я услышал его доклад на студенческой научной конференции. Не буду пересказывать его содержание – может, завтра о нем вспомнит Габриэль Суперфин, – но передам свое ощущение: я остро почувствовал дыхание гениальности, я видел и слышал гениального историка. Это ощущение, что я живу и работаю рядом с гением, не покидало меня все пятьдесят два года нашего знакомства и, смею сказать, дружбы.

В последний раз я видел Арсения в этом зале полтора года назад, в сентябре 2017-го, когда мы отмечали выход книги, посвященной сборникам «Память». Мы здесь сидели на сцене, а он из Израиля смотрел на нас, слушал наши рассказы и говорил с нами по скайпу.

Рогинский имел все данные для того, чтобы стать лучшим историком новейшей России XIX–XX веков. Наши современники – люди моего поколения – помнят драматическую постановку «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики» в театре «Современник» в год нашего с Арсением знакомства. Рогинский вполне мог написать цикл исторических монографий под названием «Декабристы, народовольцы, кадеты, большевики, меньшевики»: по каждой из этих тем у него были блистательные публикации; к сожалению, они не только не собраны, но, кажется, нет даже их библиографии.

По декабристам – это работа студенческого периода, за которую он получил первую премию на Всесоюзном конкурсе студенческих работ; и публикации в научных сборниках в Тарту; и публикации по поводу его попыток написать кандидатскую диссертацию у В.В. Пугачева, который был его научным руководителем в Саратове. По народовольцам, которыми он занимался совсем немного, – и блистательная публикация в тартуских «Ученых записках» письма Стефановича к Дейчу с замечательными совершенно выходами в текущую современность (в процесс Якира и Красина, который шел в то время), с моральной оценкой поведения революционера в тюрьме и как бы рекомендациями по допустимому и недопустимому в этот период. По меньшевикам – блистательные публикации в сборниках по меньшевистскому движению, блистательные публикации в сборниках «Память». Наконец, по большевикам... Я помню совершенно потрясающий его доклад на огромной международной конференции, посвященной сталинизму, в декабре 2008 года, где он делал доклад на пленарном заседании вместе с директорами академических институтов – академиками Российской академии наук. И, по мнению всех присутствующих, его доклад по уровню был выше этих академических.

У него было все, чтобы написать такие работы и стать лучшим историком России. И замечательная фундаментальная архивная подготовка – школа Юрия Михайловича Лотмана, и замечательная интуиция, и смелость гипотез, и талант четких формулировок. Но книг этих он не написал, этому помешал другой его талант, тоже близкий к гениальности, – талант организатора. Недаром в программе сегод-

нышней конференции даны две его дефиниции – историк и общественный деятель. В России были историки, которым мало было быть только историками, которым хотелось историю России не только описывать, но еще и делать. Рогинский был из этого числа. Вспоминаю наш разговор конца 1970-х – периода работы над сборниками «Память». Мы комментировали дневники Зинаиды Гиппиус периода Октябрьской революции 1917 года, где она резко оценивает поведение Керенского, который был посетителем ее квартиры, считался другом семьи, и одновременно она на него возлагала огромные надежды, а по мере приближения октябрьского переворота и после него резко его переоценила. Рогинский сказал: «Неужели мы, – имелось в виду «я», – в 1917-м не справились бы с этим хаосом лучше Керенского? Ведь ему, как и нам, было тридцать пять».

Я назову сейчас три фамилии замечательных русских историков, принадлежащих к этому типу историков, которым хотелось историю делать. Это Павел Милюков, это Сергей Мильгунов и это Борис Николаевский. Сегодня профессор Айхведе в первом докладе на нашей конференции уже называл исторические имена, с которыми он хочет сопоставить Рогинского. Я бы хотел его поставить именно в этот контекст. Из историков второй половины XX века я могу назвать только имя нашего коллеги по изданию сборников «Память» и по созданию «Мемориала» – Револьта Пименова. Револьт Пименов успел создать свой цикл работ по русской истории за 150 лет – от отмены крепостного права и до горбачевской перестройки. Он увенчал этот цикл своих работ по русской истории, который, в отличие от работ Рогинского, издан, к сожалению, очень маленьким тиражом и мало известен, – он увенчал тем, что, будучи избранным народным депутатом РСФСР (в избирательной кампании 1990 года Рогинский и я активно участвовали), стал членом Конституционной комиссии, созданной Съездом, и написал такую Конституцию России, демократическую. И это было его завещание: он умер через два месяца после того, как была поставлена точка в этом проекте Конституции. К сожалению, это совсем не тот проект, который мы сегодня имеем. И еще буквально несколько фраз. Рогинский стал из историка общественным деятелем. Он акцентировал это обстоятельство, когда была подготовлена публикация фрагмента из «Словаря диссидентов», о котором сегодня говорил Александр Даниэль, для журнала «Новое литературное обозрение». Один из редакторов этого журнала выбрал из всего предложенного нами ему массива биографий цикл, ко-

торый он назвал «Диссиденты и литераторы» и хотел бы опубликовать. Статья о присутствующем здесь Суперфине там опубликована, а Рогинский, когда узнал об этом, заявил, что он свою публикацию снимает. Когда я его попросил мотивировать это, он взял машинописный текст статьи, подготовленный и утвержденный для «Словаря диссидентов», и написал: «Прошу публикацию снять: не являюсь литератором». То есть он считал уже, что общественный деятель в нем преобладает.

Александр Архангельский: Может, хорошо, чтобы ему тоже не показали...

Дмитрий Зубарев: Это очень печально, потому что у историка и политика (а мы назовем «политиком» общественного деятеля, ориентируясь на Андрея Дмитриевича Сахарова) разные задачи: цель историка – истина, цель политика – победа.

Александр Архангельский: Спасибо. Хотя мы знаем политиков, которые называли себя литераторами. Прошу...

Александр Даниэль: Короткая реплика. Я констатирую, что, хотя Дмитрий Исаевич нарушил некую традицию конференции *in memoriam*, когда мы говорим не о человеке, в честь которого проводится конференция, но, тем не менее, мне кажется, выступление Дмитрия Исаевича вполне уместно...

Александр Архангельский: Ну, так этот человек был и человеком культуры, и человеком сопротивления, как же...

Александр Даниэль: Вопрос о соотношении гуманитарного знания и сопротивления. И единственное дополнение: конечно, если бы Арсений был здесь и перечислял здесь свои публикации, он бы обязательно называл вместе с названиями своих публикаций и своих соавторов. Например, письмо Стефановича Дейчу опубликовано в соавторстве с Львом Яковлевичем Лурье; ряд публикаций о меньшевиках опубликован в соавторстве с Александром Иосифовичем Добкиным и т.д. То есть – о соавторах Арсений не позволял себе забывать.

Александр Архангельский: Дадим слово Томасу Венцлова.

Томас Венцлова: Я хотел бы добавить к тому, что было сказано об Арсении Рогинском. Я его знал, к сожалению, мало, но знал я его очень молодым – лет пятьдесят пять тому назад в Тарту. Ну, говорили на разные темы, но я не очень уже и помню, о чем говорили, но помню, что о нем сказал Юрий Михайлович Лотман. Лотман сказал: «Арсений – прирожденный архивист: к его рукам прилипают интересные документы». Он тогда занимался XVIII веком, к его рукам «прилипали» документы XVIII века. Но Лотман был совершенно прав: с годами к его рукам стали «прилипать» довольно интересные документы.

Александр Архангельский: Спасибо. Ирина Щербакова, пожалуйста.

Ирина Щербакова: Мне довольно трудно говорить после выступления Димы Зубарева, потому что мы все вспомнили Арсения и довольно трудно переключиться. Но несколько довольно хаотических слов я все-таки скажу.

Вообще я думаю, что, если говорить о культуре, главный вопрос (и он завтра будет у нас, наверное, почти что ключевым) возникает сам собой. Главный вопрос заключается в том, для чего мы все это сегодня вспоминаем? Какой в этом смысл? Интересует это сегодня кого-нибудь, кроме здесь присутствующих лиц – тех, кто участвовал в этом непосредственно? Мы мемуарами частично обмениваемся или что?

Надо сказать, у меня, например, в 1990-е годы было ощущение, что это совсем забытое время. Что, в общем, к нему почти не обращаются, что интереса оно не вызывает, а если вспомните публикации начала 1990-х, то они вообще с ужасным антишестидесятическим и антиоттепельным пафосом. И можно даже конкретно – не хочу сейчас ваше время этим занимать, но есть просто конкретные цитаты, что «вообще все это, и вообще советская литература и несоветская литература, которая в это время существовала, – все равно она на этом пространстве жила и все равно она никуда не годится» – с одной стороны. А с другой стороны – возник такой взгляд: «а давайте посмотрим с Марса: что вы тут в «Мемориале» упираетесь в эти преступления, какие-то памятники... Осторожнее, спокойнее, это же все уже сталинские «пирамиды», давайте относиться к этому, как к египетским пирамидам», и т.п.

Я бы сказала, что ситуация сейчас изменилась, она меняется. И мне кажется, что не случайно и на самых разных уровнях: по телевизору

«Оттепель» снимают (можно относиться к этому как угодно), делают мюзикл «Стиляги». Это – до каких-то гораздо более серьезных вещей. Я уже не говорю о том, что такие серьезные люди, как, между прочим, наш ведущий, не жалеют своего времени, чтобы собрать людей, спросить, выслушать их воспоминания. Глеб Морев собирает, сборники издает. Это люди, которые чувствуют, что сейчас народу интересно, что ему хочется знать.

И вот мне кажется, что наступил момент, когда события второй половины XX века вызывают интерес. По разным причинам, но главные из них – это, конечно, довольно большой пессимизм, с одной стороны, а с другой стороны – огромный знак вопроса, который стоит перед нашим обществом: а что вообще с нами дальше будет, мы куда идем? В отношении культуры – а культура всегда связана с политикой и жизнью, это мы с вами прекрасно знаем – что с нами будет? Где искать ответы? Где искать даже примеры биографий? Где искать вообще примеры того, как люди жили в затхлом пространстве совсем несвободы, не сравнимом с сегодняшним днем, – как они жили, как они писали, что они могли делать? Какой был выход из этого, и культурный выход в том числе?

Думаю, что эти вопросы стоят все более остро, потому что возникшая когда-то иллюзия реальной политической жизни, какого-то политического участия, сегодняшнего участия практически растворилась. Нам в какой-то момент действительно стало казаться: ну вот, литература, искусство – они наконец свободны, они могут жить в этом свободном пространстве... Но я помню о горечи очень многих писателей и поэтов, которые привыкли, что их стихи читают, что их книжки расхватывают... Что теперь? Совсем маленькие тиражи, и никто это, кстати, не перепечатывает и не передает из рук в руки; и значение книгоиздания совсем не то, что было прежде. И тогда появляется сомнение: зачем вообще эта культура, зачем она вообще нужна? И раз есть реальная возможность бизнеса, он занял не только свою нишу, занял место, которое занимает в западных странах.

По моим наблюдениям, сейчас (и может быть, это происходит совсем не от хорошей жизни – и этот опыт, и вообще значение культуры, и значение слова, и «битва» за слово, самое разное, против разных запретов) мы ясно видим, что наступает время явной борьбы против этих запретов. И кажется, что исторический опыт здесь важен и нужен. Когда мы говорим об этой протестной культуре, мы немножко «схлопываем» время, а ведь были (и Томас Венцлова об этом

говорил, и Александр Даниэль) очень разные фазы этого времени. И люди развивались с этими фазами и претерпевали и биографически – почему это так интересно, почему этот опыт так интересен? Потому что люди претерпевали их биографией совершенно невероятное развитие. Посмотрите на Галича: с чего он начинал и к чему пришел в конце своей жизни? И почти все – и Аксенов, и Войнович – как развивались их биографии? Они совсем не сразу понимали – и что происходит, и что надо сказать в культуре, и каким языком нужно говорить. Это был очень медленный и длинный процесс. В 1950-е годы это был процесс освобождения очень разных людей от просто страшного, каменного заостенения культуры. Потому что убить культуру нельзя, она жила в подполье. Конечно, было то, что написано Булгаковым, то, что написано Платоновым и очень многими другими, но общий наш фон, общий фон обычных интеллигентных людей был страшно заостенелый.

Страна жила за железным занавесом. Почему была такая российская школа переводов, которой не было нигде в мире? Почему у нас были такие замечательные переводчики? Не только потому, что это «ниша» была, а еще и потому, что это была единственная возможность через этот занавес пробиться. Ведь целое поколение – почти даже два – этой возможности не имели. И это был единственный какой-то выход из этого заостенения. Если мы с вами возьмем ту же подборку «Нового мира» – совершенно подцензурную, то увидим, как это изменяется начиная с 1950-х годов, как меняется язык, которым говорят с людьми.

У меня еще буквально две фразы. Большое значение этого процесса в освобождении от этой заостенелости ужасной, и он проходил и в бытовой культуре и во всем. Не случайно Борис Равдин процитировал хвостенковскую песенку. Процесс был в том – простите мне это очень банальное слово, – но он был в гуманизации общества и пространства, главным было сделать общество снова гуманистическим, через самые разные вещи. Ведь когда Лариса Богораз сказала: «Все началось с Булата», она же ровно это имела в виду. Ведь потом будет и «другая» литература, но что остается от Булата – это большой вопрос. А в то время это была действительно одна из фигур, которая сделала очень много в настоящей гуманизации общества и сознания.

Александр Архангельский: Спасибо большое. Я два слова скажу, и мы перейдем в режим диалога, чтобы можно было аудиторию подклю-

чить: у нас демократия, а значит, горизонтальные связи все-таки важнее, чем вертикальные.

И в позднесоветский период вокруг искусства в целом (в частности культуры) вращались все общественные вихри. Можно вспоминать легковесную формулу Евтушенко насчет того, что «поэт в России больше, чем поэт», хорошо ли это – вопрос отдельный, но она дана, эта формула, и оказалась очень точной, потому что – памятник Маяковскому, 1958-й год, и то, что начиналось вокруг памятника Маяковскому, дало выход спавшей общественной энергии. А спавшая общественная энергия дала выход энергии литературной: и Буковский, и смогисты – это все начинается у памятника Маяковскому и продолжается, развивается. И конфликты вокруг кино, театра – это конфликты в превращенной форме говорившие о конфликтах политических и конфликтах смысловых. И когда все это заканчивается, возникает ощущение: ну, все – у нас теперь не будет этой избыточной нагрузки на культуру, потому что наконец появятся свободная церковь, свободная философская университетская кафедра, свободный парламент... Ну, и где у нас свободный парламент, где свободная церковь и где свободная философия? А с литературой, в общем, опять, к сожалению, полный порядок. Вспомните, от кого к кому, к какому памятнику идут на прогулку современные – кто? – русские писатели, ведущие за собой недовольных горожан, – от Грибоедова к Пушкину и обратно, символическая разметка осталась той же. Посмотрите на все общественные, а на самом деле скрыто политические конфликты, которые захватывали довольно большое количество людей на протяжении пяти последних лет. Они почти все так или иначе связаны с культурой – от реакции на «Шарли Эбдо» до... Да, когда ты перед выбором: ты с теми, кто смеется над тем, что тебе дорого, или с теми, кто убивает тех, кто смеется над тем, что тебе дорого, – этот выбор надо делать; до «Левиафана», «Тангейзера» и так далее, без конца. Это все превращенные политические споры; и в этом смысле опыт 1950-х, 1960-х, 1970-х и начала 1980-х невероятно важен. Ну, и 1940-х: просто мы... там уже некие границы, это как будто давно.

Борис Равдин: Глоток свободы.

Александр Архангельский: Да, глоток свободы.

Давайте перейдем в режим диалога. Кто хочет высказаться?

Дмитрий Дубровский: Я бы хотел две вещи сказать, и наверное, обе не понравятся. Во-первых, у меня такое ощущение, что, когда мы говорим об институтах культуры, мы продолжаем себя чувствовать вот этой интеллигенцией – рыцарями того великого печального образа, который, на мой взгляд, уходит. Я просто думаю, что в современном мире интеллигенция – это в каком-то смысле уходящая натура, вообще, целиком. Почему? Потому что культура перестала быть (или перестает, на мой взгляд, быть) исключительной прерогативой этого образованного класса, как мы его называем – «интеллигенция», «интеллектуалы». Это уходит. И когда мы говорим о культуре, то в какой момент должны понять, что там за ее пределами? Я как раз начинаю мыслить о современном обществе уже не в тех категориях, что вот тут – какие-то институты культуры, а там – чего-то нет этой культуры: она, собственно говоря, везде. И в этом смысле исчезает тот самый эксклюзивный класс, от имени которого мы защищали этот вот свет-знание. Мне кажется, что «эпоха просвещения» уходит, мы должны с ней попрощаться. Что приходит – другой вопрос. Хуже или лучше – не знаю. Но мне кажется, что настаивать на том, чтобы нести знамя «просвещения», этот «свет» туда, где есть «тьма», мне кажется, что этот образ уже не работает, потому что мы сейчас не обладаем эксклюзивностью в этом смысле. Уже любой человек может быть поэтом, может быть художником: ему для этого не надо нашего одобрения. У него не должно быть нашей санкции, у него должна быть просто своя легитимность, личная свобода.

И второе. Мне кажется, что довольно часто, особенно в авторитарных странах, то, что мы называем «культурой протеста», – это когда протест «прячется» в культуру. Как однажды хорошо сказал Глеб Олегович Павловский: «Когда нет реальной политики, то политикой становится, например, политика прошлого». И в этом смысле довольно часто, когда мы имеем дело с мимикрией, когда люди «прячутся», на самом деле это общественный, политический конфликт, который...

Александр Архангельский: В превращенной в форме...

Дмитрий Дубровский: Мне кажется, что протест политический просто невозможен в нормальной... Его просто невозможно высказать. Нет места, нет политического пространства, нет актора, нарушена коммуникация – говорить некому. И поэтому то, что происходит в истории, в искусстве, в кино, в литературе, – это в известной степе-

ни просто выживание политики – публичной политики – в несвойственных ей формах. То есть это вообще не про культуру, это про то, что политика прячется, ошметки разбитой публичной политики, разнесенной в клочья, расплозились по углам и там прячутся, пытаются выживать. Мне кажется, это еще одно возможное расширение разговора о протестах внутри культурной формы.

Александр Архангельский: Спасибо, хотя суррогатное материнство – тоже современное явление. Если вы считаете, что культура носит в себе зародыши будущей политической жизни, – ну, она носит, но она занимается и много чем другим: у суррогатной матери есть своя жизнь, она вполне может совмещать эти функции. Я не понимаю, в чем противоречие, где его неразрешимость...

Из зала: В предыдущем выступлении прозвучало слово «просвещение». Мне интересно, какое место в системе координат «культура и протест» занимает просвещение в исторической перспективе. Этот вопрос я хотела бы задать Борису Анатольевичу Равдину и Ирине Лазаревне Щербаковой.

Борис Равдин: Инстинктивное движение вслед за тем, что большевики когда-то называли «овладением культурой». То, что говорил господин Венцлова: вся классическая литература – это и есть учебник протеста. Вот и все, что я могу сказать.

Ирина Щербакова: Легко ли жить со знанием того, что Земля плоская? Да пофиг нам. Мы живем, она плоская, и кому-то это мешает, что у нас по опросам немало людей разделили это мнение? Ну, и живем себе, подумаешь: что, нам нужно это знать? Но есть и другая постановка вопроса. Помните, когда наши части вошли в Германию и наши офицеры (этакие культур-офицеры) говорили: «Боже, вот в Германии надо же все возродить, Германия – это же страна просвещения, как же такое могло быть? У них же давным-давно повальная грамотность, они музыкальные все». Если мы посмотрим списки (считалось же всегда, что костяк нацистов, эсэсовцев составляли мелкие лавочники, маргиналы какие-то безработные), так вот, когда посмотрели, из кого состояло их Министерство безопасности, оказалось, что там так называемых докторов, а по нашему – кандидатов наук – две трети. И я думаю, что глубокий

смысл заключается в том, что́ понимать под этим просвещением, для чего оно вообще нужно.

Если мы уверены в том, что Земля плоская, то тут скоро и в шкурах можно начать ходить, и из этого следуют самые прямые выводы для науки. И то, что у нас происходит в отношении науки (а это ведь огромная часть просвещения), то, как с ней поступают у нас, как уничтожают фундаментальную науку, – оно скажется. Может быть, не сейчас, хотя мне кажется, что все это уже сказывается. И я считаю, что такие избитые слова, как «гуманизация сознания», обращение все-таки к человеку как к ценности – это вообще большая часть просвещения и культуры. Простите, что такие банальности говорю.

Светлана Шмелева: Прежде всего я хочу отозваться на выступление Ирины Щербаковой. Мне кажется, что интерес к диссидентскому движению возрос, по крайней мере среди людей моего поколения и поколения, которое младше. И я это связываю с тем, что в мире не всегда было гражданское образование, но сейчас, мы знаем, в разных странах это вошло в школьные программы. В России ничего и близко нет, и общество в качестве самообучения обращается именно к обсуждаемому нами времени. Действительно, если мы можем говорить о гражданственности в России в XIX веке, то дальше, казалось, не было и следа ее, и вдруг из ничего опять возникает этот гражданский дух, который я считаю истоком нашего сегодняшнего гражданского общества.

Если говорить о культуре и протесте, так или иначе заданных во второй половине XX века, то меня беспокоит, что эта культура очень протестная, она всегда отстраивается: во-первых, она всегда против, и во-вторых – делит всех на «мы» и «они». И в частности меня волнует, что в «Школе гражданского просвещения» мы изучаем оппозицию как термин и видим: оппозиция не была признана не только в советское время, но и в 1990-е годы, когда у демократов была возможность принять такой закон – именно демократы не пошли на это, потому что... Ну, это значило бы признать коммунистов, это значило бы вообще признать их легитимность какую-то в том времени. В связи с этим у меня вопрос: действительно ли та культура предполагала деление на «мы» и «они»? И как это преодолевать в сегодняшней культуре? Мне кажется, это нужно.

Александр Архангельский: Спасибо. Я вспомнил, как Александр Дани-

эль говорил однажды о 282-м законе как об отрицательном продукте вот этой логики сопротивления; он был не Путиным продавлен, а вовсе даже вышел другим путем. Может, вы оттолкнетесь от этого, ответите Светлане?

Александр Даниэль: Я могу только подтвердить, что, когда 282-я статья только формулировалась, был у нас здесь в «Мемориале» «круглый стол» вместе с разработчиками этого закона, нашими друзьями либералами и демократами. И довольно многие из нас, не я один, говорили: «Ребята, не надо». Нам отвечали: «А как же с фашизмом-то бороться? А надо же с фашизмом, елки-палки, бороться». А мы говорили: «А вот давайте-давайте, сделайте этот закон, и вас этим законом по голове бить и будут. Им, может, тоже настучат по башке, но главным образом по голове будут бить вас, нас, наших друзей». Ну, и кто оказался прав? Но относится ли это к вопросу о делении культуры на «мы» и «они» – я не уверен. Я не готов ответить на этот вопрос.

Когда-то в античности понятие «культура» обязательно подразумевало деление на «мы» и «они». Варвары, которые не понимают культуры, не понимают цивилизации и т.д.? Может быть, это вообще свойство культуры – любой культуры – делить людей на «мы» и «они», а может быть, все-таки... Не знаю, я размышляю, я не готов ответить. Может быть, все-таки людей так делят субкультуры? Не знаю, не знаю. Не готов ответить. Может, кто-нибудь еще из участников «круглого стола» может...

Дмитрий Зубарев: Одновременно с дискуссией в «Мемориале» среди либералов по поводу этого закона в журнале «Москва» шла такая дискуссия православных консерваторов. И там радикалы православные националистические возмущались этим законом и говорили, что «нельзя будет употреблять слово “жид” и за слово “жид” будут сажать в тюрьму». А редактор журнала «Москва», либеральный монархист Леонид Бородин, бывший дважды политэком, был принципиальным сторонником этого закона. «Насчет “жида”, – говорит, – нужно нам просто знать, в какой аудитории можно, а в какой нельзя, но зато по этому закону мы посадим Новодворскую».

Александр Даниэль: Леонид Иванович был неглупый человек...

Александр Архангельский: Да, Леонид Иванович был сложный человек...

Александр Даниэль: ...и, кстати, талантливый писатель.

Александр Архангельский: И талантливый писатель. Человек упрямый, но точно, что не либеральный. Честный кристально – да, либеральный – нет. Я с ним несколько раз разговаривал – это такие долгие были разговоры: следов либерализма я там не обнаружил.

Но по поводу законов и по поводу культуры деления – это же продолжается. Сколько я своим православным друзьям говорил: «Не соглашайтесь на закон о защите чувств верующих. Вы же потом этим законом будете похоронены, когда придет время», – но нет. Ну, что делать...

Есть ли еще вопросы, выступления, высказывания?

Андрей Гросс: Я хотел бы немножко отозваться на точку зрения Томаса Венцлова и Александра Даниэля насчет интруктурного и экстраструктурного диссидентства. Мне кажется, эта схема абсолютно неприменима к российскому диссидентству, в данном случае в первую очередь к правозащитникам, потому что среди российских диссидентов было абсолютно распространенным мнение об отграниченности себя от так называемой либеральной интеллигенции. Александр Есенин-Вольпин последних называл «сиятельными»: «Вот если сиятельные подпишут текст...» И эта социальная разграниченность воспринималась вполне серьезно.

Теперь насчет того, какой контекст – литературный, исторический – их воспитал, породил. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, Кронид Любарский в 1970-е годы то ли в открытом письме, то ли в самиздатской статье говорил о том, что «не они наследники Чернышевского, Герцена и декабристов – мы наследники Чернышевского, Герцена и декабристов». И здесь, кажется, нет смысла говорить, как диссидентов воспринимали и как они сами себя воспринимали. Татьяна Михайловна Хромова мне рассказывала, как офицер КГБ, сидевший рядом с ней в самолете, когда она летела в ссылку к мужу, назвал ее женой декабриста. Если говорить серьезно о диссидентстве, то можно сказать, что советское диссидентство – это довольно прямолинейные этические оценки и прямое политическое действие. Какие-то скрытые политические мотивы им не особенно были присущи. Поэтому «Левиафан» Звягинцева – это не диссидентство. Диссидентство – это, как говорил Арсений Рогинский, «символический поступок», «внутреннее благо», не внешнее. И скорее всего Алексей Навальный ближе к диссидентам, чем... Хотя это тоже спорно.

Александр Даниэль: Ну, Андрей, я категорически не согласен с вами по взгляду на ту среду, которую вы называете «диссидентами», хотя отдельные персонажи этого сообщества могли такое говорить. Но, думаю, что, даже говоря такое, они сами были сложнее своих формул. В чем я точно уверен, это в том, что Кронид Аркадьевич Любарский – человек весьма культурный, образованный и тонкий – точно не поставил бы в один ряд имена Чернышевского и Герцена. Может, Чернышевский в этом перечне у вас всплыл случайно, надо проверить цитату.

Я по существу очень и очень не согласен. Диссиденты – те, кого принято как бы включать в обойму, – были сложнее, интереснее, противоречивее, чем та схема, которую вы предлагаете нам рассматривать. Даже типологически усредненный диссидент – это вообще нонсенс: диссидент не может быть усреднен, не поддается этой математической операции.

Ирина Щербакова: Мы не договорились (это очень трудно определить), кто такие диссиденты, кто такие правозащитники. Представлять это как какую-то узкую объединенную касту, как это может показаться сейчас человеку другого поколения, когда он смотрит какие-то архивы, читает какие-то воспоминания? Но это же не большевистская партия все-таки. Тут возникает некоторая путаница между узким ядром правозащитного движения, которое ставит перед собой очень конкретные задачи и этим конкретным задачам посвящает свою деятельность, работает в подполье... Я же не случайно о Галиче сказала: так просто не определишь, кто он был, Галич. Можно же сказать...

Александр Даниэль: ...уж точно «сиятельный», да?

Ирина Щербакова: Ну, конечно. И поэтому очень трудно определить, это то, о чем Томас Венцлова говорил. Если вернуться к этой теме, то надо вспомнить, что было и как люди жили в то время. И правильнее, наверное, говорить об (тоже слово не очень), об «инакомыслии». Благодаря культуре возник тогда широкий контекст разных людей, и вот тут как раз тема «мы» и «они» – вопрос очень интересный. Люди читали. И перестройка так бы не произошла, как она произошла. Ведь было огромное-огромное множество людей самых разных, менявших свое сознание в эти годы под воздействием самых разных культурных событий, даже одной какой-то книги, которая

попала к ним и совершенно перевернула все представления. И это можно проследить по потоку читательских писем по поводу публикаций, начиная с романа «Не хлебом единым» Дудинцева, который сейчас трудно читать – кажется, что это такая плоская книга. Что это вызывало в людях, на что они откликались, как они потом постепенно меняли свои представления о культуре и свой язык? Мы мало говорили об этом, а ведь очень важно, как в культурном контексте менялись формы, как менялись восприятия. Важно понимать, как люди в 1955 году воспринимали искусство и каким бы им показался акционизм, к которому в результате пришли к 1970-м. Так, мне кажется, не сузишь это все.

Борис Равдин: Я хотел бы продолжить момент несогласия и остановиться на том, о чем говорил когда-то Валентин Михайлович Гефтер. Он что сделал? Он выразил некоторое непонимание того, что, собственно, называть словом «диссидент», говоря, что вот и эти – не то диссиденты, не то не диссиденты, и те, и другие... Достаточно хорошую в каком-то смысле схему нам предложила классическая книга Людмилы Михайловны Алексеевой, где есть некоторая центральная ее часть – правозащитное движение, и есть связанные с правозащитной частью, но часто не связанные друг с другом разные прочие вещи: национальные движения, религиозные движения, движение за отъезд... Это вполне продуктивная, видимо, схема – искать ядро, для которого в большей степени характерны признаки, и дальше – ядра периферии и периферии каждого из ядер. Ждать, что будет жесткая тема и все будут похожи друг на друга, было бы странно.

Та схема, которая была нарисована относительно Литвы с внутрисистемными, внесистемными, где, как Томас упоминал, при этом противоречия, постоянные перебранки, взаимное недоверие, – она характерна, вообще-то говоря, для любой постсоветской республики, для любой постсоциалистической страны, насколько я об этом могу судить. Мы нигде не видим жестких граней, мы везде видим людей, которых вытолкнули в подполье: не они ушли, не они рвали социальные связи, не Сергей Адамович Ковалев захотел перестать работать ученым: его туда вообще-то выгнали. Социальные связи рвались извне, а какие-то сохранялись: те, что давали переводы, те, что давали подработать, те, что помогали деньгами, те, что помогали перепечатывать, и те, кто читал, – не бывает самиздата без аудитории, и это тоже периферийные участники.

Было ли напряжение между теми, кто держался жесткого морального кодекса, и теми, кто шел на компромиссы? Конечно, было. Но это не отменяет сотрудничества. И если мы посмотрим на реальный самиздат – это не только жесткая публицистика. Это и очень серьезные дискуссии, где люди были друг с другом не согласны; это очень разные идеологические направления даже в рамках относительно какого-то правозащитного ядра... А попытки заниматься академическими исследованиями? Вот упоминавшиеся сегодня естественным образом сборники «Память» – это что такое? Это существование на границе... Поэтому я бы в этом смысле категорически не согласился с Андреем Гроссом.

При этом я бы дал очень маленький комментарий к тому, что сказал Александр Даниэль. Да, я согласен с тем, что культура требует несвободы, потому что культура не может существовать иначе, как борьба с несвободой: чтобы бороться нужна несвобода. Но это может быть разная несвобода, она не обязательно политическая: это может быть несвобода эстетическая и т.д. То, о чем нам говорил Дмитрий Зубарев, – это всего лишь умножение канонов, умножение возможных точек зрения. Не отрицающих, кстати, просвещение: это всего лишь про борьбу с единообразием канона. Это еще один вариант протеста против, который порождает один вариант культуры, а протест – протест против другого.

Александр Архангельский: Спасибо, Борис. Александр, очень кратко...

Александр Даниэль: Короткая реплика. Конечно, хочется еще продолжать лупить Андрея Гросса, но это и без меня уже делается. Я хочу возразить скорее единомышленникам своим.

Возражение Ирине Щербаковой. Да не было никакого жесткого ядра и никакого подполья, по крайней мере в России. И не было, самое главное, никаких целей. Вот что характерно для того российского столичного протестного движения, которое принято называть правозащитным: у него не было внешней цели, по крайней мере начиная с 1968 года.

И возражение Борису Равдину: и не было никакого жесткого морального кодекса. Вот Подрабинек – он человек второго поколения, он уже из поколения, следующего за изначальными диссидентами. Там уже да, возникали какие-то нормативные...

Александр Архангельский: То есть ядро было.

Из зала: Можно, да? Я долго живу, потому хочу возразить, что вот, дескать, просвещение кончилось, век просвещения – может, тот, которым он был во времена Вольтера... Так и просвещение меняется... Но, по моему, без просвещения не было бы ни культуры, ни этого протестного движения, ничего на свете. Как пример могу привести эпизод: когда Александр Исаевич Солженицын пришел к Анне Андреевне Ахматовой и спросил ее: «Скажите, а как вам моя книга “Один день Ивана Денисовича”?», – Анна Андреевна сказала: «Я считаю, что эту книгу должны прочитать 250 миллионов». Нас тогда было именно столько в стране. Поэтому просвещение во всех смыслах и во всех поколениях неизбежно. Но, к сожалению, его очень мало и его как-то так затаптывает наше государство, а мы этому сопротивляемся еще очень мало.

Томас Венцлова: Я хочу сказать, что согласен с Александром Юльевичем в том, что между легальной и нелегальной культурой нет границы, во всяком случае резкой. Но, правда, для этого и одна и другая должны быть именно культурой, а бывает и иначе.

И еще одно. То, что обычно сами участники какого-нибудь процесса плохо его понимают. Это становится видно, как тут было сказано, либо с Марса, либо с большого исторического расстояния, да и то не всегда.

Александр Архангельский: Спасибо.

Из зала: Меня зовут Надя Пантюлина. У меня естественнонаучное образование, и я могу ответить на вопрос о «мы» и «они». Вот мы с вами все люди, и нам свойственно – от природы – делить нас всех на «мы» и «они». И чем скуднее наш с вами опыт, опыт жизни, тем чаще и сильнее мы всех остальных – с другим цветом кожи, не знаю, там, с другим лексиконом и прочее, – выделяем в «они». У нас есть только культурные механизмы, чтобы относиться к этому «другому» как к равному. Других механизмов – от природы – нет, только культурные.

Александр Архангельский: Спасибо огромное за этот разговор. Я сказал бы, вывод простой: полюса есть, а границы, точки перехода – нет. Мы не знаем, в какой момент человек из зоны легальной окончательно переходит в зону сопротивления – нелегальную: когда он перешел границу, но еще не знает. Но полюса – есть.

Спасибо всем большое. Завтра рабочий день.

30 марта 2019 года

Второй день

ДИССИДЕНТЫ:

ЭПОХА

И НАСЛЕДИЕ

Диссидентство как форма общественного поведения

Елена Струкова

**Одесская библиотека самиздата Вячеслава Игрунова
и мастерская народных промыслов Авраама Шифрина**

В 1998 году в фонд Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России поступила коллекция самиздата, в основном состоящая из фотопленок. Некоторые материалы были отпечатаны фотоспособом, несколько книг опубликовано за рубежом. Хронологически коллекция складывалась где-то приблизительно с середины 1960-х до начала 1980-х годов. «В этом архивном великолепии выделялся томик «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына. Он был отпечатан на фотобумаге и вложен в маленькую картонную коробочку, обтянутую серым холстом. На холст была приклеена черно-белая фотография писателя»¹.

Это были материалы Одесской библиотеки самиздата, основанной в середине 1960-х годов участниками молодежного марксистского кружка. По имени лидера группы, в будущем известного российского политика, коллекция получила название «Библиотека Вячеслава Игрунова». По свидетельству очевидцев, собрание насчитывало до 500 наименований книг, брошюр, периодических изданий. Была разработана строгая система конспирации, и основной архив, отпечатанный с фотопленок, хранился в надежном месте. После ареста в 1981 году последнего хранителя библиотеки Петра Бутова собрание считалось утраченным².

¹ Струкова Е.Н. Дело об одесской библиотеке самиздата // Библиография. 2012. № 2. С. 50.

² Подробнее об истории библиотеки см.: Игрунов В.В. Одесская библиотека самиздата, 1967–1982 // Игрунов Ру: [персональный сайт]. 2005. Июль–август. (url.: https://web.archive.org/web/20180709161921/http://igrunov.ru/cv/odessa/dissident_od/samizdat/1123138219.html). Дата обращения 3 июля 2019 г.; Струкова Е.Н. Дело об одесской библиотеке самиздата... С. 50–59.

Было ли это собрание личным или общественным – вопрос достаточно сложный. На проблему идентификации коллекций нелегальной литературы второй половины XX века впервые обратил внимание А.А. Макаров в статье «От личной коллекции самиздата к общественной библиотеке. Трудности границ и дефиниций», которая была опубликована в 2012 году в пилотном номере альманаха «Acta samizdatica»³.

Исследователи самиздата знают, сколь сложен вопрос о том, что же такое самиздат и каковы его хронологические рамки. Яростные дебаты на эту тему не прекращаются и по сей день. На мой взгляд, лучший анализ известных на сегодня точек зрения на эту проблему был проведен в монографии Е.Н. Савенко «Свободное слово Сибири»⁴.

Отметим, что о самом явлении – распространении нелегальных текстов в Советском Союзе во второй половине XX века – написано много работ. Публикации воспоминаний в печатном и электронном форматах достаточно подробно описывают схемы тиражирования и распространения, а также тематику изданий. Однако об экономической составляющей производства и распространения самиздата сведения чрезвычайно скудны. Между тем без наличия пусть и весьма скудного финансирования процесс нелегального производства и обмена литературой был бы невозможен. Не умаляя значения идеологии, попробуем разобраться, как работал механизм одесской библиотеки самиздата в первые годы ее существования.

Основной источник для этого исследования – воспоминания участников и очевидцев, опубликованные на персональном сайте Вячеслава Игрунова⁵, а также книга «Четвертое измерение» Авраама Шифрина⁶, который и основал в 1960-е годы в Одессе «небольшое предприятие».

Итак, в 1966 году в Одессу приезжает Авраам Шифрин. В отличие от главных героев истории о библиотеке самиздата – Вячеслава Игрунова и его друзей – он к этому времени уже немолод. В прошлом остался штрафбат Великой Отечественной, работа следователем, обвинение в шпионаже и смертный приговор, замененный впослед-

³ Макаров А.А. От личной коллекции самиздата к общественной библиотеке. Трудности границ и дефиниций // Acta samizdatica / Записки о самиздате. 2012. Пилотный вып. С. 24-35.

⁴ Савенко Е.Н. Свободное слово : Очерки истории самиздата Сибири (1920–1980). Новосибирск. 2017. С. 14-38.

⁵ Игрунов Ру: [персональный сайт]. Б.д. (url.: <https://web.archive.org/web/20180919075224/http://igrunov.ru/cat/vchk-cat-bibl/>). Дата обращения 3 июля 2019 г.

⁶ Шифрин А.И. Четвертое измерение. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1973. 452 с.

ствии на сталинские лагеря и последующую ссылку. Впереди его ждал выезд в Израиль, что и произошло летом 1970 года.

Авраам Шифрин – личность уникальная. Убежденный сионист, первый переводчик на русский язык романа Леона Юриса «Экзодус», который он делал тайно, отбывая срок в Дубравлаге. В автобиографическом романе Авраама Шифрина «Четвертое измерение» описана фантастическая история передачи на волю текста, переписанного «тридцатью почерками».

Шифрин не вписывался ни в один стереотип – сиониста ли, диссидента или антисоветчика. В его самобытной философской системе нашлось место йоге, астрологии, хиромантии, ясновидению.

Приезд Шифрина в Одессу – сюжет для авантюрного романа. Он блестяще описан им в уже упомянутой автобиографической повести.

Отправная точка – Днепропетровск, куда Авраам Шифрин переезжает из казахстанской ссылки. Здесь за ним идет слежка буквально по пятам. И Авраам Шифрин предпринимает отчаянный шаг: «...я решил переехать в Одессу <...> Но помня, как четко работает мое сопровождение КГБ, и понимая, что с этим “хвостом” я в Одессе не смогу получить разрешения милиции на прописку, на право жить в городе у границы, я принял необходимые меры. На работе я всем сказал, что еду жить в Ригу, отправил туда багаж, а сам вышел “погулять” в парк, уехал в соседний город, а оттуда улетел без “хвоста” в Одессу. Там я пошел к друзьям и посоветовался о возможности устроиться»⁷.

Четыре неполных года Авраам Шифрин прожил в Одессе. И за это время в городе произошли некоторые события, без которых история одесской библиотеки самиздата сложилась бы по-другому.

Из книги «Четвертое измерение»: «Начав жить в Одессе, я сразу же внутренне привязался к этому городу. Есть в нем что-то одновременно уютное и непровинциальное. И в одесситах есть какая-то симпатичность южан, скрашивающая даже их отрицательные стороны <...> Город оказался переполненным еврейской молодежью: не так просто выгнать одессита из Одессы, даже не давая ему учиться в университете и всячески мешая его продвижению по работе»⁸.

Авраам Шифрин устраивается на работу. По специальности, юристом, он работать не хочет, так как ждет разрешения на выезд. Поэтому он предлагает свои услуги в качестве столяра-краснодеревщика в трес-

⁷ Там же. С. 433.

⁸ Там же. С. 434-435.

те, выпускающем сувениры. Его принимают на работу и поручают организовать мастерскую деревянных сувениров.

Авраам Шифрин умело налаживает не только перспективное производство, но и, как впоследствии выяснилось, скрытую финансовую схему, при которой у него остается достаточно значительная сумма. Часть денежных средств он отправляет в Москву на нужды сионистов, а часть оставляет себе на производство самиздата⁹.

Что здесь важно: Шифрин, конечно, использует незаконные финансовые схемы, но он осторожен. Однако эта осторожность не мешает ему организовывать семинары по ивриту для молодежи в заливе Каролино-Бугаз, вербовать в качестве агента Сохнута редактора областного одесского телевидения Юзефа Эрлиха и т.д.¹⁰

«Одним из первых наших дел – помимо дальнейшего печатания «Эксодуса» – было распространение книг Владимира Жаботинского. Ведь он был одесситом, ходил по этим улицам, жил в шумных домах с проходными двориками, купался в этом же море. Но не поэтому был нам близок и дорог Жаботинский: его мысли и труды не старели!»¹¹

Авраам Шифрин знакомил одесскую молодежь и с эзотерической литературой, и с антисоветскими произведениями. Вряд ли он ставил целью создание библиотеки самиздата как целостной коллекции, но мастерская стала не только местом работы, но и местом обмена самиздатом.

Среди молодых одесситов, работавших в мастерской или время от времени ее посещавших, были Анатолий Альтман (в 1970 году осужденный по «самолетному делу»), поэт Исай Авербух и его брат Игорь, учитель русского языка и литературы Исидор Гольденберг, познакомивший впоследствии Вячеслава Игрунова с Авраамом Шифриным¹².

В августе 1970 года Авраам Шифрин навсегда покинул СССР, оставив после себя нехитрую схему утечки финансовых средств из одесской мастерской по производству деревянных сувениров и коллекцию книг, напечатанных в самиздате.

Тем временем события в приморском городе продолжали развиваться и вне зависимости от активной деятельности Авраама Шифрина.

⁹ Игрунов В.В. Об экономике, о мастерской и культуре // Игрунов Ру: [персональный сайт]. Б.д. (url.: <https://web.archive.org/web/20170613003930/http://igrunov.ru/cv/vchk-cv-memotalks/talks/vchk-cv-memotalks-talks-masterskaya.html>). Дата обращения 3 июля 2019 г.

¹⁰ Подробнее см.: Шифрин А.И. Четвертое измерение. С. 432-445.

¹¹ Там же. С. 435.

¹² Игрунов В.В. Указ. соч.

Одесские старшекласники, «обдумывающие житье», искали ответы на вечные вопросы: они много читали и, собираясь в компании, спорили, обсуждая прочитанное.

В 1965 году Вячеслав Игрунов и его друзья Николай Базилев, Анатолий Гланц и Людмила Бабий уже создали подпольную марксистскую группу. Постепенно группа начала заниматься распространением самиздата. Получение большого потока литературы из Москвы требовало постоянных и систематических затрат.

И вот удача!

В 1970 году, после того как Авраам Шифрин получил долгожданную израильскую визу, начальником производства в мастерской стал Исидор Моисеевич Гольденберг. Игрунов и его друзья понятия не имели, куда исчезают солидные денежные суммы, но несправедливость их возмутила. Когда работой мастерской руководил Шифрин, Вячеслав не участвовал в этом предприятии, поскольку, по его собственному выражению, там была чистая «обираловка»¹³.

К тому же к началу 1970 года молодые одесситы окончательно разочаровались в марксизме и увлеклись либеральными экономическими теориями. «Дело в том, что свою программу экономических реформ я продумывал в 69–72-м годах. Это было время, когда я думал о том, как можно трансформировать советскую экономику <...> Неэффективность советской экономики была для нас очевидна с самого начала», – писал Игрунов¹⁴.

В яростных спорах об экономической справедливости филолог, знаток русской литературы и убежденный сионист Исидор Моисеевич Гольденберг потерпел сокрушительное поражение и уступил натиску молодых либералов.

Один из диспутов, происходивших между Вячеславом и Гольденбергом, колоритно описан в очерке В. Игрунова «Об экономике, о мастерской и культуре»: «Я говорю: Исидор Моисеич, ну вот мы же с Вами уже давно договорились об экономических концепциях, мы это уже все обсуждали. Он говорит: да, с Вашей теорией я согласен и готов следовать за Вами в теории, но – это жизнь! Она отличается от теории. – Исидор Моисеич, либо теория плохая, если она не отражает жизнь, либо Вы не правы. Он говорит: нет, теория хорошая, но я прав». Короче говоря, мы с Исидором Моисеичем не

¹³ Там же.

¹⁴ Там же.

нашли общего языка. Раз он там что-то скрывает, что-то прячет, я ушел от Гольденберга и не стал с ним работать»¹⁵. Скрывал и прятал Исидор Моисеевич, как мы понимаем, финансирование московских сионистов.

В результате возникшего конфликта Гольденберг вынужден был уйти из мастерской. За долги друзья выставили ему счет на фантастическую по тем временам сумму в 540 рублей. Исидор Моисеевич деньги вернул и больше не появлялся. Расставание не было дружеским. Вспоминая эти события, Игрунов пишет: «Мне стыдно по сегодняшний день за это. Мне нужно извиниться перед ним. Я долгие годы ищу его в Израиле, чтобы извиниться перед ним, и не могу найти. Я опросил всех людей вплоть до правительства. Я встречался с высокопоставленными людьми из правительства Израиля – впустую»¹⁶.

События в 1971–1972 годах развивались стремительно. В первый же месяц блестящие экономические начинания разбились о суровую действительность, и мастерская не выполнила никаких намеченных планов, зарплаты не было. При капитализме это можно было бы называть банкротством.

Обратимся к свидетельству Игрунова: «Не хотели люди работать. Приходили, отработывали один день, получали деньги и исчезали. Возвращались, когда опять была у них потребность в деньгах. “Сазонов за один день зарабатывает 40 рублей и исчезает. Все! Ему больше не надо! Ему надо было 40 рублей! Он их заработал и исчез, а все сидят с высунутыми языками”, – сокрушался новый начальник производства»¹⁷.

Несмотря на полную безответственность работников, начальнику цеха все же удавалось часть доходов отчислять на «репродуцирование» книг для одесской библиотеки самиздата.

Мастерская просуществовала до середины 1973 года. Сувенирная продукция была разнообразной: кулоны, канделябры, коробочки и т.п. В. Игрунов пишет, что работник мастерской мог заработать за месяц до 600 рублей, однако средняя зарплата составляла 120–200 рублей. Закрывание мастерской и крах либеральных экономических теорий произошли по причинам как внутренним (отсутствие хоть какой-то дисциплины), так и внешним.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же.

В поле зрения КГБ мастерская, по-видимому, попала еще в период, когда ею руководил Авраам Шифрин. Под видом различных инспекций (противопожарных, по обеспечению техники безопасности и т.п.) в помещении то и дело проводились обыски. Искали, естественно, запрещенную литературу.

В итоге под предлогом несоответствия нормам безопасности или несоблюдения санитарно-гигиенических норм помещение цеха было опечатано¹⁸.

Итак, мастерская существовала с 1966 по 1974 год. Из них четыре года ею руководил Авраам Шифрин, а два с половиной – Вячеслав Игрунов и его молодые коллеги.

Примечательно, что инспекторы от КГБ искали самиздат. Незаконная схема оборота финансовых средств, лежавшая на поверхности, их не интересовала.

Чем показателен пример одесской мастерской?

У нас крайне мало свидетельств о том, как работала подпольная экономика в СССР. А это важно. Тем более экономика, направленная на тиражирование самиздата, поддержку оппозиционных движений (в данном случае – движения за выезд в Израиль). Когда мы говорим об инакомыслии в СССР, то в первую очередь имеем в виду инакомыслие политическое. И это верно. Но экономическая составляющая была и остается важной стороной диссидентства как формы общественной деятельности.

¹⁸ Бутов П.А. Воспоминания об одесских диссидентах. Ч. 5 // Игрунов Ру: [персональный сайт]. Б.д. ([url.:http://igrunov.ru/cv/odessa/dissident_od/samizdat/1115143367.html](http://igrunov.ru/cv/odessa/dissident_od/samizdat/1115143367.html)). Дата обращения 3 июля 2019 г.

Габриэль Суперфин

Наш Тарту

Мы – это студенты, приехавшие учиться в Тарту из разных городов СССР. Предыстория такова: из-за систематического недобора на отделение русского языка и литературы историко-филологического факультета Тартуского университета, кроме абитуриентов – жителей Эстонии, было позволено в 1962 году принять на учебу приехавших из других советских республик без сдачи вступительного экзамена по эстонскому языку, до того обязательного. В основном это были юноши и девушки, не прошедшие на филфак Ленинградского университета по «пятому пункту». В этот «ленинградский поток» входил Рогинский и еще несколько человек, которые организовались в дружескую компанию.

Я поступил в Тарту через два года, в 1964-м.

Мы... я позволяю о своих впечатлениях, воспоминаниях говорить так, как будто они принадлежат всем нам, включенным в это самое «мы».

Про эстонцев, в соответствии со стереотипами, распространенными между москвичами и ленинградцами, мы думали, что они ненавидят русских, евреев и только делают вид, что не знают русский язык. Русский на улицах действительно практически не знали. А студенты-эстонцы, которые учились с нами вместе, оказалось, знали русский язык – от очень хорошего до среднего уровня. И почему так? Потому что они все были сибирские эстонцы. Сибирские не потому, что вышли из каких-то старожильческих эстонских сибирских поселений, – они были из семей ссыльных эстонцев. Так мы узнали, что есть республики Советского Союза, которые пострадали во времена Сталина в результате массовых депортаций (само слово «депортация» мы тогда не использовали).

Возможно, Рогинский про репрессии знал лучше, поскольку имел свою семейную историю. Я не помню, рассказывал ли он о ней или нет. И вообще я не помню, чтобы нас сильно волновали какие-то внешне научные проблемы. Хорошо, правда, помню, что мы уже не любили советскую власть.

Наше отношение к эстонцам, усвоенное без внутреннего сопротивления, как само собой разумеющееся: они хозяева этой земли. Они имеют больше прав, чем мы, гости. Более того, они имеют право на самостоятельность. Это как-то даже нами не обсуждалось. От нас

требовалось лишь одно: мы должны учить их язык. Разумеется, за нами оставалось право любить их или не любить, посмеиваться над правилами их поведения – нас раздражала фраза местных начальников, от университетских до республиканских (с российскими мы столкнулись гораздо позже): «так не полагается». Кто это придумал, что полагается, а что не полагается? А эти слова звучали там повсеместно. А мы для них: приехала орава людей, которые не умеют себя вести, которые, как бы исполняя эстонские обычаи, устраивают уличные шествия в день святой Катерины в конце ноября. У эстонцев этот праздник отмечали более скрытно, а приехавшие русские – открыто и с чертами публичного шутовства, полагающегося студентам старого Дерпта.

Познакомившись и подружившись со студентами отделения, мы узнали, например, о проблемах венгерского населения на территории Советского Союза, в районах Закарпатья, которые практически поголовно состоят из венгров. Узнали о проблемах борьбы за культурную автономию венгров, проблемах финско-угорских народов в СССР.

Между нами и эстонцами, тем не менее, были какие-то границы в отношениях. Ну, как обычно, если ты включен в жизнь сообщества, состоящего из людей разных национальностей, ты стараешься обходить стороной какие-то темы, округлять поставленные вопросы и т.д. А то, что сейчас называется консенсус, наступило в 1968 году (Рогинский тогда уже закончил учебу) – это Чехословакия, оккупация. Тогда вдруг оказалось, что и мы, и эстонцы чувствуем себя солидарно виновными. Впервые тогда я почувствовал взаимопонимание между мной-неэстонцем и эстонцами, настоящими эстонцами, к которым раньше мы несколько иронично относились, потому что (это всегда нас удивляло в Эстонии) для них было не зазорно строить карьеру. Безразлично, вступая в КПСС, в комсомол – для них это нормальное вращение в социум, для нас понятие карьеры – отрицательная коннотация.

А вообще мы до 1967–1968 года были одержимы научной работой, раскопками в архивах, в спецхранах. Скажем, Сеня искал по спецхранам работу Георгия Владимировича Вернадского об Уставной грамоте – проект конституции, разрабатываемой по заказу императора Александра I (Государственная Уставная грамота Российской империи 1820. Историко-юридический очерк. Прага, 1925), а я там просто читал книги. Параллельно мы знакомились не только с эстонцами,

но и с потомками эмигрантов из советской России первой волны (а позднее, уже после отъезда Сени, и с беженцами из-под Ленинграда военного времени), с русскими-старожилами, старообрядцами Причудья. (Среди наших сокурсников-друзей были и дети приехавших после 1945 года медиков, ученых, технарей, военных, чекистов. Дружили мы с моей однокурсницей родом из псковских дворян, позже у нас училась внучка русского профессора-эмигранта, специалиста по нацменьшинствам.)

Мы ездили с Сеней к старообрядцам, отчасти хотели заработать на перекупке книг: купить у них и везти купленное в Ленинград в букинистический магазин. Ничего не получилось. Мы не нашли взаимной суммы, небольшой даже по тем временам, чтобы купить содержимое огромного шкафа в домашней библиотеке покойного местного учителя в одной из причудских деревень, где, помню, стояли в роскошных переплетах тома Ницше, Владимира Соловьева (вдруг попутно вспомнил, как вспыхнуло лицо нашего преподавателя Рихарда Клейса, сохранившего военную выправку и ходившего по морозу без рукавиц, – «Вы знаете Владимира Соловьева?!»)

Из общения со старообрядцами запомнилось, как мы идем по деревне, нас нагоняет телега, запряженная одной лошадью, на телеге сидит мужик с огромной бородой. Увидев нас издалека, поднял два пальца и громко, ясно произнес: «Жиды!» Вот, издалека.

И потом мы попали к одному человеку в окрестностях Тарту, про которого мы слышали, что у него какие-то русские книги есть, эмигрантские (фамилия его – Эйхенбаум). И он не пускал нас, а потом, когда мы сказали: «Ну хотя бы одним глазком посмотреть», вдруг это «одним глазком» сыграло роль пароля, и он нас пустил на чердак, и это было собрание пражских изданий. И мы взяли это, я не помню – заплатили или нет. Помнится чтение романа Евгения Ляцкого «Тундра», «Умирание искусств» Владимира Вейдле.

Ну и, конечно, спецхран.

Среди наших преподавателей был один, который дружил еще с Игорем Северяниным.

В Тарту был дом, который стал нашим убежищем, – мы же были голодные, без домашнего уюта, а Сеня часто еще и без общежития. Он пропустил год учебы, работал на стройке. И вот был дом, где нас привечали, а Сеня, нуждавшийся в тепле, привязался к этому дому, к его хозяйке Дине Борисовне Габович (через год она умерла). Там и кормили, и поили, и на ночлег оставляли. И в том доме, я помню, ле-

жал альбом тоже когда-то преподавателя университета, автора Русско-эстонского словаря Бориса Васильевича Правдина, входившего в круг поэтов 1920-х годов, в этом альбоме были и записи Северянина. Потом этот альбом исчез. И до сих пор он, кажется, не найден.

Вот несколько источников, как бы создававших наш Тарту.

Возвращусь к нашим академическим занятиям.

В 1964–1967 годах, по-моему, не только я, но и Сеня увлекся историей кадетской партии, историей либерализма в России. Для Сени это было продолжением старой темы – конституционные проекты декабристов и их современников. Эти интересы шли параллельно с событиями в современном советском обществе, связанными с политическими процессами и реакцией на них в кругах интеллигенции.

Что касается самиздата, я помню лишь какие-то детали. На нас с Рогинским произвела большое впечатление рукопись, прочитанная в Москве в доме Людмилы Поликовской «Как я искал английского шпиона Сиднея Рейли» Револьта Пименова, помните? [Из зала: «Да».] Очень увлекшая нас статья, где выстраивалась концепция, что Рейли был советским шпионом. Совершенно бессмысленная, но хотелось в это верить, почти как в то, что Сталин убил Кирова и был агентом охраны.

Это как бы был мой первый самиздат в тартуские годы. Может быть, был и другой, но я его не помню. Нет, вспомнил, но еще до Тарту: стихи Юры Гельперина «Где Крыленко? Где Дыбенко? Где Антонов-Овсеенко...» – по тексту письма Федора Раскольникова к Сталину. Да, но так уверенно я помню только Пименова, а потом Марченко – машинопись, которую не я привез из Москвы. И наша дружба с Горбаневской была уже не годовична, и, помню, с Сеней мы просто ходили к ней поправки давать в «Хронику», под прослушку не боялись говорить, просто не думали, что такие здесь вещи есть, как прослушка. Здесь, конечно, немножко мифологизация. Но вот чтение тамиздата – это благодаря Тарту, близости Риги. В первый же день по приезде в Тарту у Габовича в доме (меня потащил к ним знакомиться тогда студент-старшекурсник Светлан Семененко, наверное, первый студент в СССР, кто писал курсовую работу о Цветаевой, в 1964 году!) я прочел «Волга впадает в Каспийское море» Пильняка, рижское издание.

Вот, пожалуй, и все, о чем я хотел рассказать.

Ирина Флиге: У Вас, Габриэль, по регламенту осталось еще четыре минуты. Может быть, расскажете еще что-нибудь?

Г.С.: Ну, вот здесь сейчас Томас Венцлова. Он был, по-моему, первым в Тарту появившимся гостем, до Горбаневской.

Томас Венцлова: Я тогда приехал из Литвы. Именно потому, что услышал, что у вас происходит что-то интересное. Но у меня вопрос и комментарий. Вопрос: много ли русских ребят выучили эстонский и в какой мере?

Г.С.: Ну, я не могу точно сказать... Сеня помнил несколько выражений по-эстонски еще недавно.

Т.В.: Позвольте комментарий по поводу того, что эстонцы, так же, как литовцы и, видимо, латыши, хотя о них я меньше знаю, делали партийную карьеру и считали это не только нормальным, но и обязательным. Дело в том, что было понятие социализма с человеческим лицом, на что, кстати, Алик Гинзбург сказал, что это примерно то же самое, что крокодил с человеческим лицом. Но у нас это трансформировалось: социализм должен был быть с литовским лицом или с эстонским, и предполагалось, что это и есть человеческое лицо, что было неверно, потому что часто тот, кто делал карьеру, превращался в такого же держиморду, только хуже, потому что он лучше разбирался в ситуации. Вот, так сказать, комментарий.

Александр Даниэль: Пожалуй, и у меня есть комментарий. Гарик такую картинку нарисовал, какие он и его друзья белые и пушистые и совсем погруженные в академические штудии, но только в конце упомянул о встречах с Наташей Горбаневской. А я вспоминаю, как я впервые услышал о существовании Габриэля Гавриловича Суперфина. Я приехал в июле 1968 года в город Тарту, и одно из первых, что я сделал в городе Тарту, – это навестил там бывшего сокамерника своего отца Марта Никлуса, который незадолго до этого освободился. А я с ним не был знаком: он миновал Москву, когда возвращался из лагеря. И когда я пришел к Марту и мы с ним начали разговаривать, он мне произнес следующее: «Тут недавно у меня были два молодых человека – Габриэль Гаврилович Суперфин и Арсений Борисович Рогинский». Я эти оба имени слышал впервые, но запомнил. Может быть, из-за необычности сочетания «Габриэль Гаврилович», но как-то уже заодно и Рогинский запомнился. И когда я уже через пару недель познакомился с Арсением, а еще через пару недель с тобой, Гарик, тут у меня все это и сложилось. То есть не такие это были безобидные академические отроки, я хочу сказать, которые только единственное что читали – самиздат, пименовского «Как я искал шпиона Рейли». Не только, не только... Если люди приходят

знакомиться с бывшим политзаключенным, только что освободившимся из лагеря, это немножко меняет картинку, по-моему. Ну, ты помнишь, что ты ходил знакомиться?

Г.С.: Если все это раскручивать, то, по-видимому, Горбаневская попросила нас познакомиться с Мартом, чтобы удостовериться, что он прибыл, и дал информацию о лагере. Но я взял у него книжку читать на эстонском. Напомню, что это было время, когда уже тема лагеря, репрессий сталинских убывала, стала вне. А в Эстонии вышла книжка про жизнь ссыльных эстонцев, депортированных. Я взял у Марта это, прочитал и не вернул, а он послал кого-то в общежитие взять эту книжку. Вот такие были знакомства.

Попутно хочется вспомнить любимый рассказ эстонцев того времени: по радио утренняя какая-то передача, в которой популярный артист вспоминал лучший день своей жизни. Ему снилось, что он снова в лагере, – ужасно, голод, все такое, но когда он просыпается и осознает, что это было во сне, что он у себя дома, что все в прошлом, – эти утренние минуты были самыми счастливыми в его жизни. И эта передача будто была году в 1967-м, что немыслимо для советского радио того времени.

А.Д.: Не знаю, как ваше самоощущение, но мое впечатление от Тарту, когда я туда приехал, от дома Габовича, от вас с Рогинским, от дома Душечкиной – ну, гнездо отпетых диссидентов!

Дмитрий Рублев

Анархисты и «новые левые» в диссидентском движении СССР (1960-е – начало 1980-х годов)

Диссидентское движение в СССР отличалось большим идейным разнообразием, включая различные потоки, нередко даже просто противоположные по своим целям и задачам. В рамках этого многообразия идейных течений можно обнаружить анархистские и близкие им так называемые новые левые группы. Как об отдельном течении радикальной оппозиции в СССР упоминают об анархистах в своих работах и некоторые современные исследователи¹.

В СССР в рассматриваемый нами период еще оставались участники разгромленного анархистского движения, прошедшие сталинские тюрьмы, концлагеря и ссылки, но сохранившие собственные убеждения. Одна из наиболее ярких представительниц этого поколения анархистов, Зора Борисовна Гандлевская, активно участвовала в диссидентском движении. Среди ее близких друзей были А.Ю. Даниэль, В.А. Некипелов, А.Б. Рогинский². Как вспоминал А.В. Антонов-Овсеенко, часто встречавшийся с Гандлевской в 1960–1970-е годы, в то время «ее скромная комнатка в коммунальной квартире в конце Комсомольского проспекта стала одним из центров «самиздата»³. Так, например, она передала Антонову-Овсеенко на хранение фотокопии отправленной в Англию рукописи книги Р.А. Медведева «К суду истории»⁴.

Некоторые из советских диссидентов порой высказывали идеи, близкие к анархизму. Таким был М.С. Агурский. А.В. Шубин, проанализировавший его идеи, высказанные в статье «Современные общественно-экономические системы и их перспективы» (1974), определяет их как весьма близкие к анархо-коммунистической концепции П.А. Кропоткина⁵, на которого ссылается и сам Агурский. В этой статье Агурский фактически выступил как сторонник антиавторитарной социалистической модели, близкой к анархиз-

¹ См., напр.: Шубин А.В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008. С. 196, 202.

² Интервью Д.И. Рублева с С.С. Виленским. Аудиозапись. 2009 г.

³ Антонов-Овсеенко А.В. Враги народа. М., 1996. С. 273.

⁴ Там же.

⁵ Шубин А.В. Указ. соч. С. 177, 179.

му. Так, децентрализацию и диверсификацию, преодоление разрыва между физическим и умственным трудом он рассматривал как принципы организации производства в будущем обществе. Небольшие предприятия, полагал он, должны иметь такие размеры, «при которых каждый работник был бы компетентен в процессе производства и мог действительно участвовать в его управлении»⁶. Также Агурский пишет о ведущей роли общин и муниципалитетов в регулировании экономики. Отстаивал он и максимальную децентрализацию власти с сохранением некоторых полномочий за центральным государственным аппаратом. Кроме того, Агурский прогнозировал исчезновение политических партий, роль которых перейдет к организаторам самоуправления, пользующимся доверием местного населения.

В эмиграции он контактировал с участниками международного анархистского движения. Известно о визите Агурского к одному из видных испанских анархистов Луису Мерсьеру Веге⁷. В марте 1978 года Агурский принял участие в Международной исследовательской конференции «Новые хозяева», проведенной анархистами в Венеции. Ее участники рассматривали процессы становления «нового класса техно-бюрократии»⁸. Кроме того, свой интерес к анархизму Агурский выразил, обратившись к исследованию жизни и творчества И.С. Книжника-Ветрова, одного из весьма оригинальных публицистов анархистского движения в России начала XX века⁹.

Находясь в заключении в мордовских лагерях, анархистом себя осознал и бывший диссидент-марксист А.И. Романов, который, впрочем, понимал свой анархизм достаточно специфически: «Поскольку уже тогда мне стало казаться, что вопросы государственного устройства не являются самыми существенными в человеческой жизни, то, когда меня стали спрашивать, какой из точек зрения на проблему власти я сочувствую, я говорил, что считаю себя анархистом, то есть человеком, который отрицает любую власть, хотя мой тогдашний

⁶ Там же. С. 89.

⁷ См.: Агурский М.С. Самоубийство Луиса Мерсьера Веги // «22». 1978. Июнь. С. 209-218; <https://ru.theanarchistlibrary.org/library/agurskij-mihail-samuilovich-camoubijstvo-luisa-mercera-vegi.pdf> [Дата обращения 29 мая 2019 г.]

⁸ Фотография М.С. Агурского вместе с одним из организаторов конференции, итальянским анархистом А. Бертоло, недавно была опубликована М.А. Цовмой. См.: Бертоло А. Оставим пессимизм до лучших времен. Переосмысляя анархизм. М., 2018. С. 230.

⁹ См.: Agursky M. A millenarian pilgrim's progress through the russian revolution. Ivan Knizhnik-Vetrov: jew, religious anarchist, catholic, bolshevik, historian. Jerusalem, 1989.

анархизм был не чем иным, как нежеланием примыкать к какой бы то ни было партии – стойко сохранившимся на протяжении последних 25 лет»¹⁰.

С конца 1950-х годов в СССР появляются новые группы либертарных левых, которые никак не были связаны с предыдущими поколениями анархистов. Чаще всего приход их участников к идеям общественного самоуправления и безвластия был связан с разочарованием в марксизме и поиском альтернатив в рамках левого социалистического дискурса, господствовавшего в общественных науках в СССР. Часто они пытались развивать теорию анархизма начиная с нуля, по источникам, доступным в СССР. Это могли быть сочинения М. Бакунина, П. Кропоткина, Ж. Гравы, Л. Черного, а также цитаты и трактовки идей современных леворадикальных мыслителей, обнаруженные пытливыми читателями в работах советских историков и социологов. Идеология таких групп иногда представляла собой смесь марксизма и анархизма. Поэтому правильнее было бы называть участников этих групп не анархистами, а либертарными социалистами. Особенно это касается тех, кто относил себя к «новым левым». Как правило, в такие ячейки объединялись представители интеллигенции – студенты, школьники, работники науки и культуры. В 1970-е годы в их составе появляются представители субкультурных кругов.

Первая анархистская группа возникла среди студентов истфака МГУ в конце 1957 года. В ее состав входили Ю. Зубков, А.М. Иванов, В. Краснов, В.Н. Осипов, Ю. Сорокин. Участники кружка проявляли интерес к идеям М.А. Бакунина, Жоржа Сореля, к анархо-синдикализму и взглядам «Рабочей оппозиции» в РКП(б), а также к практике югославских рабочих советов и к Венгерской революции 1956 года. В 1958–1962 годах их можно было видеть на чтениях стихов «у Маяка», у памятника В.В. Маяковскому в Москве. На этом этапе анархисты смогли привлечь в кружок Т. Герасимову, А.И. Иванова, А.Н. Орлова и Е. Щедрина. На квартире у А.И. Иванова в кружке читали и обсуждали доклады теоретического характера. В 1958 году эти занятия были прерваны арестом и заключением Иванова в спецпсихбольницу. После его освобождения в 1959 году кружок возобновил работу. Теперь помимо Иванова и Осипова в его состав входили некоторые участники чтений у Маяка, в том числе Э.С. Кузнецов,

¹⁰ Романов А.И. Воспоминания. М., 2018. С. 69.

В.А. Хаустов, В.К. Сенчагов, Ю.Т. Галансков. Последний снискал широкую известность и как автор анархистского по духу стихотворения «Человеческий манифест», в котором вполне по-бакунински прозвучали слова:

Вставайте!

Вставайте!

Вставайте!

О, алая кровь бунтарства!

Идите и доломайте

гнилую тюрьму государства!

На этом этапе была составлена программа подпольной анархистской организации. Кроме того, летом 1961 года участники кружка посетили города Муром и Александров, собирая у очевидцев информацию о рабочих бунтах, недавно прокатившихся по этим городам. В октябре анархо-синдикалисты были арестованы по обвинению в подготовке покушения на Н.С. Хрущева. А.И. Иванов действительно планировал организовать такую акцию и агитировал за нее товарищей по кружку. Таким образом он надеялся положить конец внешней политике Хрущева, опасно, по его мнению, приближавшей Третью мировую войну. Многие участники кружка не разделяли эти планы. Близкий к группе А.И. Щукин по совету своего друга, известного латиноамериканиста К.Л. Майданика, написал заявление в КГБ, сдав других анархо-синдикалистов. В результате А.И. Иванов и В.И. Ременцов были отправлены в спецпсихбольницу, В.Н. Осипов и Э.С. Кузнецов получили по 7, а И.В. Бокштейн 5 лет заключения в мордовских лагерях¹¹.

На 1970–1980-е годы приходится всплеск интереса к анархистским идеям среди участников молодежных диссидентских групп. Так в 1970-е годы заметна деятельность и отдельных анархистов, и небольших анархистских кружков на Украине. В 1970 году В.А. Кириченко, житель Запорожья, написал и распространил первую в своей жизни анархическую листовку. Другой анархист в середине 1970-х распространял среди жителей села Большемихайловка, неподалеку от Запорожья, анархистские листовки своего авторства, в которых рассказывалось о махновском движении и анархизме. В 1976 году

¹¹ Герасимова О.Г. «Оттепель», «заморозки» и студенты Московского университета. М., 2015. С. 94-95; Митрохин Н. Анархисты в антисоветском подполье // Анархист. Б.д. № 1. С. 5-6, 38; Митрохин Н. Русская партия. Движение русских националистов в СССР, 1953–1985 гг. М., 2003. С. 189-190.

неизвестные лица распространяли анархистские прокламации среди студентов Днепропетровского государственного университета. В 1977–1978 годах там же появилась группа под названием Коммунистический Союз Анархистов, объединявшая человек 10–12, она занималась распространением листовок в учебных корпусах и общежитиях ДГУ и других вузов. В 1978 году ее участников арестовали, а ее организатор Владислав Стрелковский до 1981 года был помещен в спецпсихбольницу. Устную пропаганду анархо-синдикалистских идей среди рабочих Днепропетровского предприятия «Промэнергоузел» вел О.В. Дубровский, арестованный за это в 1984 году¹².

В декабре 1975 – феврале 1976 года оформилась группа ленинградских левых. Первоначально в ней состояли семь человек, в основном друзья, учившиеся раньше в 317-й школе. Преимущественно это были дети из семей интеллигенции. С этим, вероятно, связаны и особенности идеологии группы, согласно которой интеллигенция – ведущая силой коммунистической социальной революции¹³. Некоторые участники группы (А.И. Резников, А.С. Цурков) были радикальными марксистами, симпатизировавшими маоизму, переосмысляя его с антиавторитарных позиций. А.В. Скобов был скорее социал-демократом, находившимся под влиянием «новых левых» и анархистских идей. Примкнувший к кружку с декабря 1976 года А.В. Хавин считал себя анархо-синдикалистом¹⁴. Рассматривая сложившийся в СССР социально-экономический строй как государственно-капиталистический, ленинградские левые полагали, что он должен быть ликвидирован и заменен демократическим государством с самоуправлением во всех областях жизни общества. Такая общественная модель должна была в перспективе привести к полному отмиранию государства и установлению коммунистических общественных отношений¹⁵. По словам одного из участников кружка, это общество они рассматривали «примерно так, как видели анархисты»: «Безгосударственный, бесклассовый, бессобственнический строй. <...> Все это осуществляется демократическим путем, но без какого-то

¹² Дубовик А.А. Анархисты на Украине в 1960-е – 1980-е гг. // Варианты : Науч. альманах. Вып. 1. М., 2009. С. 15–18.

¹³ Интервью А.С. Цуркова Д.И. Рублеву. 20 янв. 2013 г. Аудиозапись; [Резников А.И.] Кредо // Перспектива. 1978. № 1. С. 10.

¹⁴ Интервью А.В. Скобова Д.И. Рублеву. 7 янв. 2012 г.

¹⁵ Там же.; Рублев Д.И. Новые левые в СССР : Интервью с А.И. Резниковым // Альтернативы. 2012. № 2 (75). С. 145–146.

постоянного, стабильного, демократически избранного органа. <...>
У анархистов это как-то более ясно, на мой взгляд»¹⁶.

Первоначально деятельность ленинградских левых сводилась к собраниям с обсуждением теоретических вопросов. Затем участники перешли к пропаганде своих идей. 24 февраля 1976 года, в день открытия XXV съезда КПСС, трое левых разбросали над выходами из подземного перехода у станции метро «Гостиный двор» 100 рукописных листовок с лозунгами: «Да здравствует свобода! Да здравствует демократия! Да здравствует коммунизм!»¹⁷ Уже в марте члены группы были выявлены, а некоторые из них арестованы. Всех их исключили из вузов и школ, а затем и из комсомола. Весной 1977-го несколько ленинградских левых возобновили свою деятельность. Вместе с хиппи они приняли участие в коммуне «Yellow Submarine», размещавшейся в доме на Приморском проспекте. Коммуна распалась осенью 1978 года из-за трений между ее участниками. В это же время ленинградские левые выпустили два номера машинописного теоретического журнала «Перспектива» тиражом 10–20 экземпляров¹⁸. Стремясь установить контакты с другими оппозиционными силами, они попытались в октябре 1978 года провести под Выборгом съезд молодежных кружков из разных городов. 12–14 октября прошли обыски и задержания участников съезда. В результате группа была разгромлена. Александра Скобова отправили в психбольницу, где он содержался до лета 1981 года. Аркадий Цурков был приговорен к 5 годам лишения свободы и 3 годам ссылки. К 6 годам лагерей усиленного режима по сфабрикованному обвинению в распространении наркотиков приговорили Алексея Хавина¹⁹.

Но деятельность ленинградских либертарных левых не прекратилась. Так, в ночь на 8 октября 1976 года при попытке расклеить листовки в Ленинграде были арестованы участники коммуны хиппи²⁰. Свои воззвания они подписывали «Движение революционных коммунаров». В листовках коммунары солидаризировались с движением «Красный май» 1968 года во Франции. Через критику государства

¹⁶ Интервью А.С. Цуркова Д.И. Рублеву.

¹⁷ Интервью А.А. Фоменкова Д.И. Рублеву. 6 нояб. 2011 г.; Интервью А.С. Цуркова Д.И. Рублеву; Рублев Д.И. Указ. соч. С. 143.

¹⁸ Интервью А.В. Скобова Д.И. Рублеву. 20 янв. 2012 г.; Интервью А.С. Цуркова Д.И. Рублеву.

¹⁹ Интервью И.А. Флиге Д.И. Рублеву. 5 янв. 2013 г.; Интервью А.В. Скобова Д.И. Рублеву. 7 янв. 2012 г.; Рублев Д.И. Указ. соч. С. 153; Хроника текущих событий. № 53 // <http://www.memo.ru/history/diss/chr/>

²⁰ См.: Вести из СССР. Т. 1. 1978–1981. Мюнхен., 1989. С. 233–234.

и бюрократии, рассматриваемых как институты эксплуатации и принуждения, они фактически сближались с анархистами²¹. При обысках на квартирах коммунаров были изъяты книга П. Эльцбахера «Сущность анархизма», а также труды Маркузе и Фромма²². В результате арестованные участники коммуны художник А. Стасевич и рабочий В. Михайлов были приговорены к 3 годам, а студентка А. Кочнева к 1,5 года тюремного заключения²³.

В 1979 году в Ленинграде возник анархистский кружок «Черный передел-2», объединявший пять-шесть студентов и школьников. «Мной была написана программа, представлявшая дикуую эклектику из кропоткинско-бакунинских идей, цитат из Хорста Малера и Ульрики Майнхоф (которых мы совершенно ошибочно причисляли к анархистам), из пары-тройки фраз Тимоти Лири <...> и Джерри Рубина. <...> Все это романтически окрашивалось ссылками на народническую идеологию 70–80-х годов 19 века <...> и сдабривалось изрядной порцией цитат из братьев Стругацких (в первую очередь из «Гадких лебедей», без ссылки на источник)», – вспоминал впоследствии основатель этой группы Михаил Гончарок²⁴. Участники кружка вели пропаганду своих идей среди хиппи. Кроме того, они пытались организовать местных панков для силового противостояния появившимся в городе контркультурным нацистам. С этой целью ими распространялись машинописные листовки. 1 марта 1981 года, к столетию покушения народовольцев на императора Александра II, М.М. Гончарок организовал небольшой митинг на канале Грибоедова (ныне опять Екатерининский канал). Деятельность группы прекратилась весной 1984 года из-за давления со стороны КГБ²⁵.

В 1975–1976 годах в Куйбышеве молодые хиппи, преимущественно студенты, создали кружок, основателями которого были В.В. Беб-

²¹ Архив Международного Мемориала. Ф. 172. Оп. 3. Н. Милетич. Листовка революционных коммунаров; Архив НИЦ «Мемориал» (СПб.). Ф. Б-2. Оп. 1. Групповое дело Союза (движения) революционных коммунаров. Листовка движения революционных коммунаров.

²² Архив НИЦ «Мемориал» (СПб.). Ф. Б-2. Оп. 1. Групповое дело Союза (движения) революционных коммунаров. Протокол обыска (форма № 48) у Зайденшира Ю.А., проведенного 8.10.1979 г. на основании постановления о производстве обыска следователя Жук от 8.10.1979 г.

²³ Воспоминания Бурьяна О.Ю. Электронный текст. 2015 г.

²⁴ Казаков Е.А., Рублев Д.И. «Колесо истории не вертелось, оно скатывалось». Левое подполье в Ленинграде, 1975–1982 гг. // Неприкосновенный запас. 2013. № 5 (91); http://magazines.russ.ru/nz/2013/5/15k.html#_ftn72 [Дата обращения 29 мая 2019 г.]

²⁵ Там же; Гончарок М. Из воспоминаний еврейского анархиста // <http://socialist.memo.ru/1991/goncharokmoshe.htm> [Дата обращения 29 мая 2019 г.]

ко и В.В. Рыжов-Давыдов. Большое влияние на формирование их взглядов оказали труды М. Бакунина и А. Герцена, работы Н.М. Пирумовой о Бакунине, а также почерпнутые из книг советских социологов и историков высказывания Г. Маркузе, В. Райха и Э. Фромма. Участники кружка сочувствовали одновременно анархистским и марксистским идеям. Они пытались развивать в анархистском духе марксистский тезис об отмирании государства. 1 апреля 1976 года куйбышевские «новые левые» провели под видом юморины небольшую демонстрацию (40 человек) под лозунгом «Занимайтесь любовью, а не войной» и с пацификом на плакате. Ее участники были задержаны милицией и впоследствии исключены из комсомола и вузов²⁶.

В 1980–1984 годах была предпринята попытка вести анархистскую пропаганду в Иркутске. Между 1980 и 1983 годами группа студентов филфака Иркутского университета им. А.А. Жданова выпустила три номера рукописного журнала «Архивариус». Уже в первом номере были опубликованы статьи И.Ю. Подшивалова «О свободе и авторитете» и «Анархизм», а также его эссе о Бакунине, Кропоткине и «Народной воле». Позднее публиковались и другие материалы анархистского характера. Вокруг «Архивариуса» сложился анархистский кружок из четырех человек, назвавший себя Федерацией иркутских анархистов-коммунистов (ФИАК). В декабре 1983 года группа студентов, в которую входили трое из участников ФИАКа, выпустила первый номер самиздатского журнала «Свеча». Среди его материалов был очерк И.Ю. Подшивалова о П.А. Кропоткине, в котором упоминался и Н.И. Махно. Второй номер включал очерки Подшивалова о русских участниках Парижской коммуны и о М.А. Бакунине. В марте–апреле 1984 года издание журнала прекратилось из-за давления со стороны администрации университета и КГБ. Подшивалов не был допущен к защите диплома и получил его лишь через несколько месяцев²⁷.

С середины 1950-х вплоть до начала перестройки (1985) в различных регионах СССР предпринимались попытки вести пропаганду либертарно-социалистических идей, создавались подпольные кружки. Входили в них главным образом представители интеллигентной

²⁶ Интервью В.В. Рыжова-Давыдова Д.И. Рублеву. 2013 г. Аудиозапись.

²⁷ Подшивалов И.Ю. Анархизм – не анархия // Уроки демократии. Становление личности, свободы слова и гласности в Иркутской области. Иркутск, 2002. С. 125-126; Скрашук В. К истории иркутского самиздата // Там же. С. 39-41.

молодежи, прежде всего студенты. Но встречались среди молодых анархистов и «новых левых» и молодые рабочие. В 1970–1980-е годы многие молодые левые либертарианцы были связаны с контркультурной средой. География деятельности таких кружков весьма разнородна: Днепропетровск, Запорожье, Иркутск, Куйбышев, Ленинград и Москва. Наибольшее число либертарно-социалистических кружков возникло в Ленинграде. Но стоило им перейти к открытой пропаганде своих идей и несколько расширить круг сторонников, как эти группы попадали в поле зрения КГБ и их довольно быстро ликвидировали.

Большинство участников перечисленных кружков после их разгрома либо отошли от какой-либо политической активности, либо изменили свою позицию, став правозащитниками, либералами или даже националистами. В то же время некоторые из них, как в случае с М. Гончарком, И. Подшиваловым, украинскими анархистами, впоследствии приняли активное участие в деятельности возродившегося в позднем СССР анархистского движения.

**Незабываемый 1989-й: перемены в Восточной Европе
и пересмотр «доктрины Брежнева»**

Советская внешняя политика, направленная на удержание под военно-политическим контролем СССР стран Восточной Европы, оказавшихся в сфере его влияния по итогам Второй мировой войны, и не исключавшая при этом силовых методов, впервые потребовала своего развернутого идеологического обоснования в связи с крупномасштабной военной акцией пяти стран-участниц Организации Варшавского договора (ОВД) 21 августа 1968 года по подавлению Пражской весны.

Такая потребность возникла прежде всего потому, что силовое вмешательство во внутренние дела одной из стран советского блока вызвало серьезные разногласия в мировом коммунистическом движении. Против такого вмешательства, хотя и по разным мотивам, резко выступили руководства как ряда социалистических стран (второй по значимости коммунистической державы – КНР, внеблоковой Югославии и даже члена ОВД Румынии), так и большинства европейских коммунистических партий. По сути, речь шла о кризисе в мировом коммунистическом движении, кризисе еще более масштабном и глубоком, нежели тот, который в 1956–1957 годах был вызван разоблачением Сталина на XX съезде КПСС и подавлением в 1956 году Венгерской революции. Не менее глубоким оказался после августа 1968 года и раскол внутри Движения неприсоединения, которое в Москве, пусть иногда и с оговорками, рассматривали в качестве потенциального союзника и уж во всяком случае попутчика мирового коммунистического движения. Кроме того, после подавления Пражской весны заметно усилилось стремление дистанцироваться от внешней политики СССР в тех западных политических, деловых, культурно-интеллектуальных кругах, которые были ориентированы на активное сотрудничество с Советским Союзом.

Тезис о коллективной ответственности социалистических стран в деле защиты социализма в каждой из них был впервые в контексте Пражской весны озвучен Л.И. Брежневым в ходе длительной беседы с югославским коммунистическим лидером Иосифом Брозом Тито, посетившим Москву в конце апреля 1968 года. Руководство

СССР должно было в некоторой мере учитывать позицию титовской Югославии, осознавая ее статус одного из лидеров движения неприсоединения, равно как и большой международный авторитет маршала Тито, единственного кроме Л.З. Троцкого коммунистического политика, осмелившегося в свое время открыто бросить вызов Сталину на международной арене. На встрече 29 апреля ситуация в Чехословакии стала главным предметом обсуждения¹. Руководство СССР надеялось на близость точек зрения сторон, ведь отношения двух стран находились на подъеме. Так, в июне 1967 года Югославия полностью солидаризировалась с проарабской советской позицией в условиях Шестидневной войны на Ближнем Востоке. Правда, Союз коммунистов Югославии продолжал занимать особую позицию по целому ряду проблем мирового коммунистического движения. Тем не менее в Москве питали надежды, что югославские лидеры с пониманием воспримут советские оценки внутривнутриполитических процессов, развернувшихся в Чехословакии.

Брежнев не скрывал от своих югославских собеседников обеспокоенности ослаблением контроля руководства КПЧ над общественной жизнью и прессой и уже в это время, за неполные четыре месяца до интервенции, откровенно высказал свое мнение, во многом корреспондировавшее с так называемой доктриной ограниченного суверенитета («доктриной Брежнева»), получившей после 21 августа 1968 года развернутое обоснование в ряде статей и документов. Он говорил лидеру СКЮ: «Нужны какие-то радикальные шаги с нашей стороны с тем, чтобы помочь Чехословакии устоять на позициях социализма. Не следует бояться слова “вмешательство”. Ведь мы пролетарские интернационалисты, и нам небезразличны судьбы социализма в других странах. Есть вопросы, которые нельзя рассматривать как чисто советские или чисто югославские. У нас есть общие задачи и обязанности, вытекающие из принципов пролетарского интернационализма. Нас очень волнует и нам не безразлично, как идут дела у наших друзей, в том числе и в Югославии», где экономическая реформа, «по-товарищески говоря, как нам кажется, пока не дала положительных результатов»². Таким образом, не ограничившись критикой положения в Чехословакии, Брежнев попытался спроецировать свое понимание коллективной ответствен-

¹ Встречи и переговоры на высшем уровне руководителей СССР и Югославии в 1946–1980 гг. : Документы. Т. 2. 1965–1980. М., 2017. С. 211–230.

² Там же. С. 223–224.

ности за судьбы социализма и на нейтральную Югославию, что не могло не вызвать отпора югославской стороны.

Особенно жесткий отпор официальной Москвой был получен не тогда, в апреле, а уже после 21 августа, в беседе Тито 31 августа с советским послом И.А. Бенедиктовым, прошедшей в очень напряженной атмосфере. Лидер коммунистической Югославии, последовательный в своем стремлении к ограничению советского влияния на другие социалистические страны, прямо заявил тогда советскому послу, что интервенция в Чехословакию была предпринята вопреки воле ее руководства и народа и что у чехов и словаков было достаточно сил самим решить свои внутренние проблемы. Относительно же Югославии Тито ясно дал понять, что ее руководство не допустит, чтобы кто бы то ни было вмешивался в ее внутренние дела. Если же югославскому государству кто-либо будет угрожать – будь то с Востока или с Запада, а тем более дело дойдет до силовой акции, «Югославия будет решительно сражаться, защищая свою независимость. В этом можно не сомневаться»³.

Летом 1968 года тезис о коллективной ответственности социалистических стран за положение в каждой из них, обосновывавший право на силовое вмешательство и предвосхитивший будущую «доктрину Брежнева», находит отражение в открытых программных заявлениях, опубликованных в печати. Так, в коллективном письме в адрес КПЧ пяти компартий от 15 июля по итогам варшавского совещания по чехословацкому вопросу, прошедшего без участия представителей КПЧ, говорилось, что угроза социализму в Чехословакии «подвергает опасности общие жизненные интересы остальных социалистических стран», а потому является общим делом всех коммунистических и рабочих партий и государств, объединенных союзническими отношениями в рамках Варшавского договора⁴.

22 августа, то есть на следующий день после интервенции, эта же тема получила развитие в редакционной статье «Правды» объемом в две газетные полосы «Защита социализма – высший интернациональный долг», где содержалось обоснование мотивов уже состоявшегося вторжения. Подчеркнуто концептуальный характер имела написанная по заказу ЦК КПСС статья члена редколлегии газеты «Правда» С. Ковалева «Суверенитет и интернациональные обязан-

³ Там же. С. 236.

⁴ Правда. 1968. 17 июля.

ности социалистических стран», опубликованная в центральном органе КПСС 26 сентября. В ней была наведена на резкость проблема неизбежного ущемления суверенитета страны, ставшей объектом «интернациональной помощи» в интересах спасения социализма, – это был ответ на критику акции от 21 августа международным сообществом. Прозвучавшая в этой и других публикациях мысль о правомерности вмешательства союзников во внутренние дела той страны социалистического лагеря, где существует прямая и реальная угроза реставрации капитализма, вскоре была озвучена и на самом высоком уровне. Л.И. Брежнев, возглавлявший делегацию КПСС на V съезде ПОРП, 12 ноября в своем варшавском выступлении заявил: «Когда внутренние и внешние силы, враждебные социализму, пытаются повернуть развитие какой-либо социалистической страны в направлении реставрации капиталистических порядков, когда возникает угроза делу социализма в этой стране, угроза безопасности социалистического содружества в целом, – это уже становится не только проблемой народа данной страны, но и общей проблемой, заботой всех социалистических стран»⁵.

В рамках мирового коммунистического движения несогласие с этой концепцией в то время выразил Тито, увидевший в ней противоречие с тезисом XX съезда КПСС о многообразии форм перехода к социализму и осудивший официальное объявление ревизионистской «ересью» любых попыток выработать модель социализма, отличную от «классической» советской. А тем более провозглашенную руководством КПСС готовность эту «ересь» всячески искоренять, не останавливаясь и перед применением военной силы. В своем ноябрьском 1968 года письме в Москву Тито проявил особую озабоченность тем, что применение военной силы против ЧССР, не поддержанное Югославией, получило идеологическое обоснование в своего рода «доктрине ограниченного суверенитета», легализующей интервенции и вмешательство во внутренние дела суверенных государств.

Начиная с осени 1968 года, особенно после речи Брежнева на V съезде ПОРП, термины «доктрина ограниченного суверенитета» и «доктрина Брежнева» широко использовались западными политическими экспертами для характеристики той концепции внешней политики СССР в рамках советского блока, которая получила выражение как в публичных выступлениях советских лидеров, так и в программных

⁵ Правда. 1968. 13 ноября.

статьях на страницах газеты «Правда» и журнала «Коммунист». При этом западные наблюдатели, комментируя довольно четко сформулированную внешнеполитическую доктрину и связав ее с именем Брежнева, отмечали, что она применялась на практике задолго до 1968 года, в частности при подавлении в ноябре 1956 года Венгерской революции. Совершенно естественно поэтому, что, когда после 1985 года начался постепенный пересмотр доктрины советской блоковой политики, он сопровождался официальным изменением отношения руководства КПСС к военным действиям по подавлению не только Пражской весны, но и венгерского восстания.

С приходом в 1985 году к руководству КПСС М.С. Горбачева и его команды в Кремле и на Старой площади постепенно складывается более критичный взгляд на советскую политику в отношении союзников по блоку, возникают сомнения в эффективности и результативности силового подхода к восточноевропейским делам с точки зрения долгосрочных интересов СССР и мирового коммунистического движения. Сам Горбачев 3 июля 1986 года говорил на заседании Политбюро, по свидетельству его помощника А.С. Черняева, о том, что методы, примененные в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968-м, в новых условиях совершенно неприемлемы⁶. По сути, это было если не отказом от «доктрины Брежнева», то во всяком случае признанием ее неэффективности в современных условиях с учетом соотношения сил в мире, настроений в странах социалистического лагеря и внутривластной ситуации в самом СССР, чье руководство все еще не могло выпутаться из затяжной и крайне непопулярной в обществе войны в Афганистане.

Кстати сказать, применительно к Польше к сходным представлениям о неэффективности и нецелесообразности военного вмешательства в условиях афганской войны склонялось еще брежневское руководство. Достаточно процитировать выступление Ю.В. Андропова на заседании Политбюро ЦК КПСС в конце 1981 года: «Нам нужно твердо придерживаться своей линии – наши войска в Польшу не вводить»⁷. Гораздо

⁶ В Политбюро ЦК КПСС... / по записям А. Черняева, В. Медведева, Г. Шахназарова. М., 2006. С. 61.

⁷ Запись заседания Политбюро ЦК КПСС от 29 октября 1981 г. см.: РГАНИ. Ф. 89. Оп. 42. Док. 48. Л. 4. В.Л. Мусатов, долгие годы работавший на восточноевропейском направлении в ЦК КПСС и МИДе СССР, свидетельствует о конфиденциальных высказываниях Ю.В. Андропова в те месяцы: лимит военных решений применительно к кризисным ситуациям в Восточной Европе исчерпан, надо во что бы то ни стало искать политические средства. См. также: Документы «комиссии Суслова». События в Польше в 1981 г. // Новая и новейшая история. 1994. № 1.

позже, уже в месяцы кардинальных перемен в странах советского блока, 31 октября 1989 года, А.Н. Яковлев в беседе с Збигневом Бжезинским довольно откровенно говорил о том, что именно события в Афганистане явились тем решающим фактором, который подвиг советских лидеров к отказу от дальнейшего использования своих вооруженных сил за пределами страны: «Афганистан, наверно, при всем негативе имеет один положительный момент для нас. На примере Афганистана мы пришли к выводу, что ни один советский солдат не должен находиться за рубежом в целях ведения боевых действий»⁸.

Москва, таким образом, теперь уже несколько тяготилась все менее сильной для нее функцией «верховного арбитра», несущего ответственность за судьбы всего соцлагеря и обладающего правом настаивать на силовом подавлении всего того, что не является, с ее точки зрения, истинным социализмом. Однако опережать лидеров социалистических стран в переоценке событий, происходивших в самих этих странах, в Москве явно не собирались. Осенью 1986 года во время 30-летия «Будапештской осени», в советской научной периодике, как и в венгерской, однозначно доминирует версия контрреволюции. В условиях декларируемой перестройки сохранявшаяся на страницах советской прессы охранительная позиция комментировалась на Западе как свидетельство сохранявшейся приверженности официальной Москвы «доктрине Брежнева» и ее неготовности идти на концептуальный пересмотр своей внешней политики на восточноевропейском направлении. Особенно большое внимание акцентировала на этой неготовности русская эмигрантская пресса, отметившая 30-летний юбилей Венгерской революции изрядным количеством публикаций, в том числе спецвыпусками журналов «Страна и мир» (Мюнхен) и «Проблемы Восточной Европы» (Нью-Йорк; позже издавался в Вашингтоне). Между тем в самой Венгрии с каждым годом активизировались оппозиционные движения, неизменно включавшие в свои политические программы требование пересмотра отношения к событиям 1956 года⁹.

⁸ Яковлев А.Н. Перестройка, 1985–1991 : Неизданное, малоизвестное, забытое. М., 2008. С. 375.

⁹ Программные документы венгерских оппозиционных движений 1985–1989 гг. см.: Анатомия конфликтов. Центральная и Юго-Восточная Европа : Документы и материалы последней трети XX века. Т. 2: Вторая половина 1980-х – начало 1990-х годов. СПб., 2013. Об изменении отношения к событиям осени 1956 г. в идеологии ВСРП, а также венгерской историографии, общественной мысли и массовом сознании Венгрии в рассматриваемый период см.: Стыкалин А.С. От революции 1956 г. к «смене систем» в 1989 г.: метаморфозы исторической памяти венгерской нации // Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 20 лет спустя. М., 2011. С. 324-349.

15 июня 1988 года отмечалось 30-летие вынесения смертного приговора бывшему премьер-министру Имре Надю, не сумевшему осенью 1956-го овладеть ситуацией и обвиненному впоследствии в умышленных действиях по свержению государственного строя. В этот день в Будапеште полицией была разогнана массовая демонстрация с требованием реабилитации Надя и других осужденных за причастность к восстанию. Однако через полгода, в конце января 1989-го, один из лидеров правящей ВСРП Имре Пожгаи по итогам работы специально созванной комиссии для оценки пройденного страной после 1945 года исторического пути охарактеризовал те события как народное восстание. Через две недели эти оценки, вопреки противодействию консервативной части партократии, были, пусть с оговорками, подтверждены на партийном пленуме. Радио-выступление Пожгаи стало сенсацией, многие тысячи людей должны были принять к сведению начавшийся пересмотр официальной трактовки ключевого события послевоенной истории Венгрии.

В Москве не могли не отреагировать. Начавшаяся переоценка событий «Будапештской осени» (а к весне 1989 года, благодаря выступлению Пожгаи, она приняла в венгерской прессе просто «обвальный» для властей характер) была воспринята как один из важных симптомов продолжавшейся сдачи позиций правящей государственной партии ВСРП в борьбе с крепнувшими оппозиционными движениями, с каждым месяцем все более открыто претендовавшими на власть. Это, конечно, не давало аппарату ЦК КПСС оснований для радости. Тем не менее влиятельный либеральный партократ помощник М.С. Горбачева А.С. Черняев, на стол которому ложились срочно переправлявшиеся в ЦК из МИДа телеграммы советского посольства в Будапеште, пришел к выводу о целесообразности для Москвы устраниваться от любого вмешательства в идейно-политическую борьбу, которая разыгралась в Венгрии вокруг вопроса о характере октябрьских событий. Он предложил Горбачеву «стараться удерживать проблему 1956 года на уровне научного спора, не допускать превращения ее в политическую полемику с кем бы то ни было (как, впрочем, и с нашим 1939 годом)»¹⁰.

¹⁰ Архив Горбачев-фонда. Ф. Черняева. Док. 7403. Проводимые Черняевым параллели с 1939 г. вполне понятны, ибо в свете предстоявшего 50-летия начала Второй мировой войны в прибалтийских республиках СССР со всей закономерностью поднимался вопрос о переоценке советско-германского пакта 23 августа 1939 г.

Независимо от отношения Горбачева к несогласованной с Москвой переоценке ключевого события, по сути означавшей делегитимизацию кадаровского коммунистического режима, при встрече в марте с Кароем Гросом, сменившим в 1988 году Яноша Кадара на посту генерального секретаря партии, лидер КПСС прямо дал понять: «оценка 1956 г. – ваше дело», советская сторона не собирается каким-либо образом влиять на официальные оценки ВСРП, как не намерена спорить и с руководством Коммунистической партии Чехословакии, продолжающим называть «контрреволюцией» события 1968 года. В то же время в сегодняшних условиях, продолжал Горбачев, силовое вмешательство извне во внутренние дела одной из социалистических стран представляется совершенно недопустимым¹¹. Иными словами, «доктрина Брежнева», независимо от отношения к ее приемлемости (или неприемлемости) в иных исторических условиях, ныне, по мнению советского лидера, никак не могла служить руководством к действию.

С другой стороны, в Кремле и на Старой площади не хотели делать бесконтрольным пересмотр прежних позиций, особенно если речь шла о пересмотре на страницах советских печатных изданий. Эксперты, склонные опережать официальные оценки, подвергались давлению. В то же время летом 1989 года санкционируется публикация в советских СМИ ряда статей, в которых оценка венгерских событий осени 1956 года как контрреволюции была признана упрощенной, хотя и отмечалась неоднозначность происходившего на будапештских улицах, признавалось наличие экстремистских проявлений со стороны восставших масс. Группа экспертов ЦК КПСС во главе с В.Л. Мусатовым, которым было доверено на основе ознакомления с ранее засекреченными архивными документами подготовить частичный пересмотр прежних, очень жестких оценок, стояла перед непростой задачей объяснить и до известной степени оправдать советское силовое вмешательство, дабы официальной Москве удалось избежать совсем нежелательного для нее самобичевания. Акцент был сделан на том, что тогдашнее руководство СССР в октябре 1956 года долго колебалось, выискивая политические пути урегулирования венгерского кризиса, не ставило целью восстановить в Венгрии власть команды Матьяша Ракоши, полностью скомпрометировавшей себя,

¹¹ Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel : Dokumentumok az egykori SzKP és MSzMP archívumaiból, 1985–1991 / Szerk. Baráth M., Rainer M.J. Budapest, 2000. 179-180 old.

должно было учитывать при принятии решения ближневосточный контекст (произошедший в те же дни острый конфликт на Суэцком канале) и, кроме того (это представлялось очень важным), согласовывало все принимавшиеся принципиальные решения с другими компартиями, включая КПК и СКЮ¹².

Даже такой более чем половинчатый пересмотр вызвал протест партийных ортодоксов. Во многих публикациях по инерции доминировал старый подход – венгерские события 1956 года назывались контрреволюцией. Два генерала, участвовавших в интервенции, обратились к Горбачеву с письмом, в котором выразили решительный протест против начавшейся ревизии привычной им оценки венгерских событий как «контрреволюционного путча»¹³. Такая позиция, надо сказать, находила понимание и в «братских» партиях, чьи лидеры резонно опасались утраты власти вследствие развернувшихся процессов. Хрущев «своими реформами вызвал 56-й год в Венгрии. А теперь вот Горбачев дестабилизирует социалистическое содружество», – говорил советским эмиссарам болгарский лидер Тодор Живков¹⁴.

Пересмотру прежних оценок всячески препятствовал председатель КГБ В.А. Крючков, в 1956 году служивший в посольстве СССР в Венгрии под началом посла Ю.В. Андропова. Тем временем в Будапеште в июне 1989 года состоялось торжественное перезахоронение Имре Надя, а через три недели, 6 июля, он был полностью реабилитирован венгерским судом. (По символическому совпадению, это произошло в день смерти отправившего его на эшафот Яноша Кадара.) На многотысячном июньском митинге в центре венгерской столицы из уст деятеля Альянса молодых демократов (Фидес) Виктора Орбана, будущего политического тяжеловеса посткоммунистической Венгрии, гораздо более открыто, чем ранее, звучали резкие антисоветские и антикоммунистические заявления. В августе руководство другой оппозиционной ВСРП партии, Союза свободных демократов, обратилось в письме к М.С. Горбачеву с предложением официально осудить интервенции в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968-м как акции, нарушающие международное право¹⁵.

¹² Осторожные попытки, отказавшись от ярлыков и жестких формулировок, скорректировать прежний подход таким образом, чтобы у читателя не создалось впечатления радикальной переоценки, были предприняты летом 1989 г. в ряде публикаций на страницах еженедельника «Новое время».

¹³ См.: Muszátov V. Moszkva és 1956. Viták 1989–1990 között a Szovjetunióban.

¹⁴ В Политбюро ЦК КПСС... / по записям А. Черняева, В. Медведева, Г. Шахназарова, 1985–1991. Изд. 2-е, доп. М., 2008. С. 137.

¹⁵ Rendszerváltás Magyarországon. 1989–1990. Budapest, 1999. 68 old.

Для того чтобы затормозить пересмотр отношения в Венгрии к событиям 1956 года и по возможности скомпрометировать его инициаторов, Крючков организовал передачу венгерским аппаратчикам хранившихся в архивах КГБ документов 1930-х годов, проливающих свет на неблагоприятную роль Имре Надя как агента-осведомителя органов НКВД в период жизни в московской эмиграции¹⁶. Учитывая большую популярность Надя среди сторонников кардинальных реформ и превращение этого приверженного национальным ценностям коммуниста-реформатора в своего рода символ сопротивления навязываемым извне формам правления, его компрометация могла быть использована контрреформаторскими силами в ВСРП против их оппонентов. Однако даже эти силы в сложившихся условиях пришли к выводу о нецелесообразности обнародования полученных из Москвы документов, поскольку это подлило бы масла в огонь политического противостояния, отнюдь не повлияв на пересмотр исторических оценок. Со стороны ЦК КПСС и МИДа СССР теперь уже не давили, предоставив венграм самим выносить оценки¹⁷. Вообще осенью 1989 года, когда всю Восточную Европу охватил процесс радикальных перемен, проблема переоценки деятельности Надя явно не относилась к числу приоритетных для Москвы¹⁸.

Между тем в конце лета 1989 года советское руководство неожиданно столкнулось с прямым призывом к применению «доктрины Брежнева». Парадоксальным образом он исходил от румынского лидера Николае Чаушеску, политика радикально-националистического толка, в августе 1968 года под лозунгом защиты национальных ценностей решительно отмежевывавшегося от силовой акции СССР и ряда его союзников по ОВД в отношении Чехословакии и зарабо-

¹⁶ См. справку КГБ СССР для ЦК КПСС от 16 июня 1989 г. «Об архивных материалах о деятельности в СССР Имре Надя» (РГАНИ. Ф. 89. Оп. 45. Д. 82. Л. 1-3).

¹⁷ «Если ЦК ВСРП сочтет целесообразным создание комиссии для дополнительного выяснения деятельности И. Надя в период его жизни в СССР и обратится к нам, то с советской стороны будет сделано все необходимое для прояснения интересующих венгерскую сторону вопросов. Что касается оценок политической деятельности И. Надя, в том числе во время событий 1956 года, то, по нашему мнению, этот вопрос относится к компетенции ВСРП и венгерской исторической науки» (Текст указаний послу СССР в Будапеште. Не позднее 18 сентября 1989 г. См.: РГАНИ. Ф. 3. Оп. 103. Д. 182. Л. 69).

¹⁸ Документы о И. Наде, о которых идет речь, впервые были опубликованы в начале 1993 г. в итальянской газете «La Stampa», а вскоре после этого в венгерских изданиях, что вызвало дискуссии, но не повлияло на оценку его политической роли в событиях 1956 г. См.: Стыкалин А.С. Образ Имре Надя в 50-летней ретроспективе // Неприкосновенный запас. 2007. № 6. С. 223-238.

тавшего на этом немалый внешне- и внутривластный капитал, который растратывал затем более десятилетия и, по иронии истории, превращался теперь в «коммунистического интернационалиста». В августе 1989 года Чаушеску обратился к лидерам других европейских социалистических стран с призывом собраться и обсудить положение дел в Польше, создающее угрозу для судеб социализма не только в этой стране, но и за ее пределами (коммунисты к этому времени уже фактически теряют в Польше власть). Как ЦК ПОРП, так и ЦК КПСС не поддерживали инициативы Чаушеску. В ответе ЦК КПСС румынскому руководству от 27 августа 1989 года отмечалось: «Сам ход политических событий в стране объективно лимитирует возможности наших совместных шагов, не вступающих в противоречие с суверенитетом ПНР»¹⁹. Таким образом, союзник по военно-политическому блоку в ответ на свое прямое обращение получил из Москвы заверение в том, что «доктрина Брежнева» не остается в новых условиях актуальной. 1 ноября, уже после утраты власти в ГДР командой Эриха Хонеккера, Горбачев в беседе с новым руководителем СЕПГ Эгоном Кренцем признал, что в первую очередь именно внешнеэкономические факторы, в частности растущая зависимость Польши и Венгрии от Запада и неспособность СССР конкурировать с западными экономиками теперь уже и на восточноевропейском поле, делают неэффективной любую попытку силового воздействия извне на происходящие процессы: «В Венгрии и Польше сейчас сложилось такое положение, что им, как говорится, деваться некуда, настолько они погрузились в финансовую зависимость от Запада. Сейчас кое-кто нас упрекает: куда, мол, смотрит Советский Союз, почему он позволяет Польше и Венгрии “уплывать” на Запад. Мы ведь не можем взять на содержание Польшу»²⁰.

С падением в последние месяцы 1989 года в ряде стран Восточной Европы режимов, не заинтересованных в ревизии оценок прежней советской политики, новые силы, пришедшие к власти, ждали от Москвы официального пересмотра «доктрины Брежнева». После «бархатной революции» в Чехословакии обновленное руководство КПЧ и новое правительство ЧССР высказались за переоценку военной акции пяти стран-членов ОВД 21 августа 1968 года. Вслед за этим 5 декабря в «Правде» было опубликовано заявление Советского правительства:

¹⁹ РГАНИ. Ф. 3. Оп. 103. Д. 181. Л. 140-141.

²⁰ Горбачев М.С. Собрание сочинений. М., 2010. Т.16. Сентябрь – ноябрь 1989. С. 373.

«Мы разделяем точку зрения Президиума ЦК КПЧ и Правительства ЧССР о том, что вступление армий пяти социалистических стран в пределы Чехословакии в 1968 г. не было обоснованным, а решение о нем в свете известных теперь фактов было ошибочным». В тот же день было опубликовано совместное заявление руководителей всех стран ОВД, принявших в августе 1968 года участие в силовой акции. В нем так же отмечалось, что ввод войск в Чехословакию явился вмешательством в ее внутренние дела и должен быть осужден. Новая советская позиция, основанная на отказе от «доктрины Брежнева», прозвучала и с трибуны партийных форумов. На пленуме ЦК КПСС 9 декабря 1989 года М.С. Горбачев говорил, что отказ от вмешательства «в дела наших братских партий, тем более стран <...> один из главных уроков нашей предшествующей деятельности, нашей истории, взаимоотношений с социалистическими братскими странами»²¹. Речь шла о концептуальном отказе от «доктрины ограниченного суверенитета»²².

Таким образом, еще в условиях польского кризиса 1980–1981 годов в советском руководстве отказались от применения на практике «доктрины Брежнева», осознав всю непредсказуемость последствий военного вмешательства СССР в Польшу. С приходом к власти команды Горбачева в элите страны быстро возобладала точка зрения о неприемлемости в новых условиях силовой политики в советской сфере влияния. Вместе с тем в трактовке исторических прецедентов военного вмешательства во внутренние дела суверенных государств (Венгрии в 1956 году, Чехословакии в 1968-м) в Москве считали определяющей для себя официальную позицию правящих кругов соответствующих стран и были склонны идти на переоценки лишь в той мере, в какой это диктовалось изменением этой позиции. Утрата власти коммунистами в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, распад советского блока и изменение характера отношений между СССР (а затем его правопреемницей Россией) и бывшими ев-

²¹ Цит. по стенограмме пленума: РГАНИ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 342. Л. 39–48.

²² 24 декабря вопрос о возможном применении Советским Союзом, теперь уже с одобрения США, «доктрины Брежнева» в целях оказания помощи силам, выступившим в Румынии против Чаушеску, был в осторожной форме поднят послом США в СССР Дж. Мэтлоком в беседе с заместителем министра иностранных дел СССР И.П. Абоимовым. В своей записке, подготовленной по итогам беседы, Абоимов сообщал: «На этот зондаж американца дал ответ совершенно четкий и недвусмысленный, изложив нашу принципиальную позицию. Заявил, что такой сценарий нами не рассматривался даже теоретически. Мы против любого вмешательства во внутренние дела других государств и намерены твердо и неуклонно следовать этой позиции». См.: *Анатомия конфликтов...* Т. 2. С. 554.

ропейскими социалистическими странами закономерно привели к коренному пересмотру прежних оценок, признанию не только противоправности, но и политической нецелесообразности военных акций по подавлению как Пражской весны, так и Венгерского восстания.

Последующая эволюция официальных и полуофициальных оценок находилась в зависимости от колебаний вектора внутривнутриполитического развития постсоветской России. Возобладавший в российской литературе 1990 – начала 2000-х годов многомерный взгляд на венгерские события 1956 года с конца 2000-х все чаще вытесняется односторонним подходом, отвечающим традиционной советской парадигме, которая, в соответствии с «доктриной Брежнева», утверждала право СССР на защиту силовым путем собственных геополитических интересов в своей сфере влияния в противовес Западу²³.

²³ См.: Стыкалин А.С. О некоторых вейниях современной российской историографии в трактовке роли Запада в восточноевропейских кризисах времен холодной войны // Электронный научно-образовательный журнал «История». М., 2014. Вып. 2 (25).

**Принцип разделения властей в США
и советские диссиденты**

Тема диссидентов, тема правозащитного движения и вообще тема нарушений прав человека в России и Советском Союзе была достаточно актуальна для Конгресса США, несмотря на то, что в известной степени это был ритуальный танец с обеих сторон. Понятно, что нельзя говорить о некой монолитной структуре – Американском государстве. Были, как минимум, две стороны в этой игре. С одной стороны, это Палата представителей и Сенат, с другой – Администрация и Белый дом, хотя порой между ними возникали и некие единовременные коалиции.

Если говорить о присущем обеим сторонам желании как-то ограничить Советский Союз, то оно впервые было сформулировано в длинной телеграмме Джорджа Кеннана, отправленной из Москвы в Госдеп в 1946 году¹. Во всем остальном эти целеполагания были различны. Впрочем, вот еще одно сходное желание каждой стороны: и законодательная власть, и исполнительная хотели оставить за собой право принятия решения по договорам, имевшим политическое значение.

Американским конгрессменам были важны принципы Декларации прав человека, им очень хотелось продемонстрировать собственную приверженность этим принципам. Кроме того, когда, например, законодательная власть запрашивала у исполнительной некие полномочия, в частности на утверждение договоров, связанных с политическими вопросами, исполнительная власть часто говорила: «Ребята, мы добьемся всего тихой дипломатией, мы со всеми договоримся потихонечку», – что совершенно не устраивало власть законодательную. В какой-то степени из-за этого и происходили конфликты.

Когда заходит речь о самом известном факте противостояния между законодательной и исполнительной ветвями власти, чаще всего называют поправку Джексона–Вэника, в то время как процесс принятия этой поправки был отнюдь не первым таким столкновением. Забавный эпизод случился в 1911 году – решением Конгресса было прекращено действие Российско-американского договора, который

¹ https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/coldwar/documents/pdf/6-6.pdf. На англ. яз.

предусматривал режим наибольшего благоприятствования в торговле для Российской империи. Тогда это было связано с еврейским вопросом, но выглядело иначе, чем в 1974 году. Суть дела заключалась в следующем: в начале XX века многие американцы, в том числе евреи, стали наезжать в Россию, и тут выяснилось, что в Российской империи действует черта оседлости. Российское правительство заявило: «Как мы обращаемся со своими евреями, так и с вашими будем». Американцы страшно обиделись: как это так? Мы с американскими паспортами никуда не можем поехать? В итоге Конгресс шумно и страстно обсуждал это, и действие договора, работавшего с 1832 года, в 1911 году было прекращено. Эту акцию можно назвать предтечей поправки Джексона–Вэника.

Еще мне кажется важным упомянуть, что в 1955, 1957, 1958 и 1966 годах вышло четыре доклада Центрального разведывательного управления с попытками оценить потенциал антикоммунистического сопротивления в китайско-советском блоке. Там не только про Советский Союз, там ужасно интересно про Албанию или, например, про Вьетнам. Но Госдеп и исполнительная власть всегда возражали Конгрессу, что потенциал антикоммунистического сопротивления в Советском Союзе и в странах-сателлитах крайне низок. Поэтому делать что-либо бесполезно, давайте все оставим как есть и будем просто как-то договариваться.

Важно представить некоторые фигуры, заметные на исторической сцене тех лет.

Чарльз Джозеф Керстен. Он был верным соратником Маккарти, но довольно быстро сообразил, что бороться надо не столько с внутренним коммунизмом, сколько с внешним. В 1940-е годы он не получил визу в Советский Союз и так обиделся, что развернул свою деятельность незамедлительно и очень ярко. В 1951 году им был создан так называемый Комитет Керстена (также известный как Специальный комитет по расследованию коммунистической агрессии), который провел два серьезных расследования: насильственная инкорпорация стран Балтии в Советский Союз и положение евреев при коммунистах. В ходе этих расследований было опрошено около 350 свидетелей. Слушания проводились не только в Нью-Йорке и Вашингтоне, но и в Мюнхене, в Лондоне.

Другой персонаж – Питер Роудино. Это сын итальянского эмигранта, автор феерической идеи. «Дорогие американцы, – сказал он, – поскольку мы не съедаем всего (!!!), давайте отправлять недоеденное

на воздушных шарах в Советский Союз». К остаткам еды он предлагал присовокупить листовки с короткой информацией. «А раз в Союзе и в Советском блоке нет свободы информации, – пояснял он, – то мы их покормим, а заодно и просветим».

И конечно, это Генри Джексон и Чарльз Вэник, мои романтические герои. Хочу вам сказать, что история изумительно острого двухлетнего противостояния между Конгрессом и исполнительной властью читается просто, как детектив, на одном дыхании.

Миллисент Фенвик, замечательная совершенно дама, бывшая модель, которая, однажды приехав в Союз, как рассказывала покойная Людмила Михайловна Алексеева, с изумлением узнала, что, оказывается, есть не только еврейские отказники, но и диссиденты. Именно ей и принадлежит идея создания Хельсинкской комиссии при Конгрессе США. И хотя она была основателем Хельсинкской комиссии, первым ее председателем по ряду причин стал Данте Фасцелл.

Кроме того, хочу упомянуть Томаса Додда, который работал в Американской миссии Нюрнбергского трибунала и о фашизме знал не понаслышке. Известно, что в конце 1950-х годов ему польское правительство попыталось дать некую награду, от которой он отказался, сказав: «...в моем восприятии ваша система и нацизм – примерно одно и то же». Позже Додд предложил создать так называемую Комиссию свободы и Академию свободы. По сути дела, оба эти института дублировали бы Институт изучения Советского Союза, созданный при Радио «Свобода». Идея Додда так и не была реализована, но он провел огромное число достаточно любопытных исследований. Скажем, в исследовании 1966 года, заказанном Доддом, есть даже художественные переводы из советского поэтического андеграунда.

В 1972 году Джеймс Шуер приехал в Москву, будучи членом комиссии по образованию. И вместо того чтобы идти на Красную площадь, пошел ужинать к отказнику Вениамину Лернеру, где и был застукан нарядом милиции. Наряд милиции потребовал документы, сказав, что здесь скрывается преступник, выдающий себя за американца. «Преступник» показал им свою кредитную карту, но милиционеров это не убедило. Тогда он им показал свое удостоверение конгрессмена, но они ответили, что и это ерунда на палочке, и забрали его в милицию, куда в три часа ночи сотрудник посольства привез его паспорт. Наконец бедного Шуера отпустили. Но на следующий день, когда они с женой уже осматривали красоты Ленинграда, его вызвали в консульство и выставили из Советского Союза за неподобаю-

щую конгрессмену деятельность. Что любопытно: когда он вернулся в Америку, американская Администрация достаточно откровенно объявила, что не будет поднимать шум по этому поводу, «мы не хотим усугублять и без того сложные отношения с Советским Союзом, у нас разрядка, нам не до этого».

Еще несколько персонажей. Уилбур Миллз – один из трех соавторов поправки Джексона–Вэника, Абрахам Рибкофф и Джейкоб Джавитс – два сенатора, очень много сделавшие для ее принятия.

Напомним первые акты и предпосылки. Прежде всего Акт Смута–Хоули 1930 года. Это был скучный тарифный акт. Но! Согласно ему, американцы не должны были покупать экспортные товары, произведенные с использованием рабского труда. В 1937 году под этот акт попал советский лес, потом началась война, мы стали союзниками, но в 1950 году этот акт ударил по советскому крабовому мясу, поскольку прошла информация, что крабов добывают японские военнопленные.

В Конгрессе находили отклик и расстрел Еврейского антифашистского комитета, и дело врачей – все эти акции. Известно, что в тысячных демонстрациях, проходивших в Бруклине и на Манхэттене в знак протеста против дела врачей, участвовали и конгрессмены. Тогда впервые прозвучало обращение к президенту Эйзенхауэру с просьбой повлиять на Сталина, чтобы тот отпустил советских евреев в Израиль. Президент ответил честно, что арабская нефть обходится дороже.

Считаю, что одной из предпосылок будущего внимания Конгресса к делам диссидентов была Катынь. На Нюрнбергском процессе по Катыни было принято достаточно вялое решение, и американский конгрессмен Джей Рэй Мэдден создал так называемую Катынскую комиссию. Там были просто детективные истории, там то пропадали показания, то вдруг потом появлялись, – то есть Администрация не хотела связываться с катынской историей. Но именно расследование событий в Катыни и подтолкнуло Конгресс к дальнейшим шагам.

С 1959 года каждый год в июле в США проходила Неделя поработанных народов, что ужасно обижало советскую власть. Именно инициатива Конгресса заставила президента узаконить эту традицию. Кстати, Неделя проводится до сих пор. Утвержденный Конгрессом «Закон об иностранной помощи» 1961 года гласил, что никакая помощь не предоставляется ни одному народу, чей режим оценивает-

ся как коммунистический. Положение советского еврейства можно назвать тем историческим фактором, который очень серьезно подтолкнул Конгресс. Тому было несколько причин. Назову главную, как мне кажется, и самую яркую. Брошюра «Иудаизм без прикрас». В 1964 году она была выпущена Украинской академией наук, автор – Трофим Кичко. Ее перевели для Конгресса, и там после прочтения ужаснулись. Еврейские организации в Америке начали теребить конгрессменов. У меня есть совершенно замечательная переписка избирателей с конгрессменом Леонардом Фарбштейном. В 1964 году Америка собирается продать Советскому Союзу зерно, и избиратели призывают Фарбштейна как-то вмешаться. И он обращается в Госдеп и к президенту: «Давайте включим в договор такой пункт, чтобы часть муки, которая будет производиться из нашего зерна, шла на выпечку мацы».

Сенаторы, поддерживавшие инициативы помощи советским евреям, – Абрахам Рибкофф, Джейкоб Джавитс, Кеннет Китинг (он, кстати, тоже получал письма про мацу), судья Артур Голдберг, которого беспокоили не только «еврейские» сюжеты: известно, что он пытался привлечь внимание ООН к делу Синявского и Даниэля, но, к сожалению, безрезультатно.

События, происходившие в СССР с 1965 года и возбуждавшие интерес Конгресса, известны. Процесс Даниэля и Синявского породил эффект домино: людей, которые выходили в защиту писателей, самих позже арестовывали (и их имена тоже упоминались на заседаниях Конгресса); вторжение в Чехословакию и процессы против демонстрантов, вышедших на Красную площадь; свидетельства эмигрантов и беженцев из Восточной Европы и Советского Союза. Есть потрясающая развесистая клюква, читаешь и просто не знаешь, как реагировать, но есть и достаточное количество серьезной аналитики. Кроме того, многие конгрессмены и сами ездили в СССР и рассказывали о своих впечатлениях. Назову также и карательную психиатрию, и процесс самолетчиков, и дело Симаса Кудирки – все это процессы, которые очень серьезно рассматривались в этот период в Конгрессе.

Слушания Конгресса по использованию советской психиатрии в политических целях 1972 и 1974 годов тоже были в известной степени ритуальным танцем. Потому что, да, нехорошо использовать психиатрию в политических целях. Но прошло много лет, прежде чем произошли какие-то подвижки. И не в результате усилий Конгресса,

а стараниями возмущенных подобным применением психиатрии западных психиатров и добровольных активистов вроде, например, Питера Реддавея.

А вот по «самолетному делу» и по делу Симаса Кудирки были предприняты реальные действия. Никто бы никогда не узнал ничего о деле Симаса Кудирки, если бы на американском корабле береговой охраны «Виджилент», на который прыгнул Кудирка, не находился Роберт Бризе, человек, который в 1944 году бежал из советской Латвии и который со слезами на глазах тряс капитана судна Ральфа Юстиса и говорил: «Что ты делаешь? Он погибнет!» А тот тоже плакал и говорил: «У меня приказ». И потом, когда Юстис уже вез на берег Роберта Бризе, он сказал: «Я вас попрошу оставить эту историю в секрете». «Конечно, конечно», – согласился Бризе и дал пресс-конференцию.

Это один из немногих случаев, когда Конгресс и исполнительная власть в лице президента действовали абсолютно едино. Никсон публично объявил о том, что это позор для американского народа. Конгресс провел очень серьезное расследование. Кто пытался спустить историю на тормозах, так это сотрудники Госдепа, поскольку, когда капитан Юстис, обнаружив перебежчика на своем судне, позвонил в Госдеп, там не захотели с этим связываться. У них разрядка, у них переговоры по соглашению о рыболовстве, а тут какой-то перебежчик. И они ему сказали: «Вы нас держите в курсе, а мы будем принимать решение по мере поступления информации». Ну, и все. На слушаниях в Конгрессе представители Госдепа выглядели чрезвычайно бледно и некрасиво. Кстати, хочу сказать, что до сих пор случай Кудирки изучают в военно-морских академиях США. Интересные факты: первая резолюция Конгресса, принятая в гневе, была: переименовать корабль «Виджилент» в «Кудирка» – страшная кара всем виновным. Второй интересный факт: сегодня Симас Кудирка живет в Литве и всех приходящих к нему журналистов встречает вопросом: «А не еврей ли вы?» То есть, когда американские конгрессмены, многие еврейского происхождения, боролись за него, его вполне устраивала их национальная принадлежность, а сегодня вот чистота крови требуется.

Никсон считал, что побороть ядерную опасность гораздо важнее, чем соблюсти права советского человека, но огромное число его противников, крупных военных, говорили – нет-нет-нет, нам вообще не нужно никакое сотрудничество с Советским Союзом, тем более что они все договоренности нарушают.

Поправка Джексона–Вэника, повторю, это два года безумной борьбы. Одно из главных действующих лиц в этой борьбе – господин Киссинджер, которого, понятно, грешно было бы упрекать в наивности, – и вот совершенно замечательный эпизод. Уже 1974 год, октябрь. Киссинджер встречается в Овальном кабинете с сенатором Джексоном и говорит, что ему советская власть пообещала выпускать некое количество евреев, увеличить квоты и не будут преследовать тех, кто подал на выездную визу. Джексон же всю эту информацию и обещания Киссинджера со ссылкой на советское руководство публикует. И жуткий скандал! Потому что, оказывается, Громыко был в страшном гневе: что вы делаете? Эти переговоры не были публичными. Посол Анатолий Добрынин в своих воспоминаниях пишет, что президент Форд очень обиделся на Джексона и даже обозвал его свиньей (“He behaved like a swine”) ровно за то, что Джексон обнародовал все эти документы. И в декабре 1974 года, когда Конгресс наконец утверждает будущую поправку Джексона–Вэника, Громыко пишет письмо, мол, дорогие товарищи, в том числе Киссинджер, никому ничего я не обещал. Собственно, это письмо он отправил Киссинджеру еще в октябре, но Киссинджер во время переговоров с Джексоном как-то забыл о его получении.

Слушания, транслируемые радио «Свобода», – тоже достаточно серьезный эпизод: когда выяснилось, что радио втайне финансируется Конгрессом через ЦРУ, часть конгрессменов хотели его прикрыть, сомневаясь в перспективности вещания. Их поддерживала американская Администрация, а сенатор Фулбрайт вообще считал, что это вещание – пережиток холодной войны и никому не нужно. Но в итоге после долгих дебатов было решено, что радио «Свобода» получит, скажем так, другую форму организации и финансирования.

Не проходили без Конгресса и политические обмены. Приведу такой пример. Когда в 1986 году был арестован в Москве журналист Николас Данилов, а в Нью-Йорке шпион Геннадий Захаров (собственно, это даже произошло наоборот – сначала арестовали Захарова, а потом уже Николаса как жертвенного агнца арестовали), то Рейган был готов к их обмену, но Конгресс ему сказал: «Ну, нет, мы невиновных американских граждан на виноватых советских шпионов не меняем. Пусть Советский Союз заплатит по спецтарифу». И таким образом ряд диссидентов, в том числе Юрий Федорович Орлов, попали в список в качестве некоего дополнительного штрафного тарифа для Советского Союза.

Когда Брежнев вел переговоры и с Никсоном, и с Фордом, он все удивлялся, почему нельзя надавить на Конгресс. Ответ был однозначным. В противостоянии между Конгрессом и президентом, Конгрессом и Госдепом нельзя надавить на Конгресс, ибо Конгресс, кроме всего прочего, считал, что тихие переговоры – это то, что можно замылить, это то, чего нельзя предъявить миру.

Что сделал на этом поле Конгресс США? Привлек внимание к проблемам коммунизма, собрал массу информации. (Да, конечно, там был и мусор, но было и много полезного.) Конгресс продемонстрировал свою приверженность основным идеям прав и свобод, многократно возвращался к теме опасности коммунистической угрозы миру. В известной степени, конечно, это было эффектом массажиста. Вы знаете, что лучше всего худеет от массажа массажист. То есть они делали то, что они считали важным сделать, – «я прокукарекаю, а там хоть не рассветай». Да, это так, но когда упрекают американских конгрессменов в том, что они занимались этим только из интереса к своим избирательным кампаниям, нельзя забыть уже упомянутого мною Чарльза Керстена, который провел свои два расследования. Он проиграл следующие выборы в Конгресс из-за того, что очень сочувствовал преследуемым советским гражданам и занимался деятельностью своего комитета, а не избирательной кампанией. Кроме того, именно Конгрессу принадлежит идея увязать экономическое сотрудничество с СССР с соблюдением прав человека в этой стране. Эту концепцию выпестовал именно Конгресс.

На сегодняшний день проблема заставить другое государство соблюдать права своих граждан, не вводя при этом войска, чрезвычайно актуальна. Советское руководство все-таки хотело выглядеть прилично и стремилось к консенсусу, а современным российским властям победоносно плевать с высокой колокольни на свою репутацию в мире.

И напоследок хочу сказать о своих источниках информации. Я была исследователем в Институте Кеннана, приглашенным исследователем в Библиотеке Конгресса, ездила в архив Университета Стоуни-Брук, в архив Джейкоба Джавитса, архив города Сими-Вэлли, архив президента Рейгана, работала в национальных американских архивах. И, конечно, когда я снимала сериал «Параллели. События. Люди» (<https://www.golos-ameriki.ru/z/3912>), там очень много было полезных для меня интервью.

**Антикоммунистическое сопротивление на Кубе
в конце 1990-х – начале 2000-х годов**

С 1997 года я довольно часто по разным программам ездил на Кубу и поддерживал связи с кубинскими диссидентами. Мы возили им все, что раньше иностранцы возили в Советский Союз, когда мы были диссидентами. Все то же самое.

Начались мои поездки на Кубу с хорошей идеи американской активистки польского происхождения Ирены Ласота. Она учредила Институт демократии в Восточной Европе и получала гранты на свои программы. Куба не была Восточной Европой, но мы решили, что ее очень уместно включить туда, потому что она хоть географически и не входит в Восточную Европу, но ментально и политически это, конечно, тот же самый коммунистический режим. И таким образом удалось включить Кубу в орбиту этих программ и получать гранты на то, чтобы по крайней мере туда ездить.

Должен сказать, что, когда я в первый раз туда приехал, я просто как будто попал в молодость, в такую советскую пору. Знаете, если перефразировать Льва Толстого, то все демократии счастливы по-своему, а все тоталитарные страны несчастливы одинаково. И режим, который я нашел на Кубе в конце 1990-х годов, был абсолютно идентичен тому, что был в Советском Союзе в 1970–1980-е. Это, с одной стороны, наводит на грустные мысли, но с другой – очень облегчает жизнь. Понимание того, что тоталитарные системы устроены везде одинаково, дает возможность использовать опыт, накопленный опыт тех, кто сопротивлялся тоталитаризму, – использовать его в новых условиях, в новых странах.

Одним из первых мы посетили независимого журналиста Эндомира Рестано. Так получилось, что мы пришли к нему на следующий день после обыска. Вот у него ночью закончился обыск, а мы пришли утром и застали ту же картину, которая всегда была после обысков у диссидентов в Москве или в других городах: разруха, кавардак, большое количество людей; все приходят, выясняют, что забрали, что не забрали, кому что надо сообщить; хозяин квартиры посылает сына к соседям за записной книжкой, потому что, как водится, вторая записная книжка всегда лежит где-то неподалеку, у соседей, так

как первую забирают при обыске, а нужны все адреса... В общем, картина абсолютно идентичная тому, что творилось в Советском Союзе.

Противники Кастро не называют себя демократическим движением, чаще говорят «сопротивление», «антикоммунистическое сопротивление». По сути оно диссидентское, это ненасильственное сопротивление. В нем участвуют самые разные люди. Там были бывшие партийцы. Например, очень авторитетный деятель Густав Аркас, в 1954 году он участвовал в штурме казарм Монкада вместе с Кастро, потом был послом Кубы в Бельгии. Потом, когда заметил авторитарные тенденции в руководстве, он начал критиковать Кастро и в результате просидел 15 лет в тюрьме. Среди таких активных диссидентов был, например, Владимир Роко, бывший военный летчик, который тоже вдруг понял, что идея свободы привлекательнее, чем идея коммунизма. Много интеллигенции, например, экономист Марта Беатрис Роке, адвокат Рене Гомес Манзано, который учился здесь, в Москве, в Университете дружбы народов на юридическом в 1970-е годы, инженер Феликс Бонне Каракас. Эти люди потом опубликовали знаменитый манифест «Родина принадлежит всем», и все они получили за это сроки, все сидели после этого в тюрьмах.

В этом движении не было и нет расовых различий – там и черные, и белые, и полное отсутствие каких-либо расистских предубеждений. В то же время во власти они есть: коммунистическая диктатура провозглашает интернационализм и расовое равенство, но между тем чернокожих в структурах власти просто единицы; практически осуществляется расовая сегрегация.

Антикоммунистическое сопротивление захватывает и большие, и маленькие города. У нас диссиденты были в основном в больших городах. На Кубе иначе. Может быть, потому, что она гораздо меньше. Антикоммунистическое движение действует и в таких крупных городах, как Гавана, Сантьяго-де-Куба или Пинар-дель-Рио, и в маленьких провинциальных поселках: везде есть какие-то ячейки. Причем устроено это движение интересно; оно отчасти напоминает наше диссидентское. У нас ведь тоже были организации, но не было никакого вертикального подчинения, не было никакой структуры. Если гэбисты пытались «пойти по следу», то упирались просто в отдельных людей, они не могли найти и расколоть подпольные организации. На Кубе устроено примерно так же: огромное количество организаций, которые скорее напоминают даже клубы по интере-

сам, но не зависимые от власти. Власть иногда даже не знает, как на это реагировать.

Например, на Кубе очень популярны независимые библиотеки. Ну что можно предъявить независимым библиотекам, когда там, скажем, вполне легальная литература? Допустим, там есть и нелегальная литература, но ее еще надо найти. А когда там просто литература – то что? Очень трудно придраться. И там большое количество независимых библиотек. Туда приходят дети диссидентов, дети политзаключенных; их там обучают. Ну, в общем, такая система взаимоподдержки. А отличие, может быть, от нашего диссидентского опыта в том, что там не популярен самиздат. Я не знаю почему. Самиздат там есть, но это непопулярное явление. Может потому, что самиздат им заменяет «Радио Марти», которое вещает – тогда вещало – из Флориды, а телевизионный сигнал шел с авианосца, который тогда стоял в Мексиканском заливе. Им этой информации хватало, а вот такого самиздата, как у нас, не было.

У них были абсолютно такие же сложности со связью, как у нас: диссидентам отключают телефоны. Потом, когда появились мобильные телефоны (чего в нашей жизни, к сожалению, не было), они были запрещены для кубинцев. Были запрещены спутниковые тарелки, был запрещен Интернет. Сейчас это все немного изменилось, стало лучше, это – отдельный вопрос. Тогда все было жестко. Тарелки тем не менее находили – их либо делали сами, либо покупали. Черный рынок на Кубе колоссальный, потому что это социализм, а какой же социализм без черного рынка? И эти тарелки покупают, ставят на голубятни – там многие держат голубей, – ну, и квартальные комитеты революции (а в каждом квартале есть комитет революции с активистами типа Швондера) – они все свое время проводят в поисках крамолы, в том числе этих тарелок. Это такая постоянная борьба: нашли тарелку – забрали тарелку – поставили в другом месте...

В чем, собственно, состояла деятельность сопротивления? Оно пыталось, конечно, не просто поддерживать связи, оно пыталось развиваться. Диссиденты проводили «Ассамблеи за гражданское общество». Был такой проект, с моей точки зрения сомнительный, они хотели провести конституционный референдум. На самом деле абсолютно дохлая затея, но как демонстрация смотрелась ничего. «Ассамблея за гражданское общество» собирала представителей со всего острова. Я был на первой «Ассамблее», которая оказалась подготовительной к главной, ко второй. Приезжали люди со всех

концов – с востока, с запада Кубы, и знаете, какая главная проблема у них возникла? У них не было денег на проезд, просто не было денег. Вообще Куба – очень бедная страна: зарплата средняя тогда составляла 8–10 долларов в месяц, абсолютно пустые полки, карточная система... И проблема для них состояла в том, чтобы приехать, чтобы собраться вместе. Меня это, честно говоря, поразило, потому что я знаю, что в Америке и даже в Европе выделялись миллионные гранты на поддержку кубинской демократии, и тем не менее вот такие были проблемы.

И вот на этой «Ассамблее» люди собрались, принимали какие-то заявления. Было колоссальное количество корреспондентов. Весь квартал был оцеплен полицией. Политическая полиция (диссиденты в шутку называют ее «пи-пи» – political police) – это такая вполне себе чекистская структура, со своим центром. У нас есть Лубянка, а у них то же самое на улице Вилла Мариста. Там камеры предварительного заключения, там пытаются. И своя психбольница Мазорро есть, куда диссидентов сажают. И, естественно, лагеря. В 30 километрах от Гаваны есть огромный, на три тысячи заключенных, лагерь “Combinado del este” – «Восточный комбинат». У них все названо немного как бы с экономическим уклоном – вот, дескать, просто «Восточный комбинат». Вот скажешь кому-нибудь «восточный комбинат» – никто ничего не поймет. Ну что-то там производят. А там эки сидят, 3000 эков.

Вообще кубинские тюрьмы, конечно, не чета нашим, они гораздо жестче. Наверное, такие тюрьмы были в сталинское время: очень голодные, холодные. Зимой холодно в камерах, которые вообще не отапливаются, летом безумно жарко. Медицинской помощи никакой. Крысы, тараканы... В общем, сидеть на Кубе плохо. Сроки тоже не чета нашим: по 15, 20, 25 лет. Нашему корреспонденту из правозащитного информационного агентства «Прима-ньюс» дали 15 лет за информационную работу, но он отсидел 8 лет, потом его удалось вытащить оттуда.

Запад ведет себя в отношении Кубы двойственно. И так всегда было. Если говорить о помощи кубинским диссидентам, то миллионные гранты выдаются в Америке, но бóльшая их часть, к сожалению, остается в Соединенных Штатах. Вот я привел пример: доехать до Гаваны на «Ассамблею» было для диссидентов проблемой. Потратить несколько долларов на поезд (я уж не говорю о самолетах), но потратиться на поезд – это для многих было невозможно, особенно

для тех, у кого кормильцы сидят в тюрьме и нет никаких других доходов.

Общественные организации оказывают поддержку кубинским диссидентам, это надо признать. Это относится прежде всего к американской организации «Братство спасения». В нее входят летчики-добровольцы, бывшие военные летчики и гражданские, которые на легких самолетах, как правило, вылетают в Мексиканский залив, ближе к берегам Кубы, ну, не пересекая, естественно, территориальные воды, и вылавливают из воды беженцев с острова. Беженцы – это отдельное явление. В свое время Кастро разрешил уезжать всем, кто хочет, и вся набережная Малекон, набережная Мексиканского залива в Гаване, превратилась в строительную площадку. Люди строили плоты, лодки – кто что может, пока можно было уезжать, – и пускались вплавь. И очень многие погибали, потому что даже маленький шторм был серьезной угрозой для таких плавучих средств. И акулы, если это было весной: многие попадали к ним в зубы... Но тем не менее многие спасались. Вот эти летчики, американские летчики, они специально садились на воду, поднимали беженцев к себе на борт.

Чешская организация “People of Need” («Люди в беде») прилагала значительные усилия, чтобы помогать беженцам и диссидентам на Кубе. Чешское посольство было и, думаю, до сих пор остается центром помощи, даже более серьезным, чем некогда американское представительство или нынешнее американское посольство. Чехи просто молодцы, вели себя совершенно замечательно; может, потому, что помнят, как это было раньше у них. Чего не скажешь о западных политиках, особенно европейских. Для многих европейских политиков Куба овеяна ореолом мифического «хорошего» социализма. Че Гевара – их герой. Точно, как европейские «левые» относились к сталинскому социализму в 1930-х годах, воспевая его. Леон Фейхтвангер писал, «свет приходит с Востока». И вся «левая» интеллигенция была в восторге от советского социализма... Примерно так же они себя ведут в отношении кубинского социализма и требуют снятия «блокады», а «блокадой» они называют американские экономические санкции. Они не согласны с этими экономическими санкциями, они все делают для того, чтобы продлить жизнь кубинской диктатуре. В этом амплуа отметились довольно многие политические деятели на Западе, начиная с Франсуа Миттерана, который был просто другом Фиделя Кастро, и особенно его жена – подругой Фи-

деля. Да и другие, многие, многие. И визиты на Кубу Иоанна Павла II в 1998 году, скажем, или Папы Бенедикта XVI в 2012-м, они, конечно, очень серьезно подрывали позицию антикоммунистического сопротивления и способствовали укреплению имиджа коммунистической диктатуры. Потому что, ну что же, если папа римский едет туда, значит, все как-то ничего? А вот за четыре дня до визита папы Бенедикта XVI в 2012 году арестовали 70 диссидентов. 70 человек надо было изолировать, чтобы они не встретились с папой, не учинили каких-нибудь демонстраций. И многие из них – не скажу, что все, но многие из них – получили сроки, потому что «ну, надо же кого-то взять и посадить»: так же просто нельзя 70 человек на пять дней изолировать, да? Надо же, чтобы какой-то повод был. Их потом продолжали держать в заключении.

Конечно, апофеозом лицемерной западной политики стала позиция президента Обамы, который долго и упорно выстраивал дружеские отношения с кубинской диктатурой, а в последнюю неделю своего президентства отменил существовавший последние двадцать лет так называемый закон сухих и мокрых ног. Это такой закон был в Америке, в соответствии с которым беженцы, если им удалось добраться до американского берега, до суши, и ступить на американскую землю, автоматически получали вид на жительство. Они считались беженцами, автоматически все получали вид на жительство. Эта норма восходит к американской Конституции и Декларации независимости, где говорится, что каждый человек, ступивший на американскую землю, становится свободным. И президент Обама эту норму отменил, чем вызвал небывалый ажиотаж и восхищение кубинского правительства и, разумеется, осуждение со стороны диссидентов. Да, это была последняя неделя его правления, и он вполне мог расписаться в своих социалистических симпатиях.

Какие перспективы? Коммунистическая власть на Кубе расшатывается, она уже не такая, как была в те времена, когда я туда ездил и когда меня оттуда депортировали и проводили обыски... Все это мягче, но они, мне кажется, пытаются реформировать свою систему по своим лекалам: чтобы сохранить привилегии, сохранить нажитое непосильным террором состояние и сохранить власть. В общем, так же, как когда-то у нас. Я боюсь, что у них это получится. Возможно, Кубу ждет наша судьба: вяло гнить в помойке мягкого авторитаризма с постоянной угрозой реставрации жесткого тоталитарного режима.

Сесиль Вессье

Сартр, СССР и советские диссиденты: от Венского конгресса народов в защиту мира до защиты А.Д. Сахарова

В течение двух с половиной послевоенных десятилетий Жан Поль Сартр в европейском общественном мнении был ведущим интеллектуалом не только Франции, но и всей Западной Европы. По сформулированной им самой позиции, он был известен как философ вовлеченности (*engagement*), социально-политической ангажированности. Однако он не принимал участия ни в Гражданской войне в Испании, ни во французском Народном фронте 1936 года, ни даже во французском антифашистском сопротивлении, что бы он ни рассказывал о себе позднее¹. Формула «человек является <...> не более чем совокупностью своих действий»² возникла у него только после Второй мировой войны, и тогда он призвал писателей «воздействовать своими произведениями на окружающий мир»³. Но лишь после войны Сартр, отнюдь не помогавший евреям в оккупированной нацистами Франции, опубликовал свои «Размышления о еврейском вопросе»⁴. Его огромная слава и связанная более всего с его именем философия экзистенциализма, сильно отличающаяся от марксизма, почти сразу же стали причиной резких нападок на него не только со стороны интеллектуалов из Французской коммунистической партии (ФКП)⁵, но и со стороны советских деятелей культуры, таких как одиозный правдинский фельетонист Давид Заславский⁶, или секретарь Союза писателей СССР Александр Фадеев⁷, или полпред

¹ «Jankélévitch, le mal de la bivalence» // *Libération*. 1985. 10 juin. P.35\$ Sirinelli J.-F. Sartre et Aron, deux intellectuels dans le siècle. Paris: Hachette Littératures, collection «Pluriel», 1995. P.178-181; Joseph G. Une si douce Occupation... Paris: Albin Michel, 1991. E-book; Onfray M. L'Ordre libertaire. La vie philosophique d'Albert Camus. Paris: Flammarion, 2012. E-book.

² Sartre J.-P. *L'existentialisme est un humanisme*. Paris: Nagel, 1946. P.55.

³ Sartre J.-P. «Présentation» // *Les Temps modernes*. 1945. N°1. P.5.

⁴ Elkaïm-Sartre A. *Présentation*; Sartre J.-P. *Réflexions sur la question juive*. Paris: Gallimard, collection «Folio essais», 1954–2017. E-book.

⁵ Garaudy R. *Sur une philosophie réactionnaire. Un faux prophète: Jean-Paul Sartre* // *Les Lettres françaises*. 1945. 28 déc; Kanapa J. *L'Existentialisme n'est pas un humanisme*. Paris: Éditions sociales, 1947.

⁶ Заславский Д. Смертяшкины во Франции // *Правда*. 1947. 23 янв.

⁷ Фадеев А. Наука и культура в борьбе за мир, прогресс и демократию // *Литературная газета*. 1948. 29 авг.

советской культуры в мире Илья Эренбург⁸. Особую критику вызвала пьеса Сартра «Грязными руками»⁹, поскольку она побуждала читателя-зрителя размышлять о взаимоотношениях цели и средств в коммунистическом движении.

Сартр, однако, до поры до времени не проявлял никакой враждебности по отношению к СССР и даже считал, что репрессии в ходе Большого террора были неизбежно необходимы в эпоху построения революционного и антибуржуазного общества. Хотя он и утверждал, что писателю «надлежит выступать против любого насилия, будь то насилие, предпринятое его друзьями, или насилие со стороны врагов»¹⁰, но в 1946 году – вопреки только что приведенной тираде – сказал: «Вполне возможно, что на территории каких-то стран, занятых русскими, окажется миллион сосланных. Пусть. Мне говорят: мы должны выступить с решительным протестом против этого. Одновременно с этим сообщают, что, к большому прискорбию, в Алабаме линчевали негра. Но то одного негра. Тут у нас одного, а там счет на миллион...»¹¹

По Сартру, такие аргументы бессмысленны: «В одном случае, если даже высылка и происходит, – что само по себе заслуживает глубокого осуждения, – то это лишь средство для достижения цели. <...> Линчевание же негра, напротив, является результатом затяжной ситуации, которая никоим образом не является средством, а является одним чистым насилием. И это насилие есть выражение конкретной ситуации, в которой пребывали десять миллионов негров до него и в которой, возможно, будут находиться десятки миллионов негров после него. Другими словами, здесь мы имеем дело с режимом угнетения»¹².

Существование в СССР разветвленной сети лагерей заключения, – что горячо опровергалось как советской властью, так и французскими коммунистами, – становилось все более актуальным вопросом во французской интеллектуальной среде и в обществе в целом, особенно после выхода весной 1947 года книги В.А. Кравченко «Я избрал свободу»¹³ и громкого судебного процесса по поводу этой книги,

⁸ Ehrenbourg I. Faulkner et Sartre vus par un écrivain soviétique. Les Mains sales // Les Lettres françaises. 1949. 10 févr.

⁹ Gaillard P. Quand le mensonge ridiculise, c'est Sartre qui a les mains sales // Les Lettres françaises. 1948. 8 avril; Kanapa J. Critique de la critique II // Les Lettres françaises, 1948. 15 avril.

¹⁰ Sartre J.-P. La responsabilité de l'écrivain. Lagrasse: Verdier, 1998. P. 53.

¹¹ Ibid. P. 54-55.

¹² Ibid. P. 55-56.

¹³ Kravchenko V. J'ai choisi la liberté! Paris: Editions Self, 1947.

проходившего в Париже в начале 1949-го. В январе 1950 года философы Морис Мерло-Понти и Жан-Поль Сартр в своем журнале «Les Temps Modernes» в редакционной статье «Дни нашей жизни»¹⁴ были вынуждены признать, что «советские граждане могут быть без суда и следствия подвергнуты бессрочному заключению».¹⁵ Счет заключенных, писали они, возможно, «идет на миллионы»¹⁶.

Авторами делался вывод, что «нет социализма там, где каждый двадцатый гражданин находится в лагере»¹⁷. Но решительного осуждения по адресу СССР они не произнесли.

Попутчик

Сартр, до того мало уделявший внимание актуальной политике, с середины 1952 года сблизился с ФКП и согласился поехать в декабре 1952 года на Венский конгресс народов в защиту мира. В советском пропагандистском словаре «борьба за мир» шла через запятую с «антифашизмом», и, согласно советским лозунгам, их должно было поощрять все большее число жителей Запада, в частности коммунистов, склонявшихся к поддержке СССР: дескать, СССР хочет мира, а американские правители – войны. Сартр, который много путешествовал по США, любил американскую литературу и американскую жизнь, стал придерживаться этих взглядов¹⁸. Его речь в Вене практически отражала официальную советскую позицию¹⁹. Теперь Сартр, с одной стороны, был искренне вовлечен в движение сторонников мира под управлением СССР, а с другой – с ним стало постоянно связываться руководство Союза писателей начиная с Александра Корнейчука и Бориса Полевого, которые, согласно методикам, разработанным еще в 1920–1930-х годах, стремились привлекать западных интеллектуалов и убеждать их в преимуществах СССР.

Впервые Сартр посетил СССР в 1954 году. Именно после этой поездки он дал свои знаменитые интервью газете «Libération»²⁰, в которых утверждал, что в СССР «контакты с населением» показались ему «мак-

¹⁴ Merleau-Ponty M., Sartre J.-P. Les jours de notre vie // Les Temps Modernes. 1950. N 51. Janv. P.1153-1168.

¹⁵ Ibid. P. 1153.

¹⁶ Ibid. P. 1154.

¹⁷ Ibid. P. 1155.

¹⁸ Gerassi J. Entretiens avec Sartre. Paris: Grasset, 2011. E-book.

¹⁹ Открытие конгресса // Известия. 1952. 13 дек. См. также: Contat M., Rybalka M. Les Écrits de Sartre. Paris: Gallimard, 1970. P. 253-254.

²⁰ Эти интервью были опубликованы на русском с некоторыми сокращениями: Sartr Ž.-P. Vpěčatlenija ot poezdki v Sovetskij Sojuz // Oktjabr. 1954. Okt. P.130-141.

симально широки, свободны и легки»²¹, что в СССР действительно хотят мира и что «надо стремиться устанавливать и укреплять дружеские отношения с Советским Союзом», так как «примерно к 1960 году, но не позже 1965-го, если Франция по-прежнему будет находиться в состоянии застоя, средний уровень жизни в СССР на 30–40 процентов превысит наш уровень жизни»²². Таким образом, ведущий западный мыслитель превозносил СССР как образец для западного мира, не высказывая никакой критики, даже относительно ограничений свободы в СССР.

В 1955 году Сартр дважды на короткое время приезжал в СССР. Но в 1956 году, как и многие западные интеллектуалы, он резко порвал отношения с советскими писателями после подавления Венгерского восстания: он тогда понял, что СССР – страна империалистическая и лишенная всякой свободы²³.

Восстановление отношений

Когда вызванный венгерскими событиями кризис несколько сгладился, СССР вознамерился возобновить связи с западной интеллигенцией, и в первую очередь с Сартром²⁴. Эренбург вновь встретился с автором романа «Тошнота» в Париже²⁵, и тот в свою очередь согласился бывать по приглашению в советском посольстве²⁶. Впоследствии он не раз навещался в СССР, в период с 1962 по 1966 год восемь раз приезжал в Союз – иногда на несколько дней, иногда на срок более месяца. Симона де Бовуар сопровождала его, несмотря на то что она знала про роман Сартра с их переводчицей Леной (Лениной) Зониной, сотрудницей Иностранной комиссии Союза советских писателей, чьей задачей, помимо перевода, было докладывать в письменных отчетах органам, что делали, говорили и думали французские гости. Большинство дискуссий Сартра с представителями Советского Союза, в том числе и за пределами СССР, стали предметом этих отчетов²⁷.

²¹ Интервью 15 июля 1954 г.: <http://www.sartre.ch/URSS.pdf>. С. 2. На рус. яз.: Сартр Ж.-П. // Ibid. С. 131.

²² Интервью 20 июля 1954 г.: <http://www.sartre.ch/URSS.pdf>. С. 16. На рус. яз.: Сартр Ж.-П. // Ibid. С. 141.

²³ *Après Budapest Sartre parle* // L'Express. 1956. 9 novemb. P. 13-16.

²⁴ Beauvoir S., de. *La Force des choses II*. Paris: Gallimard, collection "Folio". 1963. P. 119.

²⁵ Ibid. P. 119.

²⁶ Ibid. P. 271 и 400.

²⁷ Например, по поводу одной встречи в Париже см. отчет к ЦК КПСС: РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 142. Л. 160-164.

Сартр прекрасно осознавал – как показывает его частная переписка, – что он должен воздерживаться от высказываний по некоторым вопросам, в том числе и на Западе, если намерен бывать в СССР. Например, он не решался вполне открыто обсуждать положение евреев в Советском Союзе, хотя проблема ему была известна. Он также согласился быть послушным орудием советской пропаганды, когда, например, в 1965 году, в 25-ю годовщину насильственного присоединения Литвы к Советскому Союзу (после пакта Молотова–Риббентропа), он сказал в ходе интервью ТАСС, что не видел в Литве никаких рабов, а был в окружении радостных и веселых людей в отличие от того, что утверждает «американская пропаганда»²⁸. Сознательно или не очень, он шел на компромиссы, но он, тем не менее, никогда не посвятил Советскому Союзу ни отдельной книги, ни специальных статей.

Окруженный официальными представителями Союза писателей, он не стремился встречаться с опальными и независимыми авторами, такими как Василий Гроссман или Анна Ахматова. Однако он попросил о встрече с другими деятелями культуры, в частности с молодыми ее представителями. Эренбург и Зонина, отвечавшие за укрепление связей философа с СССР, рассказывали ему о новых писателях, художниках и кинематографистах, и они же рассказали ему о возникающих проблемах и идеологических столкновениях в СССР. Именно эти двое, вне рамок своих служебных обязанностей, рассказали ему об аресте и суде над И.А. Бродским, и Сартр впервые решил принять участие в защите молодого поэта.

В июле 1965 года в Москве он предупредил возглавлявшего Иностранную комиссию Союза писателей СССР Алексея Суркова, с которым регулярно встречался, что, если до его возвращения во Францию ничего не будет сделано для прекращения ссылки Бродского, он напишет письмо Председателю Президиума Верховного Совета СССР А.И. Микояну²⁹. Он действительно написал такое письмо 17 августа 1965 года и, во имя своей дружбы с социалистическими странами, попросил Микояна защитить Бродского, чей арест отозвался скандалом на Западе. Сартр призывал к вмешательству не во имя справедливости, не во имя прав и свобод, а ради того, чтобы не усложнять положение сторонников СССР на Западе. Убедительны ли были его аргументы?.. Бродский был освобожден 23 сентября 1965 года.

²⁸ РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 26. Д. 3017. Л. 4.

²⁹ Там же. Л. 3-4.

Однако этот жест никоим образом не свидетельствует о либерализации отношений между деятелями культуры и властью в СССР. 11 сентября 1965 года сотрудники КГБ провели обыск в двух домах, где Солженицын хранил свои рукописи; их изъяли и передали на экспертизу в Отдел культуры ЦК КПСС³⁰. Кроме того, 8 и 12 сентября 1965 года, после тщательного расследования и установления личности авторов произведений, опубликованных под псевдонимами на Западе, КГБ арестовал двух писателей – Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Конец хрущевской оттепели был очевиден.

Дело Синявского и Даниэля

Как раз на фоне этих событий в Риме с 3 по 9 октября проходил третий Конгресс КОМЕС (ит.: *Comunità europea degli scrittori*)³¹ – организации, целью которой было поощрение и развитие отношений между западно-европейскими и восточно-европейскими интеллектуалами. Там Сартр и Бовуар узнали, что «вскоре в Москве разразится скандал, покрупнее, чем с Бродским», это дело Синявского и Даниэля³². Судебный процесс над ними начался 10 февраля 1966 года и имел целью отбить охоту у советских писателей публиковаться за рубежом. 14 февраля французское отделение КОМЕС направило телеграмму Союзу советских писателей, адресованную трем участникам встреч с КОМЕС – Александру Твардовскому, Алексею Суркову и Ираклию Абашидзе, с просьбой сделать все возможное для защиты обвиняемых³³. Однако 15 февраля суд вынес Синявскому и Даниэлю суровые приговоры³⁴, и этот вердикт вызвал протесты на Западе: во Франции НКП (Национальный комитет писателей), членом которого был Сартр, выразил надежду, что приговор будет пересмотрен³⁵. Генеральный секретарь КОМЕС Джанкарло Вигорелли и секретарь Международного Пен-клуба Дэвид Карвер даже отправились в СССР, чтобы попытаться добиться смягчения при-

³⁰ Архив Политбюро ЦК КПСС. Ф. 3. Оп. 80. Д. 643. Л. 29-30. Текст целиком опубликован в кн.: Кремлевский самосуд : Секретные документы Политбюро о писателе А.Солженицыне. М.: Родина, 1994. С. 29-30. – (Библиотека журнала «Источник»).

³¹ Б.Г. Рим, осень 1965... // Иностранная литература. 1966. № 1. С. 243; Cluny C.-M. *L'avant-garde, notion confuse ou congrès confus* // *Le Monde*. 1965. 16 oct.

³² Beauvoir S., de. *Tout compte fait*. Paris: Folio, 1972. P. 438.

³³ Racine N. *La COMES (1958–1968)*. Машинопись, отданная Н. Расин (1937–2012) автору этой статьи. С. 17.

³⁴ Крымов Б. Удел клеветников // Литературная газета. 1966. 15 февр.

³⁵ *Un communiqué du CNE* // *Le Monde*. 1966. 22 févr.

говоров Синявскому и Даниэлю³⁶. Казалось, наконец-то произошло прозрение: западные интеллектуалы, долго закрывавшие глаза на преступную внутреннюю политику советских властей якобы во имя торжества революции, стали обращать внимание на нарушение прав и свобод в СССР, особенно по отношению к писателям. Но Сартр все еще отставал от них.

Из-за процесса Синявского–Даниэля КОМЕС практически прекратил отношения с СССР³⁷. Сартр в свою очередь разочаровался в СССР и потерял интерес к Лене Зониной, которая в его глазах олицетворяла страну. Тем не менее он дважды в 1966 году посетил СССР с Симонной де Бовуар – в мае и в октябре. В том же году Бовуар и Сартр попытались встретиться с Солженицыным, но тот отказался и записал в книге «Бодался теленок с дубом»: «Прочел ли Сартр в моем отказе встретиться – глубину того, как мы его не приемлем?»³⁸ На самом деле автор «Тошноты» воспринимался в диссидентских кругах Центральной и Восточной Европы (не только в СССР!) как западный мыслитель, увлеченный марксизмом и революцией, который сыграл большую роль в присуждении Нобелевской премии Шолохову, раскритиковав Пастернака. Позднее, когда Солженицын был выслан на Запад, Сартр не пытался с ним встретиться.

Между тем ввод войск Варшавского договора в Чехословакию решительно положил конец отношениям Сартра, как и многих других европейских интеллектуалов, с СССР. На Западе стали узнавать больше и больше о реалиях жизни в Советском Союзе, в частности благодаря диссидентам: с одной стороны, они развенчивали советские мифы, в которые многие западные люди хотели верить; с другой стороны – репрессии, которым подвергались эти диссиденты, наглядно демонстрировали отсутствие свободы и подлинную суть СССР.

Защита диссидентов и советских евреев

Исключение Солженицына из Союза писателей вызвало новый скандал на Западе, и Сартр подписал протестное заявление НКП (Национального комитета писателей), в котором говорилось, что «исключение Солженицына – колоссальная ошибка»: «Неужели великих

³⁶ ЦХСД. Ф. 5. Оп. 30. Д. 487. Л. 55-59. Опубликовано в журн.: Вопросы литературы. 1994. Вып. 5. С. 272-275.

³⁷ Racine N. La COMES... P. 17-18; Gavi P., Sartre J.-P., Victor P. On a raison de se révolter. Discussion. Paris: Gallimard, 1974. P. 59-60.

³⁸ Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996. С. 13.

писателей СССР следует рассматривать как вредителей?»³⁹ Тем не менее автор «Тошноты» еще долго будет охотнее предпринимать действия в защиту советских евреев, чем в поддержку правозащитников. Такой выбор свидетельствует об определенном недоверии к движению за права человека и демократические свободы в СССР, о нежелании поставить под сомнение советский режим в целом. Когда в декабре 1970 года так называемые ленинградские самолетчики (группа Э. Кузнецова–М. Дымшица) были приговорены к длительным срокам заключения за одно только намерение захватить самолет для побега из СССР (дело это хоть и не чисто диссидентское, добавило новый аспект в историю инакомыслия⁴⁰), – Сартр, Бовуар и другие призвали «левых активистов поддержать борьбу советских евреев за выезд из СССР»⁴¹ и 14 января 1971 года организовали митинг солидарности. Однако они по-прежнему не решались вслух критиковать СССР и призвали присоединиться к их призыву только тех, в ком «не вызывают сомнения принципы и цели социализма»⁴². Тем не менее Бовуар заявила, что на встрече 14 января «собравшиеся единогласно осудили антисемитизм в СССР»⁴³ – вопрос, который за несколько лет до того Сартр опасался открыто рассматривать. Суд над самолетчиками привлек внимание Запада к судьбе советских евреев, и движение в их поддержку стало мало-помалу набирать силу. Спустя два года Сартру вновь представился случай вступить за советского еврея: 2 февраля 1973 года инженер Лазарь Любарский, подавший заявление на получение иммиграционной визы в Израиль, был осужден на 4 года лишения свободы за «распространение ложных сведений и разглашение государственной тайны». В Париже 40 известных деятелей, включая Сартра, потребовали пересмотра его дела⁴⁴. В то же время, когда во Франции был издан «Архипелаг ГУЛАГ», Сартр встретил выход французского издания утверждени-

³⁹ Le Comité national des écrivains français: L'exclusion de Soljenitsyne est une erreur monumentale // Le Monde. 1969. 19 novemb.

⁴⁰ Ленинградский процесс «самолетчиков» // Хроника текущих событий. № 17. 31 дек. 1970 г.; Амстердам: Фонд им. Герцена, 1979. С. 44-60; Движение евреев за выезд в Израиль // Хроника текущих событий. № 18. 6 марта 1971 г.; Амстердам: Фонд им. Герцена, 1979. С. 124; Ленинградский процесс 1970 года // Исход. 1971. № 4. С. 4-54; Pachet P. La Violence du temps. Fiodorov et Mourjenko camp n°389/36. Paris: Seuil, 1982.

⁴¹ Un "appel de la gauche pour les juifs d'URSS" // Le Monde. 1971. 13 janv.

⁴² Ibid.

⁴³ Beauvoir S., de. La Cérémonie des adieux // La Cérémonie des adieux, suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre. Paris: Folio, 1981. P. 25-26.

⁴⁴ La Cour suprême confirme la condamnation de Lazare Loubarsky // Le Monde. 1973. 26 mars.

ем, что Солженицын – человек архаической складки, носитель скорее идей XIX века, чем «принципов, необходимых в современном обществе», и что он тем самым «является вредным элементом и помехой прогрессу»⁴⁵.

Весной того же года журнал «Les Temps Modernes» опубликовал отрывок из «Дневников» Эдуарда Кузнецова⁴⁶, одного из самолетчиков, имевшего связи с диссидентами, но не бывшего диссидентом в строгом смысле этого слова. Этот же номер включает перевод итальянской статьи под названием «Революционная интеллигенция и Советский Союз», в которой рассматривается отношение западных левых к СССР⁴⁷. В ней утверждается, что «советский социализм может нравиться или не нравиться, коммунистические партии могут нравиться или не нравиться», но они «представляют собой единственный элемент противостояния в современном мире, который без них был бы полностью буржуазным»⁴⁸. Главным врагом для Сартра и Бовуар по-прежнему оставалась «буржуазия»: их журнал был не готов возлагать какую бы то ни было вину на СССР. И в этом журнале Сартр брал под защиту не советских правозащитников, а «западнogerманских политзаключенных», то есть членов RAF (Rote Armee Fraktion – Фракция Красной армии), находившихся в заключении за так называемую городскую партизанскую войну, говоря иначе – за прямую террористическую деятельность.

4 декабря 1974 года Сартр даже отправился в Штутгарт, чтобы встретиться с главой RAF Андреасом Баадером в тюрьме. Он пояснил, что хотя и не одобряет насильственные действия RAF, но хочет продемонстрировать солидарность «с заключенным активистом-революционером»⁴⁹. Российские диссиденты не считали и не называли себя революционерами, так стоило ли с ними встречаться?

Однако Сартр и Бовуар сыграли решающую роль в борьбе за свободу и право на эмиграцию доктора Михаила Штерна, врача-еврея из Винницы. Два его сына, тоже врачи, в 1977 году подали заявление в ОВИР на выезд в Израиль. И сразу вслед за этим доктора Штерна об-

⁴⁵ Gavi P., Sartre J.-P., Victor P. On a raison de se révolter... P. 348-349.

⁴⁶ Kouznetsov E. Journal d'un condamné à mort // Les Temps Modernes. 1974. Mars. P. 1557-1592.

⁴⁷ Rossanda R. Les intellectuels révolutionnaires et l'Union soviétique // Les Temps Modernes. 1974. Mars. P. 1523-1556.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Beauvoir S., de. La Cérémonie des adieux // La Cérémonie des adieux, suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre. Paris: Folio, 1981–2017. E-book.

винили в «получении взяток и незаконной торговле лекарствами». В марте 1975 года суд приговорил его к восьми годам заключения. Но еще до начала суда 200 французских общественных деятелей, включая Сартра, отправили телеграмму Генеральному прокурору СССР, Генеральному прокурору Украины и председателю суда, в котором рассматривалось дело Михаила Штерна, с резким протестом против «запугивания еврейского кандидата на эмиграцию»⁵⁰. Сартр и Бовуар создали Международный комитет защиты доктора Штерна и обратились от имени этого комитета ко всем лауреатам Нобелевской премии. Международное давление оказалось значительным⁵¹, и доктор Штерн был освобожден в марте 1977 года: восьмилетний срок заключения ему сократили до двух лет и девяти месяцев во славу «социалистического гуманизма»⁵².

Важным эпизодом из истории международной поддержки диссидентского движения в Советском Союзе, в котором приняли участие Сартр и Бовуар, была длительная борьба за освобождение Леонида Плюща, украинского математика, находившегося по политическим причинам на принудительном лечении в психиатрической больнице. Международный комитет математиков, действуя в защиту Плюща, организовал в Париже встречу с представителями основных профсоюзов и ассоциаций по правам человека. Сартр присутствовал на этой встрече наряду с Монтаном и Веркором⁵³. 30 декабря 1975 года Плющ получил разрешение на выезд в Израиль. Очень ослабленный, он с семьей поселился во Франции, где продолжил обличать злоупотребления советской психиатрии.

Арест Андрея Сахарова

В декабре 1976 года Сартр поставил свою подпись (рядом с подписями более чем полутораста писателей из 14 стран) под петицией с требованием освободить Эдуарда Кузнецова⁵⁴. 21 июня 1977 года президент Жискара д'Эстен устроил торжественный прием в честь Леонида Брежнева в Елисейском дворце. В тот же день известные французские интеллектуалы и в их числе Сартр, праздновавший

⁵⁰ Deux cents personnalités françaises lancent un appel en faveur d'un médecin ukrainien // Le Monde. 1975. 13 févr.

⁵¹ Cinquante prix Nobel lancent un appel pour la libération du docteur Mikhael Stern // Le Monde. 1976. 25 mars; Liberté pour Mikhael Stern // Le Nouvel Observateur. 1976. 8–14 novemb.

⁵² Le Docteur Stern a été libéré // Le Monde. 1977. 16 mars.

⁵³ Pour la libération de Leonid Plouchitch // Le Nouvel Observateur. 1975. 20–26 oct. P. 45.

⁵⁴ Un appel pour la libération d'Édouard Kouznetsov // Le Monde. 1976. 21 déc.

свой 72-й день рождения, плюс Бовуар, Делез и Фуко устроили свой «дружеский прием» в театре «Рекамье» в честь советских диссидентов, обосновавшихся на Западе, среди них: Леонид Плющ, Владимир Буковский, Владимир Максимов, Андрей Амальрик, Андрей Синявский, Мария Розанова и другие⁵⁵. По свидетельству французской прессы, «давка во вторник вечером за места в парижском театре “Рекамье” намного превосходила ту, что шла за право быть среди 150 гостей, приглашенных разделить великолепный банкет Жискара д’Эстена в честь Брежнева»⁵⁶. Отныне вопрос о правах человека занял важное место в повестке дня в отношениях между Францией/Западной Европой и СССР – таков был результат самоотверженной борьбы диссидентов за права человека и одновременно репрессий, которым они подверглись. Можно было подумать, что влияние коммунизма на французскую интеллигенцию себя исчерпало, но такое умозаключение было бы преждевременным.

Зато сам Жан-Поль Сартр значительно изменился. В январе 1980 года академик Сахаров был арестован и выслан в Горький за осуждение советского военного вторжения в Афганистан, во-первых, и за последовавший вслед за этим его призыв к бойкоту летних Олимпийских игр в Москве, во-вторых. Сартр и Бовуар вместе с другими французскими интеллектуалами опубликовали в газете «Монд» обращение, в котором в свою очередь «решительно осудили преднамеренную военную агрессию, совершенную СССР в отношении Афганистана». Они подчеркивали, что «в СССР систематически нарушаются права человека», и – вслед за Сахаровым – призвали бойкотировать Московские Олимпийские игры⁵⁷.

Затем Сартр еще раз подтвердил свою позицию в длинном интервью французскому радио «Евро-1», которое затем было опубликовано газетой «Matin de Paris». Журналист задал ему вопрос: «Господин Жан-Поль Сартр, как по вашему мнению, у кого сегодня грязные руки?» И философ, не раздумывая, ответил: «У правительства СССР. Мне это кажется бесспорным»⁵⁸. Так была открыта новая страница в истории умонастроений французской интеллигенции, даже если спустя несколько дней Сартр заявил одному из своих знакомых, что

⁵⁵ Les “dissidents”, ce soir, au théâtre Récamier // Le Quotidien de Paris. 1977/ 21 juin.

⁵⁶ B.C. Les dissidents de l’Est au théâtre Récamier // Le Quotidien de Paris. 1977. 23 juin.

⁵⁷ Plusieurs intellectuels français préconisent le boycottage des Jeux de Moscou // Le Monde. 1980. 24 janv.

⁵⁸ Sartre: “Nous revenons à la guerre froide” // Le Parisien. 1980. 26 janv.

не сожалеет о своих былых связях с коммунизмом и коммунистами: «Мы не могли поступить иначе»⁵⁹.

Смерть Сартра

Жан-Поль Сартр умер 15 апреля 1980 года, незадолго до тех самых Олимпийских игр, которые он призывал бойкотировать. Ему было семьдесят пять лет⁶⁰. Во всем мире ему отдавали дань уважения и чтили его память. Но не в СССР. Лишь в газете «Известия» от 16 апреля 1980 года появилась на четвертой странице небольшая заметка: «В Париже в возрасте 75 лет скончался известный французский писатель, философ и публицист Жан-Поль Сартр». Кажется, ни в «Правде», ни в «Литературной газете» не появилось никакого сообщения⁶¹. Этой преувеличенной сдержанностью советский официоз как бы признавался в крушении попыток вовлечь в свою идеологическую орбиту западноевропейскую послевоенную интеллигенцию.

В журнале *Les Temps moderne* после смерти Сартра также наступил переломный момент. Журнал ничего не публиковал о советском диссидентстве с 1966 по 1973 год, и почти ничего с 1974-го по 1980-й. Конечно, Сартр и Бовуар издавали произведения Солженицына и Войновича в 1960-е годы, но в то время они печатались и в «Новом мире» Твардовского. Теперь же, в 1980 году, журнал громко заявлял о своем осуждении войны во Вьетнаме; в нем писалось о Кубе, Биафре или Чили, хотя какие-то авторы также проявляли некоторый интерес к оппозиционным настроениям в Чехословакии⁶², Румынии и Венгрии.

В мае 1980 года, в первом после смерти Сартра выпуске журнала, посвященном его памяти, впервые рассматривается советское диссидентство. Уже в предисловии к номеру, тема которого была СССР и наука, отмечалось, что многие диссиденты – Сахаров, Орлов, Щаранский, Ковалев – это ученые, находящиеся в ссылке или в заключении. Поэтому естественным образом возникал вопрос: «почему так много ученых выступают против советской власти»⁶³. В номере было опубликовано большое интервью с Александром Зиновьевым⁶⁴, а также

⁵⁹ Todd O. *Un fils rebelle*. Paris: Bernard Grasset, 1981. E-book.

⁶⁰ Sartre est mort // *Le Parisien*, 1980. 16 avril.

⁶¹ L'hommage du monde entier // *Le Parisien*. 1980.19 avril. P. 23.

⁶² Iannakakis I. Naissance d'une opposition socialiste au sein du socialisme // *Les Temps Modernes*. 1968. Avril. P.1782-1800.

⁶³ Pignon D. L'URSS et la science // *Ibid*. 1980. Mai. P. 1959.

⁶⁴ Pignon D. Entretien avec Alexandre Zinoviev // *Ibid*. P.1960-1977.

его работа «Ученые и оппозиция в СССР», в которой упоминаются Орлов и Щаранский⁶⁵. Назовем еще статью Леонида Плюща⁶⁶, а также аналитический разбор «Философ(ы) советских диссидентов⁶⁷», и текст эмигрировавшего из Союза физика, в котором говорилось о недавнем процессе над Юрием Орловым и содержался призыв к советским ученым перестать быть всего лишь винтиками в огромной государственной машине⁶⁸. В этом же выпуске опубликованы статья о советской цензуре⁶⁹ и статья об антисемитизме в среде ученых в СССР⁷⁰, коллективное письмо семи диссидентов, включая Елену Боннэр и Мальву Ланда, о «дискриминации евреев при поступлении в московские вузы»⁷¹, и свидетельства этой дискриминации⁷².

Сартр умер, и, казалось, что и его эпоха тоже. Летом 1980 года журнал *Les Temps Modernes*, созданный Сартром в 1945 году, подводил итоги: «Около пятнадцати лет назад мы выступали за Вьетнам, терпевший урон от американской агрессии. Сегодня мы точно также осуждаем вторжение Советского Союза в Афганистан <...> События в Кабуле беспощадно подтверждают смерть наших иллюзий. Это конец всех наших иллюзий, которые слабо подкрепляли наши надежды на СССР: ведь он был все-таки социалистическим, и мы продолжали называть социализмом этого монстра, который пожирал сам себя... Сейчас мы видим перед собой всего лишь империалистическую сверхдержаву, с мощной армадой, которую она в состоянии использовать без каких бы то ни было угрызений совести»⁷³.

Диссиденты высветили для мира эту реальность советского режима и даже убедили в своей правоте левых западных интеллектуалов, соратников Жана-Поля Сартра.

⁶⁵ Zinoviev A. Les scientifiques et l'opposition en URSS // Ibid. P. 2019-2029.

⁶⁶ Pliouchitch L. L'absurde social de la science soviétique // Ibid. P. 1978-1991.

⁶⁷ Gaudeaux J.-F., Naud D. Philosophe(s) des dissidents soviétiques // Ibid. P. 1992-2018.

⁶⁸ Polikanov S. Le silence des physiciens soviétique // Ibid. P. 2030-2032.

⁶⁹ La censure ordinaire // Ibid. P. 2049-2051.

⁷⁰ Pignon D. L'antisémitisme et les scientifiques // Ibid. P. 2033-2039.

⁷¹ La discrimination contre les Juifs à l'entrée de l'université de Moscou // Ibid. P. 2040-2042.

⁷² Les Temps Modernes. 1980. Mai. P. 2043-2048; Freiman G. Ainsi, je suis juif // Idem. P. 2052-2073.

⁷³ Les Temps Modernes. 1980. Juillet-août. P. 3-6.

Общая дискуссия

Модератор Михаил Фишман

Михаил Фишман: Позвольте я начну с небольшого добавления к выступлению Нателлы Болтянской о поправке Джексона–Вэника. В книге журналистов Питера Бейкера и Сьюзен Глассер, которые работали здесь в «Вашингтон пост», если мне память не изменяет – в начале нулевых годов, а потом писали про это время, есть рассказ со ссылками на источники в Белом доме о том, что Администрация могла продавить отмену поправки Джексона–Вэника в начале нулевых, когда было сближение между Путиным и Джорджем Бушем-младшим, но по каким-то причинам этого не произошло. К вопросу о том, существует ли влияние Белого дома на Конгресс или нет, – это всегда ситуация очень разная. Поскольку этот вопрос стоял остро в начале нулевых, а для Кремля он стоял остро до тех пор, пока не был, по сути, заменен «актом Магнитского».

Александр Подрабинек: У меня к Нателле Болтянской вопрос. Можешь ли ты рассказать о том проекте поправок, который предшествовал законопроекту Джексона–Вэника, где содержание увязывалось не с эмиграцией евреев, а с нарушениями прав человека в Советском Союзе: какая борьба развернулась? Я думаю, всем будет интересно.

Нателла Болтянская: Поправок такого рода было несколько. Были поправки, например, требующие отмены статуса Радио МФМ в связи с тем, что они не дают свободного вещания, глушат «вражеские голоса». Я не вспомню сейчас автора этой поправки, но она точно была. Кроме того, были призывы прекратить всякие экономические контакты вплоть до освобождения народов Балтии, десятка два резолюций, призывающих президента вообще прекратить экономические отношения с Советским Союзом по причине того, что балтийский народ... На самом деле так: были три основные группы населения Советского Союза, которые считались объектом наибольшего интереса Конгресса. Это Западная Украина, народы Балтии и евреи. И относящихся к ним резолюций было довольно много.

Была еще очень обострившая советско-американские отношения поправка Стивенсона. Смысл ее сводился к тому, чтобы Советскому Союзу не давать кредитов на разведку недр. Но поправка Джексона–Вэника предусматривала и «кнут», и «пряник»: если вы будете давать своим евреям эмигрировать, если вы не будете нарушать права человека, то мы с вами будем сотрудничать. А поправка Стивенсона – просто не давать и все. И по некоторым источникам информации я поняла: не исключено, что когда Советский Союз в декабре 1974 года решил прекратить действие всех договоров, это было в большей степени из-за поправки Стивенсона, она была более чувствительна для СССР. Я разговаривала с людьми, которые тогда работали в Госплане, и они рассказывали, что у них была настоящая паника, потому что недра советские – это была очень важная статья экономического существования Советского Союза.

Александр Подрабинек: Может быть, ты знаешь, какая борьба была в американском политическом истеблишменте в связи с этим? А может, знаешь, что дискуссия здесь была по этому поводу между Сахаровым и Солженицыным?

Нателла Болтянская: Я знаю о дискуссии между Сахаровым и Солженицыным. Более того, у меня такое ощущение, что это не моя сейчас тема, но понятно, что Сахаров считал, что все идет правильно; Солженицын же сначала вроде поддержал поправку Джексона–Вэника, но потом очень быстро развернулся на 180 градусов. Концепции либерала-западника и почвенника в споре Сахарова и Солженицына, на мой взгляд, здесь очень видны.

А что касается резолюций, то можно найти некие документы Конгресса практически по каждому кейсу каждого диссидента. По поводу Кудирки – это будет вишенка на торте! Первая резолюция Конгресса по поводу Симаса Кудирки была просто гениальная: «В ознаменование скверного поведения береговой охраны штата Массачусетс требуем переименовать корабль «Виджилент» в «Кудирка». Вот я не шучу! Это была самая первая резолюция, и их было много таких очень смешных, наивных и, на мой взгляд, очень человечных резолюций.

Валентин Гефтер: Нателла, я понимаю, что вы не политолог, но в свете того, что вами очень большой массив документов и информации изучен и доложен, у меня такой вопрос. Вот этот дискрепанс между ис-

полнительной и законодательной властью Штатов, который длился долгое время (до, скажем так, поздней перестройки) и благодаря которому в нашей стране произошли многие изменения, продолжился ли этот дисбаланс и не изменилась ли вообще общая позиция у обеих ветвей американской власти по отношению к существованию Советского Союза как такового после 1988–1989 годов? Не было ли там уже другой диспозиции и других споров не по поводу смягчения режима, изменения отношения к правам человека, освобождения политзаключенных и так далее, а уже по поводу собственно существования другой великой державы?

Нателла Болтянская: Имеется в виду то время, как бы ретроспективный взгляд?

Валентин Гефтер: Последние три года советской власти, условно говоря.

Нателла Болтянская: Я не думаю, что могу ответить. В качестве некоторого ответа на этот вопрос можно привести пример. Многие из вас наверняка знают, что Джордж Шульц, который в период принятия поправки был министром финансов и очень поддерживал позицию Администрации, в конце 1980-х вместе с коллегами приезжал в Москву со списком «отказников» и ходил в московский ОВИР.

Мне кажется, что тэг «империя зла» остается до сих пор. Другое дело, что актуальность этого вопроса стала ничтожно мала. Я два с половиной года не могу добиться интервью у конгрессмена Кристофера Смита, который в 1989-м приезжал в Пермь-36. Их было двое: ныне действующий Крис Смит, который сотрудничает в Хельсинкской комиссии Конгресса, и бывший конгрессмен Фрэнк Вольф. Я им только что головой в дверь не стучала, мне не удастся получить от них интервью. Им это неинтересно, они уже отрясли этот «прах» со своих ног.

Александр Даниэль: У меня два вопроса к Александру Подрабинеку: один практический, другой теоретический. Практический вопрос такой: в конце 1990-х годов по просьбе некой польской, если не ошибаюсь, журналистки «Мемориал» делал подборку правозащитных диссидентских текстов технико-правового характера (ну, просто назову авторов: Чалидзе, Вольпин, Альбрехт) для Кубы. То есть она

планировала перевести эти тексты на испанский язык, издать некую брошюрку и распространять ее среди кубинских диссидентов. Потом приходила и говорила, что да, я это сделала, что «эта литература – Чалидзе, Вольпин и прочие – пользуется успехом». Очень интересно, кстати, она рассказывала о предпочтениях кубинцев – какие именно тексты им больше всего понравились и какие для них более актуальны, но это другой вопрос. Тебе не попадались в твоих контактах диссидентских следы этой брошюрки? Это вопрос первый, практический: хочется узнать о результатах своей работы. А потом второй – теоретический – задам.

Александр Подрабинек: Конкретно эта брошюра мне не попадалась. Но я знаю, что из Восточной Европы присылали всякие сборники с опытом сопротивления. Я знаю, что из Польши приходили брошюры об опыте польской «Солидарности», например, в печатании материалов и по юридическим вопросам тоже. Но я вам скажу, что там это, насколько я понимаю, вызывало только академический интерес. Потому что там другая правовая система и другая правовая культура.

Вот, например, у меня был случай такой. Меня однажды задержала политическая полиция около отеля и потребовала, чтобы я проехал с ними в МВД. Я им говорю: «Давайте повестку». Они руками разводят и побежали за этой повесткой куда-то. У них там машина была еще штабная, они побежали туда за повесткой. У них не принято – и у кубинских диссидентов – не принято спрашивать повестку для того, чтобы куда-то пойти: им говорят – они идут. Они там себя вполне достойно ведут, но я говорю о том, что немного другой подход. Поэтому я не думаю, что наш правовой опыт очень там хорошо применим.

Александр Даниэль: И тогда теоретический вопрос. Ты сказал о том, что визит папы Иоанна Павла II в 1998 году на Кубу был «победой режима» кубинского. А можешь объяснить, почему визит папы Иоанна Павла II в 1983-м в Польшу был признан и поляками и всеми серьезным ударом по коммунистическому режиму в Польше, а визит папы на Кубу оказался поддержкой режима? В чем разница?

Александр Подрабинек: Ну, это очень просто: Папа – поляк по происхождению, он выходец из Польши. И он вернулся домой, он не поехал

поддерживать чужой режим и чужой авторитет, авторитет другого авторитарного режима, – он просто приехал домой. А когда папа римский приезжает в кубинскую диктатуру, то понятно, что власть расценивает это как свою победу, как укрепление своего международного имиджа. И надо сказать, что диссиденты тоже пытались представить, что это тоже их победа: тогда были какие-то встречи с кем-то из диссидентов. Но, конечно, те бонусы, которые получила кубинская власть в результате визита, были несоизмеримо больше, чем те плюсы, которые получили диссиденты.

Александр Даниэль: То есть Ярузельский просто «лопухнулся», не сумел сорвать те бонусы, которые сорвал Кастро, да?

Александр Подрабинек: Ну, может быть, он и рассчитывал сорвать бонусы, но ничего не мог уже сделать. Все-таки папа римский, особенно Иоанн Павел II, который был большим авторитетом в мире...

Збигнев Глюза: Я хотел бы добавить. В 1990-х годах та же польская журналистка, которая упоминалась, работала с нами в Варшаве. Мы издавали такие брошюры на очень тонкой библейской бумаге и высылали их на Кубу. Они издавались достаточно большим тиражом и распространялись через сети польских дипломатов.

Приезды Иоанна Павла II в Польшу были революционными событиями, потому что он становился лидером улицы. Люди встречались с ним на улице как с лидером, лидером сопротивления, и каждый его приезд в Польшу становился дополнительным импульсом для ведения борьбы.

Александр Даниэль: У меня один комментарий, если можно, и вопрос к Елене Струковой.

А комментарий по поводу этой логики Александра Подрабиника. Она мне не кажется последовательной, потому что тогда, например, не понятно, почему в Россию до сих пор не пускают Далай-ламу. Ну что бы действительно Далай-лама не приехал бы и режим не получил бы замечательный бенефит оттого, что Далай-лама приедет в Россию? Но он не приедет, пока современный режим считает это проблемой для себя. Мне кажется, каждый раз это какая-то новая логика.

И у меня вопрос к Елене Струковой. Скажите, пожалуйста, а есть какие-то исследования по поводу того, в какой мере экономическое

поведение выходцев из Советского Союза вообще было успешным? Понятно, когда это художник, писатель: он понимает, что у него есть какой-то продукт... А в какой мере люди, выросшие в Советском Союзе, ничего не понимавшие в нормальном повседневном экономическом поведении, были успешны в интеграции, когда переезжали...

Елена Струкова: Нет, целенаправленного исследования нет, почему меня и заинтересовала эта тема. Есть воспоминания, но они тоже очень отрывочны, потому что люди любят говорить о политике, а экономика – это как бы уже считается немножко не то. И я уже говорила, что политика, конечно, главное, и никто этого не отрицает, и образ жизни очень важен, но и экономическая составляющая не должна оставаться за бортом исследований.

Михаил Фишман: Нателла, у меня к вам короткий вопрос. Вот Джексон умер в начале 1980-х, а Чарльз Вэник прожил до 2007 года. Как он, если это известно, относился к отмене своей поправки? И вообще, он хотел бы отменить ее?

Нателла Болтянская: Между прочим, любопытны обстоятельства смерти Джексона. Он умер от сердечного приступа через несколько часов после выступления на митинге протеста против крушения корейского «боинга». Что касается господина Вэника, вспоминается его перепалка с Горбачевым. Будучи в Вашингтоне, советский лидер потребовал немедленно отменить поправку Джексона–Вэника, потому что это, мол, все прошлый век: хватит уже использовать «политические трупы» в сегодняшней политике. На что Вэник молниеносно возразил: «У вас главный труп лежит на Красной площади, а вы до сих пор ему поклоняетесь».

Насколько я понимаю, к концу жизни Чарльз Вэник был вполне готов к тому, что эта поправка будет отменена, потому что уже довольно долгий период эта поправка была не актуальна.

Кстати, частично отвечая на вопрос Александра Даниэля о диссидентской активности. Мало кто знает, что, когда господин Джексон впервые представлял будущую «поправку Джексона–Вэника» в Сенате, он начал свою речь с цитаты Солженицына, что «внутренних дел вообще не осталось на нашей планете, нет внутренних дел».

Из зала: Меня зовут Маша Макарова. У меня тоже есть к вам вопрос. Обсуждались ли американскими властями слухи о грядущей высылке советского еврейства в Биробиджан в канун «дела врачей»?

Нателла Болтянская: Ох, это очень наполненная легендами история. Я читала книгу Аркадия Ваксберга «Из ада в рай и обратно», разговаривала с Геннадием Васильевичем Костырченко... Я все время пытаю мою близкую подругу, хорошо знакомую вам Наталью Яковлевну Рапопорт: «Так что же, высылали евреев или нет?» И она мне говорила, что Яков Львович, ее покойный отец, считал, что это такая еврейская мифологема, что смерть тирана произошла на очень ранней фазе возможно задумывавшейся операции. Потому что смотрите: если взять чисто практически, можно было выселить, депортировать компактно живущие народы, а евреи жили очень рассеянно. Кроме того, у многих менялись фамилии и имена, как и у меня. Владимир Тольц, человек, хорошо известный в «Мемориале», говорит, что он работал в архивах украинского Министерства путей сообщения и не нашел предназначенного для этого транспорта. А ведь для того, чтобы депортировать, нужны по крайней мере вагоны. А замечательный беллетрист Эдвард Радзинский, который иногда именуется историком, на мой вопрос «так как?» сказал: «На автобусах вывозить должны были». То есть очень много мифов.

Александр Подрабинек: У меня короткое замечание: поправка Джексона–Вэника не отменена, просто она перестала действовать в отношении России, но продолжает действовать в отношении Северной Кореи, Бирмы, по-моему, еще каких-то стран. Она вполне себе жива.

Из зала: Я помню из детства... В 1953 году, после смерти Сталина пришел к нам в квартиру домоуправ, симпатичный человек, чех по национальности, и сказал маме, что было распоряжение составлять списки по национальностям людей, проживающих в нашем доме по Малой Бронной. Можно предположить, что и в других домах домоуправы поучали такое распоряжение. А дальше уж комментируйте...

Валентин Гейфтер: Как определялась тогда национальность?

Из зала: Это не ко мне вопрос, это – к домоуправу... К домоуправу, но семидесятилетней давности...

Из зала: Я тоже хочу добавить в связи с этой мифологемой. У меня аналогичная ситуация. Со мной на предприятии работал старый еврей, и был он из смешанной семьи: у него жена была русская. И глубокой ночью к ним потихоньку пришла паспортистка, близкая подруга его жены, и сказала: «Я получила задание печатать списки евреев: их готовят к выселению. Ты должна немедленно развестись с мужем, иначе дети останутся...» И так далее. То есть вообще по паспортисткам, похоже, распоряжение было.

Теперь по поводу подготовки. В Биробиджане шла большая подготовка. Там строили бараки, и построили их довольно много, но переезд не начался. Насчет транспорта – это вы совершенно правильно говорите: как их собрались перевозить, не знаю. Это, по-моему, вообще бардак, который тогда был...

Михаил Фишман: У меня вопрос к Александру Подрабинеку по поводу Кубы. Вы в основном рассказывали про 1990-е – нулевые годы, но мне как неофиту интересно понять: был ли обмен репрессивным опытом во время расцвета советского влияния. Может быть, из Москвы поступали какие-то указания о том, как вести себя с диссидентами?

Александр Подрабинец: Ну, документально я ничего не могу подтвердить, никаких документов у меня нет, но по свидетельствам людей, кубинских диссидентов такой обмен опытом был. И советские так называемые инструкторы приезжали и работали там подолгу, по крайней мере в МВД. Там политическая полиция находится в структуре МВД, так что, я думаю, можно предположить, что КГБ посылал туда своих сотрудников. Конечно, обмен был постоянный.

Михаил Фишман: Спасибо.

Микаэла Стоилова: Я продолжу этот вопрос. Меня поразили воспоминания. «До заката» (не знаю, как это будет по-русски, как переводится). У нас в Чехословакии считалось правильным со следователями не общаться: чем меньше человек сказал, тем лучше. Мне кажется, что в Советском Союзе это было так же. А автор книги пишет, что раз человек уже попал под следствие, можно было говорить все: это уже было все равно. Так было принято. Меня это тогда удивило, но с тех пор я больше ничего про это не слышала. Может быть, у вас есть какой-то опыт?

Александр Подрабинек: Вы имеете в виду опыт на Кубе, а не в Советском Союзе, да? Я там был свидетелем жарких дискуссий по поводу того, как надо себя вести на допросе, что надо делать. И общее мнение было именно таким, о каком вы говорите. В нашем же диссидентском кругу практиковалось: на допросах не давать никаких показаний. Я кубинцам рассказал, что у нас была такая формулировка: не давать показаний по морально-этическим соображениям. На самом деле фраза очень загадочная, за которой можно «спрятать» что угодно... Они были в восхищении, когда я им рассказывал это, переводили на испанский – как это лучше сказать... В общем, это было предметом обсуждений. Это значит, что какая-то часть людей разговаривала со следователями, какая-то часть не разговаривала, и постепенно побеждала идея, что с ними не надо общаться вообще, так будет безопаснее. Я видел такие дискуссии.

Михаил Фишман: Есть ли еще желающие что-то сказать?

Борис Равдин: Вопрос к Подрабинеку. Рогинский на суде, когда его спрашивали о чем-то, отвечал: «Не подтверждаю и не отрицаю». А что говорил собеседник следователя в ответ на его вопрос, например, «были ли вы вчера на Красной площади?», какая ответная реакция, какая словесная формулировка?

Александр Подрабинек: Вы хотите сказать: какая должна быть, какая правильная?

Борис Равдин: Нет-нет, вот какая была, скажем, на Кубе...

Александр Подрабинек: Ну, так это же зависит от того, кто разговаривает...

Борис Равдин: Может, была какая-то унифицированная формулировка?

Александр Подрабинек: Нет, унифицированного ничего не было: все люди – самостоятельные личности, особенно диссиденты. Есть люди, которые просто сразу же приходили и говорили, что они не будут давать никаких показаний, и их, как правило, и не трогали. Я знаю таких, у меня друзья такие были, но их, как правило, не таскали на допросы, а арестовывали сразу. То есть знали, что это бес-

полезно. А вот те, кто рассказывал на допросах, они подвергались довольно часто допросам, потому что следователи надеялись, что в конце концов удастся чего-нибудь у них выведать. В результате диссиденты понимали, что чем меньше ты разговариваешь с ними, тем целее будешь.

Михаил Фишман: Да, прошу вас...

Валентин Гейфтер: Александр, а скажите, если вернуться к Кубе: вот я так понял, что вы на вопрос о количестве политзаключенных на сегодняшний день не имеете четкого ответа. Но почему ваша оценка перспектив либерализации нынешнего режима – скажем условно, кубинского – сильно не совпадает при всех ваших параллелях с Советским Союзом, с, предположим, ситуацией с горбачевской Россией после 1986 года, когда была освобождена основная масса политэков? И что дает вам основания более пессимистически смотреть на эти перспективы в ближайшее время с кубинским режимом?

Александр Подрабинек: Прежде всего основания – это то, что там сохраняется большое количество политзаключенных. Например, два года назад, когда Соединенные Штаты восстановили дипломатические отношения с Кубой, резко усилились внесудебные и судебные политические репрессии. Были сразу же посажены многие, ужесточился режим во многих тюрьмах, политических тюрьмах... Кубинцы на себе испытали это потепление кубинско-американских отношений. Я не очень сейчас слежу, не езжу туда, но политзаключенные по-прежнему есть, хотя имеет место экономическая либерализация: разрешен доступ в Интернет, разрешено иметь «тарелки», мобильники, кубинцам теперь разрешено заходить в отели, где останавливаются иностранцы... В общем, там есть определенные послабления, но они не касаются политзаключенных. А у нас в 1986–1987 годах общая либерализация сопровождалась освобождением политзаключенных. Ну, конечно, не очень приличным образом, но тем не менее все-таки большая часть была освобождена. Поэтому я думаю, что кубинский режим будет больше подражать китайскому, где сохраняется старая политическая структура – политические репрессии, политзаключенные, но при этом экономическая либерализация.

Александр Даниэль: У меня вопрос к Александру Сергеевичу Стыкалину. Как я понимаю, вы говорили о книгах, описывающих период коллапса и падения коммунизма в Восточной Европе, да?

Александр Стыкалин: Ну, не только... Я как бы шел за разговорами об оппозиционных движениях, но потом более подробно говорил уже о периоде падения коммунизма.

Александр Даниэль: Понятно. Мой вопрос: как далеко по времени прослеживаются в этих работах истоки... Ну, скажем, прослеживается ли югославская ситуация: ограничивается ли изложение только послетитовским периодом, или, например, периодом Югославии после 1959 года, или после 1965-го и так далее. То есть насколько далеко по времени вот эта историческая реконструкция?

Александр Стыкалин: В принципе у нас выходили работы, которые прослеживали вообще сам процесс формирования югославской модели коммунизма – это уже с конца 40-х годов, начиная с разрыва Тито – Сталина. Но если брать те книги, которые я представлял сегодня, то там в первом томе основные документы, программы, выступления, диссидентская публицистика югославская начиная с 1968 года в основном.

Михаил Фишман: Спасибо всем за интересный разговор.

Востребован ли сегодня опыт диссидентского сопротивления?

«Круглый стол»

Модератор Сергей Лукашевский

Сергей Лукашевский: Разговор о влиянии, востребованности опыта диссидентского движения сегодня, мне кажется, сопряжен с некоторыми сложностями, которые я бы хотел вначале обозначить.

Очень важно в нашем разговоре различать, с одной стороны, собственно опыт, который реально используется в современной практике протеста, практике правозащиты, и с другой стороны – насколько этот опыт реально осознается и воспринимается как важный и полезный.

Еще две важные вещи, которые мне хотелось бы обозначить до начала нашего разговора. Это, во-первых, действительное существование влияния, сходства, использования – прямого использования – и обращения к опыту диссидентского движения и, во-вторых, естественное типологическое сходство правозащитной деятельности в принципе протеста.

И последнее, можно выделить как минимум три группы: политические активисты, правозащитники и в целом так или иначе поддерживающее их сообщество, которое с некоторой условностью назовем «те, которые “Крым – не наш”», например. Это тоже отдельная и прекрасная тема для построения определений. Вопрос в том, можно ли их различать сегодня, в каких отношениях они находятся и как каждая из них (возможно, по-разному) понимает этот опыт. Вот одно из существующих мнений: Александр Генис и Глеб Морев в своих интервью говорили, что на их взгляд сегодняшний протест нельзя определять как «диссидентский» – он весь политический.

Поскольку у нас стол заявлен как «круглый», в котором все равны, я предлагаю участникам определиться самостоятельно, кто хочет начать первым...

Давайте, конечно, Зоя Феликсовна...

Зоя Светова: Я бы хотела поставить вопросы, которые у меня возникли, и поделиться опытом общения с так называемыми сегодняшними диссидентами, сопротивленцами, политическими заключенными – называйте их как хотите.

Для меня, например, было большим потрясением общение с Олегом Сенцовым, когда он объявил голодовку, и так получилось, что я заказала с ним разговор, позвонила (это, может, был, кажется, тридцатый день его голодовки). Я ему сказала: «Ты знаешь, был такой человек, Анатолий Марченко. Он голодал больше ста дней». (Я не помню, 117 или 137 дней, Александр Подрабинек меня поправит или Александр Даниэль.) И Сенцов по телефону буквально присвистнул, он сказал: «Ну, да-а-а... Ну, столько я не проголодаю». И меня потрясло, что Олег Сенцов, человек, по сути, повторивший то, что сделал Анатолий Марченко, не знал, кто такой Анатолий Марченко. И вот в связи с этим о вопросе, который здесь задан: востребованность диссидентов в современном обществе. Проблема в том, что в современном обществе о диссидентах, об истории диссидентского движения очень мало известно.

Второе наблюдение, которое меня поразило. Когда шел «болотный процесс», я разговаривала с адвокатами, которые защищали разных фигурантов этого «дела». Я принесла и показала им книгу Дины Каминской «Записки адвоката». Там очень похожие моменты, что происходило тогда и здесь. И один из адвокатов тоже присвистнул, сказал: «Надо же, я ничего про это не знал! Я даже не знаю, кто такая Каминская». Вот. И мне кажется, что это огромная проблема. Я не знаю, кто в этом виноват – сейчас глупо ставить вопрос «кто виноват?», надо ставить вопрос «что делать?». И нужно популяризировать то, о чем сегодня здесь говорится: опять эти книги издавать, как можно более агрессивно всю историю диссидентов преподавать в разных формах, потому что, я считаю, что это катастрофа.

Сергей сказал о том, что есть разные категории: политические активисты, правозащитники и люди, которые «Крым – не наш», которые поддерживают сопротивление и вот протестное движение. Я думаю, что эти новые инакомыслящие, которых посадили – «болотники», девочки Pussy Riot и другие, – эти люди в принципе отличаются от диссидентов тем, что диссиденты все-таки не боролись за смену режима, а современные оппозиционеры, политические активисты (я не имею в виду «болотников» и Pussy Riot) не только критику-

ют режим, но и борются за его смену. А «болотники» (я их называю «диссидентами поневоле», со многими из них общалась, когда посещала тюрьмы), они вообще попали в тюрьму не потому, что были диссидентами, а просто потому, что были не согласны с тем, что происходит. И именно в тюрьме, когда мы их спрашивали (Аня Каретникова любила задать этот вопрос): «А вы считаете себя политическим заключенным?», некоторые удивлялись и не понимали вообще, о чем мы их спрашиваем. Только позже они уже начинали себя считать таковыми. Также и Олег Сенцов, который не был совершенно ни правозащитником, ни политическим заключенным, хотя и был, конечно, активистом Майдана и все такое, но я считаю, что он «вырос» в политического заключенного.

И последнее. Об опыте сопротивления. Я называю наше время «временем двух “С”» – это Сопротивление и Солидарность. Потому что мы сегодня видим огромную солидарность, то, что в Советском Союзе было до Фонда помощи семьям политзаключенных Александра Солженицына. Я помню, что, когда мои родители сидели в тюрьме, мы ощущали на себе эту солидарность и Фонда, и друзей, и тех друзей, которые приезжали из-за границы... Но сейчас это проявляется еще в большей степени: мы видим, что люди приходят в суды, в отделения полиции, мы видим, как люди в Фейсбуке начинают собирать деньги на адвокатов, а это сейчас одна из самых насущных вещей, и в этом тоже есть сопротивление. Мне кажется, что это приметы нового времени нашего, но идут они из прошлого, при этом они очень похожи и в то же время у них есть отличия.

Сергей Лукашевский: Большое спасибо. Саша, я правильно понимаю, что ты хотел бы продолжить...

Александр Черкасов: Я могу продолжить, а могу не продолжить и начать с другого места. Программа, а вслед за ней ведущий с нами хитрят. Хитрят, говоря: «Очень важно поговорить о преемственности с диссидентами». Так вот, по-моему, здесь, в задачке, есть некоторая хитрость; и речь идет не о преемственности с диссидентским временем, а речь идет о преемственности вообще, о том, что мы не есть первые люди на Земле. И это очень важно.

В советское время выходила серия книг «Пламенные революционеры», и там даже некоторые хорошие люди о хороших людях публиковали хорошие истории, а некоторые из авторов «Пламенных революцио-

неров», кстати, потом становились политзаключенными (кажется, Хейфец Михаил Рувимович туда пописывал). Во всяком случае некий исторический ряд, в который можно было поставить вопросы современной жизни, существовал. Рогинский занимался разными сюжетами, например – известная история с перепиской Дейча и Стефановича, которая оказалась весьма актуальна в контексте политических процессов 1970-х. Это из ряда этих самых сюжетов, и вопросы, которыми мы иногда мучаемся (или не мы), ими кто-то уже когда-то озаботился, вспомним классическую последовательность: декабристы, народовольцы, потом кто-то еще... Освободительное движение начала века, социалистические движения, погибавшие в Советском Союзе, теперь уже и диссиденты – исторический ряд.

Проблема преемственности просто катастрофическая, как нам только что показала Зоя Светова. Что это – исключительно наша нерадивость или что-то еще? Боюсь, что «что-то еще», потому что некоторое предательство и самозванство уже на нашем веку случалось раза два. Давайте вспомним издания 1980-х годов, когда пошла-поехала публикация всякой литературы, раньше лежавшей в столах; много ли там было ссылок, что когда-то где-то это было опубликовано раньше? Нет, как бы из ниоткуда появлялось, как правило. Конечно, труднее было бы распространять, сказав, что это раньше было в самиздате, а так – вот было где-то там, а вот опубликовано. Был и другой момент предательства и самозванства в перестроечном периоде. Большинству из нас, взрослых людей, которые тогда занимались какой-то деятельностью, было проще не задаваться вопросом, что мы делали несколько лет назад. Любая ссылка или постоянное понимание того, что какие-то люди за то же самое уже сидели, задавали те же самые вопросы и что-то делали, пока мы не делали ничего или делали что-то безобидное, коробит, и поэтому легче было ощущать себя первыми людьми на Земле.

«Болотники» – я не о подсудимых «болотниках» бы говорил, а о демонстрантах – тоже поколение «первых людей на Земле» в протестах 2011–2012 годов. Десять лет они жили при Путине, и Путин был хороший, а тут вот что-то случилось осенью 2011 года, и они запротестовали. А до этого все было хорошо? А если что-то было плохо, то хочется спросить: «А где вы, ребята, были? Вы, взрослые люди, которые жили, когда были Норд-Ост, Беслан, война в Чечне, политические процессы?» Заманчивее начать жизнь с нуля и считать, что раньше ничего не было – нет ни вопросов, ни ответов.

Проблема преемственности не только в отсутствии источников, но и в нежелании к этим источникам обращаться, в нежелании ревидировать свое собственное отношение к прожитой жизни. Это – раз. Второе: на самом деле опыт – он шире, чем обращение к диссидентскому опыту, например, к советскому. Для нас лет тридцать назад очень интересным был польский опыт, а если шире – опыт Восточной Европы, еще шире – весь земной шар. Когда-то в какой-то маленькой газете я вел колонку об опыте протестных движений в разных странах. Латинская Америка, например, очень интересна, и там многое рифмуется с российским опытом, но ведь у нас некоторое ощущение исключительности: «У нас страна вот такая: самая жуткая! – и рвем рубаху на груди. – Самая жуткая, режим с самым страшным Путиным!» Да нет – в общем, захолустье, так, авторитарное захолустье. Где-то хуже, где-то существенно хуже, где-то лучше, и интересно было бы обратиться к опыту других стран, где возникали подобные проблемы, их как-то решали... Во всяком случае, мы – часть большой планеты, хотя, конечно, ближе всего и более всего рифмуется то, о чем мы сегодня говорим, – опыт советских диссидентов.

Мы с Алексеем Макаровым готовили к публикации, да так и не подготовили статью Юрия Марковича Шмидта середины 1970-х годов о роли адвокатов в политическом процессе. Статья эта относилась к делу Хейфеца–Марамзина, речь шла о роли некоторого адвоката в некотором сюжете, связанном с «делом Сети», – масса сюжетов, востребованных здесь и сейчас. Почему они как те пирожки не лежат на столах? Но ощущение своей собственной исключительности в пространстве и во времени – это только часть большого вопроса. Есть больший, по-моему, вопрос. Если отказаться от чувства собственной исключительности и воспринимать описанный на разных языках, в разных странах, в разных форматах опыт, возникает вопрос точки зрения и готовности с этой точки зрения смотреть на очень интересный мир, очень интересный опыт этого мира.

И последнее! Арсений Борисович Рогинский часто сомневался: «А вот что бы я делал, что бы я делал, оказавшись там-то, там-то и там-то?» Хорошо бы и нам включить этот режим.

Сергей Лукашевский: Спасибо, Саша. И – Александра Крыленкова.

Александра Крыленкова: Я немного в продолжение того, о чем сейчас говорил Александр. Я все думала: почему мы говорим о преемственности только диссидентского опыта? Хотя период, конечно, завораживает, и находится множество параллелей. Есть часть сегодняшнего сопротивления, которая имеет очень явную преемственность, например, правозащитное движение. Есть группы, считающие себя преемниками более ранних периодов. Так, анархистские группы считают себя преемниками неких дореволюционных объединений. Разнообразие сейчас, пожалуй, гораздо выше, чем было во второй половине XX века, хотя и тогда оно явно не исчерпывалось диссидентским опытом. Возьмем хотя бы питерские группы, которые ставили себе целью революцию и смену режима.

Мне очень нравится идея сравнений, и я довольно давно в нее постоянно срываюсь, потому что люди спрашивают. И мне как раз не кажется, Александр Владимирович, что люди не хотят себя ощущать во времени, – хотят, они постоянно задаются вопросом: а как это было тогда? Как тогда складывались правила поведения со следственными органами, например? Какие были споры по поводу того, как вести себя на допросе, потому что сейчас эти споры тоже возникают, возникают дискуссии: давать или не давать показания, а если давать, то как и как относиться к тем, кто дает показания, и т.д. И решая эти вопросы, мы неизбежно обращаемся к историческому опыту, без этого невозможно. Но у меня возникает озабоченность, а не скатимся ли мы к готовым формулам, мол, если диссиденты это уже придумали, давайте не думать над этим, давайте делать так же; расскажите нам, как они делали, и мы будем делать так же. И чем ближе эпоха, тем больше этот соблазн возникает, хотя очевидно, что сейчас есть вызовы и сложности, которые в то время явно были куда меньше.

Например, общественный диалог, диалог массовый и публичный. Сегодняшнее «сопротивление» ведет массовый диалог, чего не было, на мой взгляд, в...

Зоя Светова: Что такое «массовый диалог»?

Александра Крыленкова: Массовый диалог – это с массовой аудиторией, я так бы сказала.

Зоя Светова: С помощью самиздата тоже был диалог. Тогда тоже был диалог, и был самиздат, и он тоже расходился. Поэтому я не очень понимаю, что это «массовый диалог».

Сергей Лукашевский: Где начинается «масса», Саша? С аудитории Фейсбука, «Эха Москвы», Первого канала? Где массовость?

Александра Крыленкова: Массовость и там, и там, и там, только разная: надо взвешивать, видимо...

Я говорю о том, что, используя опыт, изучая его... Ну, например, мы заметили, насколько был востребован в прошлом, в позапрошлом году опыт предреволюционный, насколько он широко обсуждался и насколько людям было интересно изучать процессы, предшествовавшие революции. И востребованность опыта диссидентского периода такая же примерно, проблема в том, что мы очень легко можем скатиться к прямому копированию практик, и это при том, что практики очень во многом мифологизированы.

Сергей Лукашевский: Спасибо. Мне кажется важным отметить, что, по моему, диалог между нынешним «сопротивлением» (в кавычках и с некоторыми вопросами в скобках) и диссидентским движением отчасти затруднен потому, что в диссидентском движении была очень сильная составляющая нравственной и моральной артикуляции того, ради чего оно существует, как оно действует. А сегодня, честно говоря, не возмущение конкретной несправедливостью, а возмущение конкретным преступлением: артикуляция в духе Анатолия Якобсона. Я ее, пожалуй, сейчас не вижу. Якобсон писал свою знаменитую статью, отзываясь на конкретное, прямое действие, да? Вот. Это первое. Второе. Я заметил: как раз в условно «радикально» левых кругах распространена, очень развита рефлексия с дореволюционным и революционным периодом, и они в этом смысле внимательно смотрят на собственную историю.

И последнее. Хотел бы заметить еще, что если какой-то опыт сейчас действительно востребован и артикулирован, так это в первую очередь опыт лагерный, опыт сидельцев. Как много можно услышать цитат, замечаний от разных людей о том, как они читали, например, Буковского или Александра Подрабиника. Вот этот опыт, как «выстоять в лагере», я бы точно назвал востребованным.

Александра Крыленкова: Простите, можно я добавлю одну фразу? Яна Теплицкая из Петербургского ОНК просила передать, что при общении с сегодняшними заключенными очень часто звучат просьбы передать им литературу о том, как сидели люди раньше. И скажу уже от себя: очень ценно, когда бывшие политзаключенные советского периода переписываются с сегодняшними узниками. Это и способ передачи опыта, и трансляция некоторой «наследственности».

Сергей Лукашевский: Спасибо. Григорий Дурново...

Григорий Дурново: В отличие от других выступающих, которые говорили о различных явлениях – пусть и в одной плоскости, я буду говорить об одном-единственном явлении, о проект ОВД-Инфо, в котором работаю. Меня попросили высказаться в дискуссии на тему, связанную с тем, что время от времени в пространстве, в разговорах возникают сравнения ОВД-Инфо с «Хроникой текущих событий», от чего мне, надо сказать, довольно неловко.

Коротко опишу, что такое ОВД-Инфо, потому что, полагаю, все-таки не все знают. Проект возник в декабре 2011 года и поначалу предназначался для срочного опубликования информации о задержанных на акциях и о том, где они находятся. В настоящее время это, во-первых, информационное издание, распространяющее информацию о политических преследованиях в России, а во-вторых – организация, которая оказывает юридическую помощь в некоторых случаях политического преследования. Сравнение с «Хроникой» кажется понятным, потому что по крайней мере часть информации появляется «с земли», но все-таки очень много отличий, потому что важно понимать контекст, время, в котором мы находимся, и суть деятельности. И я хочу остановиться на том, что востребовано и на что хотелось бы быть похожими.

Во-первых, мы не работаем в условиях, когда нас преследуют за то, что мы делаем. То есть, естественно, мы существуем в контексте преследования правозащитных организаций, в контексте преследования за слова, но пока еще не за те слова, которые производим именно мы. Нас не сажают и этим не угрожают, и мы считаем, что пока мы за это не под угрозой.

Во-вторых. Известно, что авторы «Хроники» заявляли, что они не нелегально распространяются, и мы существуем в той же ситуации, как и другие информационные издания: мы распространяемся та-

ким же образом, с указанием авторов, хотя некоторые из авторов предпочитают свои лица не показывать на странице «О проекте». И хотя информация распространяется открыто в соцсетях, мы сегодня имеем дело с блокировками: нас самих не блокируют, но блокируют разные издания, похожие на нас. И, кстати говоря, у нас в свое время была кампания, когда мы предоставляли возможность с нашего сайта зайти на «зеркала» тех сайтов, которые были блокированы.

В-третьих. В большинстве случаев мы пользуемся доступными открытыми источниками, и информацию «с земли» (по телефону или через соцсети) получаем тоже открыто. И кроме того, даже в тех редких случаях, когда мы получаем информацию из мест лишения свободы, мы тщательно ее проверяем и обязательно указываем, что она получена именно из этого источника. И в этом принципиальное отличие: понятно, что для «Хроники» важнейшим была скрупулезная проверка информации, но во многих случаях важно было не указывать источник.

В-четвертых. Мы не выпускаем бюллетени несколько раз в год, а публикуем новости ежедневно, а также некоторые статьи несколько раз в неделю. Плюс инструкции, доклады, то есть сам формат совершенно иной.

В-пятых. Мы работаем не бесплатно, хотя начинался проект ОВД-Инфо исключительно на добровольных началах. Кроме того, во многих наших начинаниях участвуют волонтеры, за что им огромное спасибо.

Ну, и в-шестых. Мы не воспринимаем себя (и, кажется, не воспринимаемся) как что-то вроде главного дела правозащитного движения: мы не являемся ни «телом» этого движения, ни частью этого «тела». И те, кто поставляет нам информацию, не может быть приравнен к нашим авторам, хотя надо сказать, что мы сталкиваемся с тем, что активисты, которые нам ее поставляют, нас рассматривают как важнейший канал, а себя как таких вот важных поставщиков, почти как авторов.

А теперь все-таки к преемственности. Мне кажется, что при всей несхожести можно выделить некие принципы работы, на которые следует равняться, что мы и стараемся делать вопреки тому, что здесь говорилось о потере этого опыта, об отсутствии знаний. Мы восприняли стиль изложения, вот это спокойное изложение фактов; мы занимаемся правовым просвещением, объясняем, в чем заключается нарушение, как работают законы; мы пишем о том, что происходит во всей стране и с людьми самых разных убеждений.

И уж совсем конкретная вещь – то, что у нас на сайте есть рубрика «Истоки», многие тексты для которой написал присутствующий здесь Алексей Макаров. И несмотря на то что примерно половина участников ОВД-Инфо – это люди, родившиеся в 1990-х годах, то есть поколение, о котором говорят, что оно сильно оторвано от прошлого и ничего о нем не знает, – именно они проявляют большой интерес к тому, что в эту рубрику попадает, и к тому, о чем здесь много всего говорилось.

Сергей Лукашевский: Спасибо. Чтобы, как справедливо говорил Александр Черкасов, нам не замыкаться на собственном российском опыте и не создавать иллюзию собственной уникальности, я бы хотел передать слово Петру Поспихалу.

Петр Поспихал: Я попробую посмотреть на эту тему с другой точки обзора, потому что, конечно, современная Чехия не Россия: у нас другие события, другое общество, другие проходят процессы. Но если задуматься, в каких ситуациях можно использовать опыт диссидентских времен, различий будет не так уж много. У нас тоже есть демонстрации, есть протесты, есть разные ситуации, в которых надо защищать права человека. И основные ценности этого диссидентского опыта, которые можно использовать, – это организация, импровизация и конспирация.

Приведу пример, который показывает, что даже в таких стабильных странах, как Чехия, бывают очень полезны эти качества. В сентябре 2015 года, когда начался «беженский кризис», из Греции, из Турции прибывали тысячи, десятки тысяч беженцев. Конечно, в Чехию очень небольшая часть направлялась, но тоже прибывали. И в какой-то момент показалось, что общество вообще не способно справиться с этим вызовом: страх, истерия, истерические медийные кампании – «беженцы хотят нас уничтожить, убить, ужас!» Психологи называют такое общество больным, потому что большинство людей не хотят принять никого, кто как-то отличается от них, не хотят и слышать о помощи тем, кто в ней нуждается.

И мы, наши друзья немедленно стали организовываться, чтобы помогать беженцам, потому что эти люди «потерялись», они часто даже не знали, где находятся – Австрия это или Чехия. И как он это можно понять, если его языком является фарси или арабский? Даже знаков читать не умеет. И мы искали этих «потерявшихся» беженцев, собирали для них

деньги и т.п. Все это в очень враждебной общественной атмосфере, в которой плохими были прежде всего мы, потому что считалось: «пусть беженец сам приходит в себя, ему не надо помогать». И тогда возникла очень большая потребность в диссидентских ценностях. В течение часа надо было найти, где эти несчастные будут спать, найти переводчика, найти еду для этих семей. Конечно, все эти люди хотели в Германию, и надо было найти способ, как их отправить в Германию, но не помогать, потому что это разные проблемы, мы их не могли туда отвозить. И могу сказать, что тогда была невероятная истерия. Она в какой-то степени продолжается и сейчас. Последний раз неделю назад мою жену атаковали в Фейсбуке из-за отношения к беженцам.

И нам тогда мой личный опыт показался очень ценным, потому что требовалась такая импровизация, такая организация, такая конспирация, как тогда, ведь судьбы людей, которые потерялись в чужой стране, во многом зависели от нас: если мы не поможем, то с приходом зимы им будет еще труднее. Часто это были большие семьи без мужчин, с маленькими детьми, без денег – потрясающие случаи. И думаю, что диссидентский опыт, который мы использовали, – это знание права: мы должны не только помогать, но и знать, где не должны рисковать.

Мы позже с женой проехали всю эту балканскую трассу: Австрия, страны бывшей Югославии, Греция, Болгария. И мы встречались с потрясающими ситуациями, но оказывалось, что во всех этих странах защитниками беженцев были прежде всего люди, которые занимались правами человека или которые семейными связями были связаны с диссидентской средой. В Чехии в этот период в условиях огромного медиасопротивления впервые за тридцать лет появился самиздат: вышло три номера «Беженских листов».

Не знаю, возникнут ли еще такие ситуации, в которых мы должны будем использовать диссидентский опыт, но он содержит одну тонкость: когда в Праге мы искали семьи, готовые принять на ночлег чуждые арабские или афганские семьи, даже сочувствующие не хотели: для них это было уже слишком. И случилось так, что 60–70 % этих семей оставались ночевать или у сына Петра Уля, нашего друга с тех времен, или у нас дома, и для нас это было нормально, я не вижу в этом проблем... И думаю, то, что мы принесли с диссидентских времен, – доверие к человеку. Это очень важно.

Хочу обратиться к молодым: в ситуациях протеста помните, что есть опыт диссидентов, используйте его всегда.

Сергей Лукашевский: Спасибо большое за интересный рассказ. Возвращаемся в Россию, да? Алина Данилина.

Алина Данилина: На вопрос, востребован ли сегодня опыт диссидентского сопротивления, я хочу четко сказать, что да, так и есть. Я каждый день, пролистывая ленту Фейсбука, погружаюсь в эту обстановку гражданской активности в городе, в котором я живу, – в Москве. Этим занимаются люди, которых я знаю, с которыми я знакома лично, и это формирует у меня действительно впечатление, что преемственность опыта диссидентов – она проявляется здесь и сейчас, и я хочу описать, как именно я ее вижу, как она ощущается мною.

Во-первых, преемственность выражается в методах, которые используют люди, чтобы донести свою точку зрения, отличную от официальной, общепринятой. Во-вторых – это принципы, лежащие в основе такой деятельности. И конечно же, методы, которыми власть старается заглушить голоса активистов: они тоже достаточно схожи с теми, что были и пятьдесят лет назад.

Что было мотивацией для первых диссидентов? Я думаю, что это сильная, почти физическая потребность говорить правду о происходящем, когда официальные источники информации замалчивают какие-то события и ты считаешь своим долгом донести известную тебе информацию до широких масс. На мой взгляд, и сейчас действия, которые предпринимают активисты, то, как они выражают свое мнение, – это тоже в первую очередь мотивировано желанием донести до окружающих людей свою точку зрения, отличную от содержащихся в каких-то иных источниках.

Если смотреть на конкретные методы, используемые сейчас – какие-то общественные мероприятия, акции, пикеты, – все довольно схоже с тем, что делали диссиденты. Я, конечно, не назову явок и паролей, потому что их не знаю, но все еще существует самиздат; сейчас появились малые медиа, которые тоже могут донести точку зрения, отличную от преподносимой нам в официальных источниках; по-прежнему активисты используют метод обращения к руководству государства: они пишут письма, заявления в различные органы, обращаются к руководителям других государств. Например, к руководителям разных стран часто обращается Amnesty International, в конце 2018 года состоялась акция «Марафон писем», в рамках которой отправлялось множество открыток в Кыргызстан, в том числе и в правительство. Там была женщина, защищавшая права инва-

лидов, и все эти открытки отправлялись в защиту прав инвалидов. И вот буквально две недели назад в Кыргызстане был ратифицирован международный документ о правах инвалидов, то есть это победа, это здорово, очень здорово.

По сути, в той среде, где я нахожусь, главенствует принцип ненасилия. Люди звонят в ОВД-Инфо и мои друзья звонят в ОВД-Инфо, и когда меня задержали, тоже звонили в ОВД-Инфо. Люди стараются донести свою точку зрения, но при этом никого не раня. И эти люди так же, как и советские диссиденты, опираются на нормы права, на Конституцию РФ, на международные нормы и стараются сделать так, чтобы права, защищаемые нормативными документами, соблюдались.

И о методах, которыми власть борется с активистами сейчас. В воспоминаниях диссидентов я очень часто читала о том, как по окончании акций их отлавливали, избивали, что за ними велась слежка, их исключали из институтов, выгоняли с работы. Ну что я могу сказать как студентка университета: сегодня есть давление на гражданских активистов, угрозы, используются механизмы, чтобы людей за желание выражать свою позицию изолировать от общества. По закону «О свободе собраний» человека спокойно могут посадить на срок до 30 суток. Мне достаточно интересным показалось такое наблюдение: в УК 1960 года в статьях, по которым людей сажали, были формулировки «о призывах к насильственному изменению конституционного строя» и «участие в антисоветской организации». а в нашем нынешнем законодательстве аналогом антисоветской организации я считаю статью «об участии в нежелательной организации». «Антисоветская» и «нежелательная» – очень схожие определения. Понятие «нежелательные организации» регламентировано статьей федерального закона 129, а людей, причастных к «нежелательным организациям», называют «нарушителями конституционного строя», «посягателями на конституционный строй». Приведу пример. Анастасия Шевченко, гражданская активистка из Ростова, первая фигурантка уголовного дела, возбужденного по двум статьям УК за причастность к «нежелательным организациям». Поводом для открытия против нее уголовного дела стало то, что она участвовала в дебатах, организованных другими, и организовывала лекции о выборах. То есть это была чисто просветительская деятельность, которая никому не наносила вреда, не было никаких жертв, но тем не менее Анастасия сейчас находится в заключении.

И завершить свое выступление я хочу таким своим наблюдением: методы, которые использовали диссиденты, борющиеся люди используют и сейчас; наказывают их тоже схожими методами, эти практики мало в чем изменились со времен преследования диссидентов. И, на мой взгляд, самое главное, что мы выносим из опыта диссидентского сопротивления, – это сила духа, которой у диссидентов не занимать. Каждый раз, когда я перечитываю материалы, связанные с диссидентами, я восхищаюсь ими, я ощущаю атмосферу, в которой они боролись, переношу их опыт на нынешнюю ситуацию. И я считаю, что сила духа, которую мы можем заимствовать у диссидентов, нужна нам для того, чтобы бороться за правду и, как говорится, «за нашу и вашу свободу».

Сергей Лукашевский: Спасибо, Алина. Я хочу вас спросить: интерес и знакомство с книгами по диссидентскому движению произошло у вас до того, как вы включились в активистскую какую-то деятельность, или это была часть уже процесса участия в правозащите?

Алина Данилина: Это случилось, когда я в университете начала изучать советскую историю данного периода, но в это время я уже делала первые шаги в моей гражданской деятельности, так что эта тема меня очень заинтересовала, и я стала особенно внимательно к ней относиться.

Сергей Лукашевский: Спасибо. Павел Никулин...

Павел Никулин: Я тот человек, который знает явки и пароли тех, кто занимается самиздатом. Так вышло, что то, что делаю я в рамках проекта Moloko plus, по крайней мере на Западе маркируют как самиздат, причем «самиздат» пишут латиницей. Это, по-моему, третье слово из англоязычного словаря, которое перекочевало из русского после двух известных, которые тоже, кстати, называют одно известное медиа, но не хочется его здесь упоминать.

Мы конечно же интересовались опытом диссидентов, и это произошло очень естественно. Мы не искали какие-то учебники, по которым это делать, мы не сравнивали: мы делали что-то наобум. И, если честно, у нас нет никакой политической цели: мы делаем наш проект только чтобы себя развлечь – это чистая правда, и я не буду сейчас вставать на табуреточку в белом пальто. Просто сфера наших интересов спе-

цифична: нас интересуют маргинальные группы, радикальная политика, любое соприкосновение со всем запретным, любое табуированное в современных медиа. И мы никогда не говорили, что нам что-то не нравится, не выстраивали свою идентичность как что-то, что оппонирует государству, потому что, например, если нас будут другие люди учить жизни – нам абсолютно все равно, какую позицию они в обществе занимают: это человек в погонах, который приходит к нам срывать нашу презентацию, или это человек, который говорит: «Вы знаете, у меня есть большой опыт, я вас сейчас научу». Мы сами решили, что мы компетентны.

Мы сделали три номера; мы посвятили первый номер терроризму, второй наркотикам и третий революции – с очень мерзким, отвратительным просто до зубовного скрежета посылом: знаете, мы сейчас возьмем и расскажем вам, что все те понятия, которые вы знали, на самом деле не значат ничего; мы их сейчас разберем, пересоберем и оставим вас ошарашенными. В принципе мы работаем на какой-то точке взаимодействия, линии взаимодействия искусства и журналистики, потому что, с одной стороны, мы очень серьезно подходим к фактам, а с другой стороны, наша цель – воздействие, причем воздействие не конкретное, а воздействие... Ну, чтобы человек ушел и долго чесал потом голову, и другой цели у нас нет.

Почему же тогда нас интересует диссидентство? Так вышло, что мы успешны; мне кажется, 75 % нашего успеха – это то, что время от времени наши презентации срывает полиция, то, что я провел под арестом два дня когда-то, и это никак не характеризует наши качества. Я сделал паузу, потому что я в прошлый раз, когда говорил, что присутствие полиции на наших презентациях никак не влияет на качество того, что мы сделаем, совпало с приходом полиции, – я просто сейчас ждал, но это не то мероприятие...

И конечно же, нас просят время от времени рассказать о нашем опыте, а наш опыт – действительно вкладывать тренд этих новых медиа, учитывая, что новых медиа с точки зрения институциональной журналистики как некой теории еще не существует, по крайней мере никто их не описал. Я потрудился и поизучал, что вообще по этому поводу есть, и, конечно, когда мы описываем какой-то журналистский феномен, наша академическая цель – найти его предпосылки. В России у современной журналистики две параллельные предпосылки (мы не берем государственные медиа, которые так или иначе сейчас воссоздались): журналистика, которая была в эмиграции,

и та, которая была здесь подпольно. Параллельно я еще это изучал потому, что поступал на журфак в магистратуру.

Меня интересуют не моральные категории, не какие-то политические категории – меня интересует желание свободы говорить, которое было у людей, и то, как они его осуществляли. Я специально перечитывал большое интервью Людмилы Алексеевой для Colta, где она рассказывала, как печатала «Хронику»: она специально купила печатную машинку отдельную; она ходила к друзьям, которые ничем подобным не занимались, не были скомпрометированы; она печатала просто на бумаге. И меня эта техника, этот менеджмент сильно заинтересовали. Я думал: если люди еще в то время, когда не было Интернета, не складывались внешние обстоятельства, находили возможность делать то, что они хотят, – почему мы в XXI веке, когда каждый человек со смартфоном, а это готовый паблишинг, коллектив в одном лице, почему мы не можем этого сделать? У меня нет до сих пор ответа на этот вопрос, я до сих пор в поиске, но каждый раз, когда я рассказываю о нашем проекте и рассказываю о других похожих проектах... Я вот очень не люблю говорить: «знаете, мы приносим пользу обществу», «мы приносим кому-то пользу». Я не приношу никому пользы, кроме себя, но вот то, что мы абсолютно счастливы делать то, что делаем, и мы нашли этот способ и знаем, что лет сорок, пятьдесят, шестьдесят назад этот способ был намного труднее достижим и ответственность за то, что люди делают, была намного больше, меня очень сильно вдохновляет. Каждый раз, когда я хочу все бросить, смотрю в стену, думаю: если б ты это делал много-много лет назад, тебя бы посадили, а теперь меня не посадят.

Мне кажется, что самое страшное, что есть в этой жизни, – уныние. Я человек абсолютно неверующий, но считаю, что уныние и фрустрация – самое страшное, что есть у нас. И когда мы смотрим на людей, которые вопреки всему что-то делали, мы понимаем, что наши проблемы, наше самооправдание ничего не стоят – мы просто не хотим. И после осознания того, что мы ничего не хотим, наступает отчаяние, но по ту сторону отчаяния как раз лежит свобода. И я на той стороне, где находились и, может быть, находятся сейчас диссиденты. В общем, переходите на нашу сторону. Если вы хотите делать то, что вы хотите, если у вас есть этот внутренний импульс, то это надо просто делать.

Все свои выступления я заканчиваю простой мыслью: любой человек сейчас может делать «Хронику текущих событий», огромное коли-

чество других вещей, писать куда-то, создавать свои площадки. Так почему вы этого не делаете? Делайте, пожалуйста.

Сергей Лукашевский: Спасибо. В порядке маленького офф-топика я обнаружил, что есть еще одно слово, которое используется в написании латиницей, назовем его “тройка” – не в репрессивном смысле, а в традиционном.

Спасибо за выступление. Мне показалась действительно важной прозвучавшая сейчас идея преимущества от диссидентского движения как выбора своего особенного экзистенциального модуса в тех обстоятельствах, которые, казалось бы, загоняют в какие-то колеи несвободы в самом широком понимании этого слова.

И еще было бы важно отметить: очень большое место занимала, естественно, уже в диссидентском экзистенциальном модусе идея сопротивления вопреки тому, что результат непонятно когда будет и будет ли вообще. И для меня лично в нынешней ситуации это одна из самых главных вещей. Но, возможно, для современного такого активистского движения может быть больше поводов отмечать свои успехи. Может быть, еще не исчерпан этот лимит социального и политического оптимизма, но момент, который мне кажется главным и, с моей точки зрения, довольно сильно резонирует с сегодняшней ситуацией, – мы совершенно не предполагаем, когда все это кончится и кончится ли в обозримом будущем.

На этом давайте перейдем к обсуждению. И первый в списке записавшихся Александр Юльевич Даниэль.

Александр Даниэль: Вы знаете, я и восхищен, и растерян: было много очень интересных выступлений. И моя реакция – это не реакция, а очень спонтанный набор не очень связанных между собой реакций. Иногда частных, иногда чуть более общих, хотя я страшно не люблю в разговоре о диссидентах говорить какие-то обобщающие вещи. Диссиденты – фантастически разные, но, тем не менее, видимо, какие-то суждения мои вопреки этому будут обобщающими.

Начну с первого такого обобщающего суждения, это реакция на слова Саши Черкасова об отсутствии уникальности, единственности. Саша призывает отказаться от этого чувства, и правильно призывает. Я совершенно солидарен с этим призывом понять, что мы сегодня не пуп земли, а довольно глухая провинция, не очень интересная миру. Но хочу сказать, что это же была почти всеобщая

болезнь советских диссидентов. Они были абсолютно уверены, что главная проблема мира – внутренние проблемы России; что ничего существеннее того, что происходит в России, нет; что ничего страшнее того, что происходит в России, нет. И если правда это есть в сегодняшних протестных движениях, то это даже не традиция, это, я бы сказал, архетип, какая-то архетипическая матрица. Это одно замечание.

Второе замечание относится уж не помню к чьей реплике о том, что часть сегодняшних протестных движений апеллирует не к диссидентским традициям, а к более ранним традициям, например, революционеров XIX века. Ну так я вам скажу, что и в диссидентской среде и даже чуть шире – в диссидентских поколениях интерес к революционерам XIX века был колоссальным. Как рвали из рук книжки Эйдельмана, Давыдова, Лебедева: это же ни в сказке сказать, ни пером описать! Это не значит, что люди, которые читали эти книжки, перенимали опыт, систему ценностей этих революционеров, – нет, это не так. Но интерес был колоссальный, и, наверное, интерес – это то, что должно быть всегда, везде и ко всему.

Третье, но не в порядке важности. Наверное, самое важное, что я хотел сказать, это то, что активистам и мыслителям нового протестного движения следует думать не о том, что заимствовать из диссидентского опыта, а о том, от чего в этом опыте надо отказаться. Не мне рекомендовать, от чего отказаться, но, по-моему, всегда нужно смело отказываться от того...

Александра Крыленкова: Кому, простите?

Александр Даниэль: Ну, не знаю. Им самим: что для них - приемлемо из принципиальных общих диссидентских основ, а что неприемлемо. Но если в новой фазе протестного движения что-то жмет и мешает, нельзя говорить о диссидентах, что «диссиденты делали по-другому», «диссиденты делали так-то», нельзя.

И, возвращаясь к общим суждениям, я хочу сказать о мировоззренческих общих диссидентских установках. Тут возник спор об экзистенциальной сущности диссидентской...

Сергей Лукашевский: Не спор – мне просто показалось это очень важным.

Александр Даниэль: Это действительно очень важно, но я хочу сказать, что на самом деле есть две формулы. Одна – это формула, которой закончил свою книгу Юрий Айхенвальд, свою замечательную книгу «Дон Кихот на русской почве». Впрочем, это не его фраза, это из какого-то древнего китайского философа. Максима звучит так: «Стремить свой дух ввысь, ни на чем его не основывая». Это ведь то, о чем вы говорили, правильно?

Павел Никулин: Да.

Александр Даниэль: Вот. Это одна формула. А другая формула – формула диссидентская, безусловно, страшно важная, мировоззренчески образующая. Это формула Сахарова, который в каком-то интервью говорил примерно то же самое, а потом остановился и добавил – впрочем, опять же не свою фразу, процитировав Маркса, который процитировал тоже кого-то, какого-то немецкого классика. «А впрочем...» – добавил, говоря о том, что он не ждет никаких изменений при своей жизни и при жизни ближайших поколений. «А впрочем, крот истории роет незаметно». И я считаю, что не надо рекомендовать людям, на какую формулу опираться, – они сами выберут, на что им опираться, и, наверное, разные люди будут опираться на разное. Но опираться можно и на то, и на другое – вот что я хочу сказать. Пафос отчаяния – это тоже сильный пафос. И конструктивный.

Ну, и наконец, последнее, нет, предпоследнее, простите. Все-таки главная суть того, что делалось, если говорить о методе, – это, если коротко, это ОВД-Инфо. Смысл диссидентской деятельности в основном состоял в простой формуле: «Записать все, как есть, и попытаться предать это гласности». Это то, что делает ОВД-Инфо...

Сергей Лукашевский: «Чтобы ни один случай беззакония не остался без общественного осуждения...»

Александр Даниэль: Ты цитируешь?

Сергей Лукашевский: Яacobсона.

Александр Даниэль: Это Яacobсон? Даже не в общественном осуждении дело, а в предании гласности. А что общество будет с этим делать – осуждать или рукоплескать – это его, общества, дело.

И теперь, наконец, последнее, уже совершенно ни к чему не относящееся. Может, сумбур моего выступления с этим и связан: как меня ударила по голове одна фраза, сказанная вначале любимой мною женщиной Зоей Световой, так я никак не мог опомниться и собрать мысли в кулак. Она сказала: «А потом он, Сенцов, вырос до политзаключенного». Вот я до сих пор не могу осознать, что значит эта фраза: был кинорежиссером, а вырос до политзаключенного. Не знаю, не знаю... В этом, может, что-то очень важное заключено, но понять, что в этом важно, я не могу: мне надо долго и мучительно думать об этом...

Зоя Светова: Мне кажется, это вещь очевидная. Я просто пыталась быстро сказать, потому что здесь такая аудитория, которая все понимает, ей и объяснять нечего. Да, действительно, он вырос до политзаключенного, который смог объявить голодовку и голодать за других, а раньше ему это и в голову не приходило.

Вот я бы хотела тоже, Саня, поспорить. Я не поняла, когда ты сказал, что «может быть, нужно в чем-то отказаться от диссидентского опыта». Во-первых, для того чтобы от него отказаться, – я повторяю свой тезис – нужно его узнать. А во-вторых – почему от него нужно отказаться? Вот ты сказал, что самое важное – это ОВД-Инфо. Да, это важно, но мне кажется, что еще одно из самого важного – это нравственное, то, что было в диссидентском движении и чего сейчас, в общем-то, и есть, но нет среди современных инакомыслящих. Есть, с чем сравнить, есть, к чему нужно стремиться. Я не знаю, может, те диссиденты были люди того времени, но для меня суть диссидентского движения – эта нравственная составляющая, которая у них была.

Сергей Лукашевский: Спасибо. Ирина Флиге...

Ирина Флиге: Я получила огромное удовольствие от этой дискуссии и все время брала в руки программку еще раз посмотреть, как называется наш круглый стол – «Востребован ли опыт диссидентов?», и меня не покидало беспокойство. Сегодня на излете уже второй день конференции, посвященной истории диссидентского движения, были замечательные доклады – исследовательские, научные. Все это было, но предмет не изучен. И поэтому мне кажется, что в сегодняшних практиках, сегодняшних информационных моделях

безмерно востребован опыт диссидентского движения, потому что мне кажется, что это самовоспроизводящаяся система. С очень схожими чертами. Об этом замечательно говорила и Алина Данилина, и я знаю это просто из общения с людьми, которые сегодня занимаются и сбором информации, и помощью арестованным, и помощью задержанным. С вопросом, что бы такое почитать, приходят, ну, после второго задержания, и тогда: «О-о-о! – такое узнавание, – хэ, похоже...» Но мне бы хотелось обратить внимание на то, о чем и Зоя Светова сказала, – мы не знаем, что такое «диссидентство», это явление в целом изучено плохо. И мне кажется крайне продуктивным изучение истории правозащитного, диссидентского и антисоветского сопротивления.

Сергей Лукашевский: Спасибо. Александр Подрабинек...

Александр Подрабинек: Даниэль правильно сказал, что надо опираться на разные системы. И если отвечать на вопрос «востребован ли диссидентский опыт сегодня», то следует признать, что сам вопрос немного двусмысленный. Первый смысл состоит в том, нужен ли он сегодняшнему обществу, а второй – насколько он усвоен. И это разные вещи. Я бы на первый вопрос ответил категорически «да», такой опыт нужен нашему обществу, а на второй вопрос также категорически ответил «нет», он не усвоен. Более того, он не только не усвоен, он отторгается в современном обществе, его не хотят.

Позвольте очень общее рассуждение. Возьмем наш народ в целом. Он не очень заинтересован в свободе, не очень заинтересован в правах человека. Он живет чиновничеством, страхом перед начальством, страхом, вечным страхом совершить какую-нибудь ошибку.

Возьмем культурную элиту. Она всегда обходилась без свободы, она всегда была «своей» в коридорах власти. Даже самые талантливые писатели, драматурги, музыканты всегда были при власти. Они и раньше ходили получали Сталинские и Ленинские премии, и сегодня идут получать ордена от Путина. Причем это талантливые люди, я не говорю о людях бесталаных, которые просто ищут, где бы зацепиться, нет – талантливые люди, умные, хорошие, умницы. Они идут и записываются в доверенные лица к Путину. Как можно говорить о востребованности диссидентского опыта в этом случае? Никак.

Возьмем политическую оппозицию. Они все толпятся в прихожей у Путина. Вся их цель – дойти до власти. Никакого сопротивления,

никакого этического сопротивления нет, об этом и речи нет. Они готовы нарушать Конституцию, идут подавать просьбы о «согласованных митингах», согласовывать с властью. Это антиконституционно. Мог ли представить себе в Советском Союзе кто-нибудь, чтобы кто-нибудь отправится согласовывать митинг 5 декабря на Пушкинской площади с местной властью? Мысль такая в голову не придет. А сегодня это в порядке вещей, хотя, еще раз обращаю внимание, что это противозаконно. Или вот еще: все на митингах или перед митингами добровольно идут на обыск. Ну, можно ли себе представить, чтобы диссиденты в советское время добровольно шли на обыск в полицию?

Казалось бы, где должен быть воспринят диссидентский опыт, как не в правозащитном движении, в правозащитном сообществе. Но и тут то же самое. Правозащитные организации по большей части (да практически все) стремятся встроиться в систему власти, а не противостоять ей. Правозащитники сидят в советах, в общественных советах при министерствах, при правительстве, при президенте – и считают это нормальным. Не возникает конфликта интересов: источник нарушения прав человека – всегда власть и никто другой, и при этом правозащитники готовы прийти и коллаборационировать с властью. Я уж не говорю о том, что в диссидентское время было бы немыслимо принимать деньги на правозащитное движение от власти. Сегодня правозащитные организации почти поголовно все получают или пытаются получить правозащитные гранты; все – Московская Хельсинкская группа, Движение за права человека, «Русь сидящая», «Агора».

Зоя Светова: «Русь сидящая» – нет. Зачем ты говоришь?

Александр Подрабинек: «Русь сидящая» подавала...

Зоя Светова: Но она не стала брать эти деньги.

Александр Подрабинек: Я говорю о тех, кто пытался получить.

Зоя Светова: А «Мемориал»?

Александр Подрабинек: Давай потом, Зоя. «Мемориал», Сахаровский центр – все пытались получить. Некоторые получали, некоторые пытаются получить, а им отказывают, да? С моей точки зрения,

это еще куда более позорно, когда попросили, а им еще и отказали...

Ну, о каком усвоении диссидентского опыта может идти речь? Усвоить диссидентский опыт – это не значит научиться правильно отвечать на допросе, или правильно обнаруживать за собой слежку, или правильно организовывать какие-то акции. Усвоить диссидентский опыт – это значит проникнуться духом сопротивления, осознать личное и гражданское достоинство, которое не позволит потом ни получать деньги от тиранов, ни ходить на «совет нечестивых», ни писать прошения о помиловании, которые стали сегодня нормой для политзаключенных, – об условно-досрочном освобождении или о помиловании. Тогда были такие случаи, но это были исключения, было немыслимо, чтобы это стало нормой.

Я думаю, что мое выступление ничего не изменит, и вообще мало что может измениться в этом мире. Потому что большинство сегодняшних общественных активистов исходят примерно из общей посылки, что политика – это искусство возможного: вот мы что можем, то делаем, ведь политика – искусство возможного. Но если политика – это искусство возможного, то диссидентство – это искусство невозможного, и это искусство на сегодняшний день утрачено.

Сергей Лукашевский: Спасибо.

Александр Черкасов: Должен заметить, что ничто так не ценится, как постоянство, потому что Саша Подрабинек тридцать лет назад клеймил Сахарова за то, что тот пошел в Верховный Совет, двадцать девять лет назад – Ковалева. Сохранить молодость в течение такого долгого времени – это дорогого стоит...

Сергей Лукашевский: Я еще дам слово всем сидящим за этим столом для завершающей реплики. Константин Морозов...

Константин Морозов: Мне кажется, что эта постановка вопроса несколько сужает тему. Я хочу подхватить то, о чем уже говорили, но расширить этот сюжет, на мой взгляд, очень важный, потому что и диссидентское движение, и предшествующие этому различные виды и формы сопротивления и противостояния, которые были в начале советской власти и носители которого, включая социалистическое сопротивление, были уничтожены, как и предшествующий

период освободительного движения, – это все единое пространство. И когда пятнадцать лет назад мы сочиняли с Арсением Борисовичем и Яном Збигневичем текст к сайту, где надо было описать роль социалистического сопротивления, то там так и говорили, что это единое пространство, но это – несколько поколений разных людей, в совершенно разных условиях, по-разному отвечавших на процессы, и дело личного выбора.

С этой точки зрения, каждый из этих больших периодов борьбы сопротивления и личного выбора требует переосмысления, потому что это только кажется, что освободительное движение хорошо изучено; оно изучено в той части, где речь идет о программах идейных взглядов, а вот там, где речь идет о том, что сейчас для нас важно, – об этическом выборе, выборе человека, о взгляде на себя и на ключевые вопросы, которые каждое поколение решает для себя: как жить по правде, как воспринимать этот мир, народ для государства или государство для народа, – эти темы практически не изучены.

Как историк я могу сказать, что совершенно точно сейчас требуется переисследование очень многих сюжетов с упором на исследование субкультур – субкультур каждого из этих течений с особым вниманием к этике субкультур, в том числе и политзаключенных в каждой из эпох. Но связи разорваны и в том числе и потому, что физически уничтожили носителей самой мощной субкультуры дореволюционного освободительного движения. И, собственно, диссиденты застали какие-то отголоски.

В завершение хочу сказать, что в принципе, на мой взгляд, все мы по большому счету опять возвращаемся к тому же главному – к исследованию человека и человеческой солидарности в осмыслении себя и своих ценностей. И в освободительном движении, и в сопротивлении большевикам в годы Гражданской войны и после нее, и в диссидентском движении есть совершенно точно общие вещи, которые как раз и будут важны сегодня для понимания.

Сергей Лукашевский: Спасибо. Алексей Симонов...

Алексей Симонов: Я совсем коротко. С тех пор как диссидентство было переведено на современный русский язык как «правозащита», оно сильно изменилось. Я вообще думаю, что мы пропустили момент лингвистического анализа и осмысления, потому что понятие «правозащита» очень много отняло у людей, которые диссидентством

занимаются, побудило их к очень многим вещам, которыми они не должны были бы заниматься и о которых сейчас Подрабинек так активно и решительно заявил, просто отказав во всем. Во всем я с ним совершенно согласен, кроме конкретных вещей по каждому отдельному случаю.

Сергей Лукашевский: Спасибо. Теперь к тем, кто хочет как-то отреагировать на весь сегодняшний разговор, большая просьба уложиться в одну-две минуты.

Александр Черкасов: Я хочу ответить на поставленный вопрос: востребован ли сегодня опыт диссидентского сопротивления. Да, он просто был необходим.

Так уж получилось, что вначале я параллельно то куда-то ездил, то расписывал «Хронику», то оцифровывал ее, то расписывал диссидентские мемуары. А потом я в основном уже ездил в республики Северного Кавказа, общался с разными людьми, которые не очень склонны к писанию и для которых возникал вопрос: а как же вообще можно всем этим заниматься? Вот каких-то там восемнадцать-девятнадцать лет назад, когда мы только начинали работу наших чеченских, ингушских офисов, от которых теперь почти ничего не осталось, моя основная задача была вовсе не писать тексты, а говорить с людьми и попытаться рассказать им, как можно жить в «долгом времени», при том, что сами-то они в «долгом времени» не очень привыкли жить. Мы сами не ожидали, что первые доверенности в Страсбург получим в 2000 году, первое решение Страсбурга получим в 2005-м. Сейчас кто-то из бывших моих коллег механизатор, адвокат (вот таковой адвокат!) Но главное, что он живет, и остальные, восприняв не какие-то общие моральные установки, а скорее через рассказанные мной истории людей, оказывавшихся в каких-то обстоятельствах и как-то что-то делавших, какие-то иногда смешные истории, приобщились к этому опыту. Кому-то это помогло, а кто-то сейчас сидит в Грозном в следственном изоляторе и думает, что ему делать. Все эти люди, с кем мы работали эти годы, с кем работал я, так или иначе приобщались к тому, к чему я не был причастен лично, но я мог им ответить на многие вопросы, опираясь на опыт диссидентов, без которого не на что опереться. Это очень важно, и это будет очень важно, к сожалению, в том «долгом времени», в котором мы живем.

Зоя Светова: Я очень коротко о том, что сказал Алексей Симонов о неправильном переводе слова «диссиденты» и неправильном истолковании. Мне кажется, что на самом деле «диссиденты» – это не равно «правозащитникам»: «диссиденты» – это «инакомыслящие». И при этом «правозащитник» может в то же время быть «инакомыслящим». Вот давайте возьмем Михаила Федотова. Он кто? Он правозащитник? Да, он официальный правозащитник. Но он инакомыслящий? Думаю, нет. Здесь очень тонкая грань, и не нужно все смешивать в одну кучу.

Я выросла в семье диссидентов, и я никогда не думала, что диссиденты – это правозащитники. Вот мои родители, они что, были правозащитниками? Да нет. Поэтому здесь, мне кажется, надо как-то этот термин объяснить, чтобы не валить все в одну кучу. А брать гранты или не брать – это каждый решает сам для себя, и каждый за это платит, и каждый решает, что для него важнее – что-то сделать на эти президентские гранты... А в конце концов знаете что? Эти гранты – это на наши налоги. Наверное, те, кто их берет, так себе это объясняют. А можно ли их назвать инакомыслящими – не знаю, это надо у них спросить.

Григорий Дурново: Я, наверное, возражу Александру Юльевичу, сказавшему, что воспринимать себя как пуп земли было свойственно и диссидентам. Мы часто слышим об оторванности нынешнего поколения от вроде бы недавнего прошлого. Но на самом деле очень много молодых людей, которые много знают о том, что происходило и сейчас происходит у нас и в других странах. Это было и в доинтернетную эпоху, а уж интернетную тем более. И это может быть залогом того, что прошлый здешний опыт будет включен в общемировой контекст и таким образом будет воспринят как должно.

Александра Крыленкова: Знаете, лет двадцать назад, читая разные диссидентские воспоминания и пытаясь изучать эпоху, я мечтала: пожить бы мне в ту эпоху, чтобы понять, а как бы я себя повела? Домечталась, что называется. Теперь мне сложно понять, а живу ли я так, как тогда мечталось, и так, как считалось камертоном. Мы тут все говорим «диссиденты, диссиденты, диссиденты», как будто не выяснили за двое суток, что никто точно не понимает, кто такие диссиденты, где границы, определяющие это понятие.

И еще несколько раз здесь прозвучало, что диссидентское движение недостаточно изучено для того, чтобы этот опыт мог быть востребован или принят. Мне кажется, что он не столько не изучен, сколько не мифологизирован: у нас нет сформировавшихся мифов о том, что такое «диссидентское поведение», что такое «диссидентская мораль»... На самом деле диссиденты, если говорить о сопротивлении того периода, – это очень разные люди, с разной моралью, с разными убеждениями, с разными методами... Со всем разным. Информации, изученности фактов достаточно много, но воспринимать мы можем не изученные факты, а только мифы, но мифов этих у нас нет.

Петр Постихал: То, что сказал Саша Подрабинек, интересно, но он очень бескомпромиссен. Я думаю, если помогаешь людям в качестве правозащитника, – там есть пространство для компромиссов, потому что цель этой правозащиты – помогать кому-то, помогать эффективно. Но если ты заражаешь своими идеями, – там нет пространства для компромиссов. Разница в этих дефинициях, по-моему.

Ну и, кроме того, хотелось сказать, как я вижу диссидентство. Мы в то время никогда не чувствовали себя жертвами, никогда. Даже в тюрьме мы не были жертвами. Мы всегда были активными хозяевами своих жизней, даже там, где это было трудно. Вот такая была психология. Интересно, что то же самое было в Чехии, в Польше, в России, в других странах – мы не были жертвами.

Алина Данилина: Было поднято много интересных вопросов, но меня, поскольку я студент-политолог, сильнее всего затронул вопрос, стоит ли инакомыслящему присоединяться к действующей власти. Сначала я подумала: да, это необходимо, потому что, с одной стороны, инакомыслящим необходимо налаживать контакт с властью, необходимо пользоваться какими-то механизмами для достижения своих целей, потому что, когда у тебя появляется такая должность, ты обладаешь действительно широкими возможностями для осуществления своих задач. Но, с другой стороны, при этом ты теряешь какую-то свою субъектность как правозащитник, как инакомыслящий, потому что понимаешь, что если ты будешь действовать как душа захочет, то есть достаточно радикально, тебе просто закроют все твои возможности и механизмы и ты вылетишь из власти.

Однако для меня, человека, болеющего душой за гражданское движение, выступать на одной стороне с теми, кто по сути является един-

ственным источником нарушения прав человека, было бы, наверное, неким предательством.

Я буду думать над этим вопросом, сейчас категорической позиции у меня нет.

Павел Никулин: Тут все так или иначе реагируют на выступление Александра Подрабиника, я не исключение. Я согласен, что нужен миф. Вообще для того, чтобы что-то появилось в сознании, нужен миф.

Я вспоминаю, как одному редактору, скажем так, правозащитного издания (и это не ОВД-Инфо) я говорил, что «знаете, ребята, вы ведь делаете по сути то же, что делали диссиденты», – типа, это очень круто. И он обиделся, потому что, по его словам, диссидентство – это «старческое шарканье тапочками». Я долго думал, откуда эта фраза, и вспомнил, что так Лимонов писал о Сахарове. Удивительно, что при этом у Лимонова в его воспоминаниях – особенно до-американского периода – вполне классные люди позиционировали себя как диссиденты. И в этом смысле очень важно позиционирование, позиционирование себя как классного. И кажется, что все это несерьезно, что это какие-то люди, которые ходят, трясутся, говорят о каких-то возвышенных вещах, оторванных от реальности, – но это же не так, а мифа нет. Существуют же мифы, которые работают, и никто даже не знает, кто их в голову поместил. Это первая моя мысль.

Вторая – все эти формальные критерии. Мне очень понравилось определение диссидента как человека, который не делает определенные вещи: не сотрудничает, не ходит, не просит, не берет... Это классно, потому что это на самом деле оставляет огромный спектр возможностей, того, что можно делать. Мне кажется, что для того чтобы человеку себя охарактеризовать, необходима формализация: если кто-то в 2010-х или 2020-х скажет: «Я – диссидент», ему нужно объяснить: «Я диссидент, потому что делаю то-то и не делаю того-то». При этом мы понимаем, что, если люди делают шаг от формализации к наполнению, в поисках возможностей они взаимодействуют с властью, потому что видят власть иначе – не комплексно, а «раздробленно». Они понимают, что какая-нибудь региональная структура – это не совсем «хоромы» Путина, а какой-то отдельный полицейский – это не часть огромной репрессивной машины, а отдельно действующая, пусть хаотическая, опасная, истерическая, но отдельно действующая сущность. Поэтому чем больше у человека опыта,

тем больше он видит возможностей, и если ему предстоит что-то сделать не по правилам, он должен, как Макмерфи из психиатрической больницы «Полета над гнездом кукушки», хотя бы попытаться. Последнее. Меня всегда смущает, когда люди говорят о правах человека, потому что это неопределенная категория. Когда их не нарушают, они никого не волнуют, а когда их нарушают... Вот когда человека бьют, когда его пытаются, ему все равно, нарушается при этом какая-то конвенция или нет, законно это или нет. А ведь до сих пор существуют государства, где пытать можно, никаких конвенций они не подписывали. Мы же не можем сказать: «Ну, да, хорошо. Они в наши игры не играют, поэтому пусть пытаются: это какие-то другие люди, возможно, даже инопланетяне, пусть они живут по своим законам». Мне абсолютно все равно, разрешается ли человека пытать, если пытаются меня, – это определенно плохо в независимости от того, по каким законам действует та сущность, которая со мной взаимодействует.

Не так давно был приговор суда по делу Игоря Шишкина, вызвавшего много споров. Мне объясняли, что спор сводится к тому, что вот есть права человека, а есть личный интерес конкретного человека побыстрее выйти из тюрьмы. И так вышло, что личный интерес фигуранта абсолютно противоречит самой идее прав человека: ему неинтересно привлекать к ответственности людей, которые его пытали, а то, что его пытали, очевидно. И если говорить о задаче, стоящей перед теми, кому важно было бы, чтобы понятие «диссидент» не превратилось в какой-то миф, сконструированный какими-то людьми, которые хотят вычеркнуть это понятие из истории, – надо добиваться того, чтобы личный интерес человека соответствовал каким-то коллективным принципам. Чтобы атака на личный интерес воспринималась людьми как атака на коллективное дело, а атака на коллективное дело и его защита стали бы личным интересом.

Я не очень понимаю, как это делать, потому что, как мне кажется, общество атомизировано, а любую идею – в том числе права человека – люди просто используют для достижения каких-то своих целей. Ну, например, в любом потогонном производстве где-нибудь в Юго-Восточной Азии никто никогда не скажет: «Мы платим людям достойную зарплату», а скажут: «Мы соблюдаем права человека». И это абсолютная профанация, потому что люди там сходят с ума, кончают с собой, и им абсолютно все равно, что их контора подписала какие-то бумажки и формально все их права соблюдены. Даже

российское государство при желании и способных людях в Администрации Президента может обставить все так, что это все будет выглядеть и восприниматься как абсолютное, точное, четкое следование букве закона, букве всех международных конвенций, но мы с вами в этом «режиме санатория» жить не сможем.

Составители «Хроники», которую я очень люблю, потому что вижу какую-то мистическую связь с тем, что делаю сам, как раз и говорили о том, как оно на самом деле есть, и им было абсолютно все равно, по закону советскому все это творится или не по закону. Это, в общем, не важно, по закону людей пытаются или не по закону, по закону государство расстреливает или не по закону. Я недавно вернулся из страны, где есть смертная казнь. По закону все происходит, но мы что, принимаем?... Узаконена смертная казнь в Белоруссии, это поближе. Меня это возмущает, как и внесудебные казни в России. Это для меня безоговорочно явления одного порядка.

Сергей Лукашевский: Спасибо. Трудно как-то подытожить этот очень важный разговор. Скорее можно сказать, что была обозначена проблематика и обозначены возможные узлы каких-то, может, будущих дискуссий. Скажу в заключение о том, что для меня лично в данный момент самое главное. Есть гигантский практический опыт – Венесуэлы, там, Украины, не суть. И может быть, этот современный практический опыт вовне, вокруг нас, более необходим, чем практический опыт диссидентского движения. Но реальное сопротивление, и в том числе реальное правозащитное движение, возможно только в большой степени при опоре на те самые архетипы, культурные мифы. В нашей культуре сегодня действительно есть много исторической изученности, но, наверное, это отчасти какой-то недостаток. Я вот своим детям не читал «Историю инакомыслия» Людмилы Алексеевой и даже не подсовывал им воспоминания; но я с ними слушал «Московские кухни» – сначала слушал сам, а потом и они вместе со мной. Я не знаю, будут ли они участвовать как активисты в чем-то, но я вижу, что этот культурный миф, культурный архетип в них есть, и это, наверное, то, без чего по крайней мере востребованность и преемственность не будут сильными и очевидными.

Александра Крыленкова: Пишите, пожалуйста, письма заключенным. На сайте «Мемориала», например, в разделе «Политзаключенные»

есть адреса, и можно писать, теперь можно писать по электронной почте. Письма исследователей, самих участников диссидентского движения очень нужны тем, кто сейчас сидит, этот опыт страшно востребован.

Сергей Лукашевский: В завершение не только сегодняшней нашей дискуссии, но и работы всей конференции – слово Елене Борисовне Жемковой.

Елена Жемкова: Спасибо большое. Действительно, нужно сказать итоговые слова. Первое – я хочу поблагодарить тех, кто приехал и пришел. Может быть, это не все знают, но здесь почти в полном составе присутствовало Правление Международного Мемориала, и я очень рада, что приехали коллеги из разных регионов и разных стран, а им там сложнее, чем нам, поэтому я хочу всех поблагодарить. И хочу поблагодарить тех, кто нас поддерживает. И дело не только в деньгах, которыми нас поддерживают, – я хочу поблагодарить волонтеров, которые работали на этой конференции, вообще волонтеров «Мемориала», волонтеров наших проектов. Так что первое – это спасибо нам всем.

Второе. Это были первые Чтения памяти Арсения Борисовича. И конечно, опять-таки надо поблагодарить тех, кто, собственно, эти Чтения организовал: Александра Даниэля, Ирину Щербакову, Бориса Беленкина, не получилось бы ничего без Кати Мельниковой. Но не только эти названные люди – много людей работали, чтобы эти чтения состоялись. По-моему, Чтения получились, и получились они, как мне кажется, как раз потому, что не были совсем в прямом смысле об Арсении, но были по теме, которая волновала его. Проект, который сейчас реализуется, наша конференция, – это то, что им самим и было задумано, и мы с ним это обсуждали. Я рада, что первые Чтения получились, и обязательно будут вторые.

Третье – это то, что «Мемориал» продолжает работать. И я обращаю ваше внимание на то, что позавчера в этом здании открылась новая и, мне кажется, очень интересная выставка «Собачье сердце: приключения запрещенной книги». Приходите и посмотрите эту замечательную выставку. А 5 апреля откроется еще одна выставка – выставка о цензуре, которая будет называться «А упало, Б пропало». Так что «Мемориал» продолжает работать в разных своих направлениях. Приходите, мы будем очень рады.

Четвертое. Нам нужна ваша помощь. Я обращаю ваше внимание: мы 5 марта начали сбор денег на еще одну, следующую Книгу памяти

жертв катынской трагедии. В 2015 году мы издали одну книгу – Книгу памяти «Убиты в Катыни». Многие, в том числе и сидящие в этом зале, помогли сбору денег, тогда мы собрали 880 тысяч рублей и издали книгу. Не все понимают: сейчас опять Книга памяти о Катыни? Да, опять, потому что этих жертв Катынской трагедии было 21 500, и массовых захоронений было несколько. Теперь подготовлена следующая Книга памяти – «Убиты в Калинин, захоронены в Медном». И в этой Книге памяти уже не 4500 имен, а больше 6000. И это будет трехтомник, потому что, кроме того что в этом издании в полтора раза больше имен, чем в первой книге, в нем еще будут впервые опубликованы очень важные документы: протокол допроса сотрудника КГБ, благодаря которому, собственно говоря, было определено место массового захоронения; протоколы польской эксгумации и эксгумации российской и многое другое.

Мы абсолютно уверены: эта книга не может быть издана на деньги какого-то фонда – не то что зарубежного, но даже российского. Книга, работа над которой продолжалась более 15 лет, готова, она уже в макете, но собрать деньги на издание, на типографию должны мы, частные люди. Поверьте, проще было бы прийти к трем-четырем богатым людям и получить эти деньги от них, но это просто неправильно: пусть богатые люди жертвуют на эту книгу, как все мы. Но помощь нам нужна не только деньгами. Нам очень важно, чтобы вы распространили эту информацию в ваших фейсбуках, в ваших сетях, среди ваших знакомых – нам надо собрать 1 700 000 рублей. 1 700 000 – это много, но чтобы это собрать, 1700 человек должны сдать по 1000 рублей, а это не так много. Я не поверю, что среди нас, среди наших друзей, в наших городах нет 1700 человек, которые сдадут по 1000 рублей, этого просто не может быть. Нам всем надо это сделать, и нам нужна ваша помощь.

Сегодня 30 марта, день рождения Арсения, и мы очень хотим все вместе его памянуть. Он был человек веселый, даже немножко хулиганистый и считал, что серьезные конференции должны завершаться дружеским общением, стихами, песнями, рюмкой... И я вас приглашаю выпить в память Арсения и за успешное окончание этой конференции. За то, чтобы были еще Чтения, и за то, чтобы у нас была возможность встречаться и не было такого, когда кто-то не приезжает, опасаясь за свою безопасность или потому, что ему не дают визы. Я благодарю докладчиков прекрасных, чудесных, разных, которые сегодня здесь – и на сцене, и в зале. Всем спасибо!

Михаэла Стоилова

Память о диссидентском сопротивлении в СССР
и современная чешская молодежь
Опыт преподавателя

Что касается земли, природы, ресурсов – мы можем вслед за Сент-Экзюпери спокойно сказать: «Мы не только наследуем Землю предков, мы берем ее взаймы у наших детей». Но как нам быть с наследием истории, и что нам делать с тем, что при нас произошло и повлияло на судьбы и отдельных людей, и целых народов, на культуру, на общество? Как распорядиться этим наследием?

Тема советского диссидентства мне очень близка, и мне, преподавателю, важно, как эта тема передается следующим поколениям. И тема передачи наследия меня также беспокоит. Я рада возможности выступить на этой конференции и поделиться своими наблюдениями, вынесенными из общения с молодежью, как учитель, как мать, как гражданин. К сожалению, материала было немного: в основном небольшие блиц-исследования мои и моих коллег.

Моими главными источниками были прежде всего ученики пражской гимназии, где я уже девять лет преподаю русский язык, студенты педагогического факультета Масарикова университета в Брно, где я преподаю методику ценностного образования (Value education), и участники программ для средних школ (возраст 15–19 лет, участвовало около 500 старшеклассников), сопровождающих показы спектакля «Полдень», о котором речь впереди.

Но сначала я хотела бы остановиться на понятии «диссидент». Дефиниций много, и они иногда резко отличаются одна от другой. Они расходятся, например, в том, участников каких форм сопротивления можно считать диссидентами, а каких нет, и наоборот, все ли диссиденты были участниками сопротивления. Для своего доклада я не пользуюсь точным определением этого слова. А школьников я просто спрашивала, какие у них ассоциации именно со словом «диссидент». Я опиралась на общие знания о советском диссидентском

сопротивлении в довольно широком контексте, включая события и имена, которые, возможно, многие не назвали бы диссидентскими, но для молодых людей они имеют связь с сопротивлением. В некоторых пунктах моего доклада мне придется расширить тему и включить также чешских диссидентов, ссылаясь на события и имена, которые чешской молодежи известны лучше.

Еще я хочу напомнить, что в восприятии слова «диссидент» сегодняшней чешской молодежью важную роль играет тот факт, что после Бархатной революции в Чехии многие люди, тесно связанные с диссидентским, или, если хотите, с оппозиционным движением, стали частью власти. И речь тут не только о Вацлаве Гавеле, но также о многих других деятелях, которые заняли довольно заметные места в разных партиях по всему политическому спектру – в отличие от России, где в 1990-е годы диссиденты если и приняли участие в формировании новой власти, то в весьма небольшом масштабе. Именно в таком качестве некоторых чешских диссидентов запомнила не только сегодняшняя чешская молодежь, но и их родители.

Как было уже сказано, я не смогу вам сегодня, к сожалению, предъявить никаких результатов серьезных исследований. Но могу использовать один из мощнейших инструментов педагогики и сформулировать несколько вопросов в надежде, что поиск ответов поможет разобраться, как обращаться с этим наследием.

Что они знают про диссидентов вообще?

Многие – ничего, даже само слово для них непонятно. Те же, что знают, способны довольно точно указать на связь с сопротивлением. Назвать конкретные имена или события им уже труднее, хотя как раз прошлый год, насыщенный мероприятиями, посвященными годовщине августовских событий 1968-го, способствовал повышению информированности в этом вопросе.

Довольно часто встречаются ассоциации с репрессиями 1950-х годов в Чехословакии (называют имя Милады Гораковой, расстрелянной в 1950 году).

Для многих словосочетание «диссиденты в СССР» также связано с ГУЛАГом.

Часто упоминают независимую культуру, искусство или самиздат – как яркое выражение несогласия и сопротивления.

Каким образом и при каких обстоятельствах они получают информацию?

- Я не собираюсь говорить сегодня о влиянии школы на молодежь и о формах этого влияния, – я хочу скорее упомянуть другие пути, какими наследие советских (и не только советских) диссидентов доходит до молодежи. На самом деле, они, эти другие пути, часто намного интереснее.
- Вообще самый обычный путь передачи наследия – это семейные предания: семья и ближайшее окружение делятся своим опытом. Наблюдать систематически, как это происходит, слишком трудно и потребовало бы комплексного исследования, например, в виде опроса. Судя по моему опыту и опыту моих коллег, в чешском обществе больше всего запомнились протесты против вторжения Советской армии в Прагу в 1968 году и имя Андрея Сахарова. Неоднократно звучало также имя Солженицына.
 - У представителей старших поколений сохраняется память о фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние», а песни Высоцкого и Окуджавы стали, благодаря переводам и исполнению чешского барда Яромира Ногавицы, почти что частью чешской общественной культуры. Ногавица, между прочим, лауреат медали Пушкина, которую получил осенью прошлого года из рук Владимира Путина, его имя также встречается в архивах СТБ – чехословацкой тайной полиции – в качестве сотрудника.
- Это довольно широко распространенные знаки того времени. Знания о литературе представлены такими авторами, как Ахматова, Пастернак, Солженицын, которых родители или, скорее, бабушки и дедушки моих нынешних учеников могли читать в шестидесятые 1960-е годы и которые в последующие десятилетия хранились в семейных библиотеках.
- Безусловно, для удержания в памяти важных имен и событий очень важна топонимика городского пространства – названия мест. То, что у нас есть площадь Яна Палаха, аэропорт Вацлава Гавела, улица Сивеца, школа имени Натальи Горбаневской, пронесит память о диссидентах восточного блока из прошлого в наши дни.
 - Следующий источник — это, конечно, литература и кино. В 1990-е годы после первоначального бума, когда появились в журналах и на прилавках книги Солженицына («Архипелаг ГУЛАГ»), Пастер-

нака («Доктор Живаго») или Марченко («Живи как все»), русских книг публиковалось, к сожалению, довольно мало. Чешское издание книги Натальи Горбаневской «Полдень» нам пришлось ждать до 2011 года. Но в последнее время интерес к русской литературе возвращается и растет. В прошлом году вышло почти триста книг, переведенных с русского, среди них и связанные с диссидентством через авторство или тематику (Буковский, Делоне, Улицкая). Появляются также и чешские книги, отражающие эту тему (А. Hradilek. “Za vaši a naši svobodu”, I. Ryčlová. “Ruské dilema, или Zvolili svobodu”). Честно говоря, кроме как у студентов русского отделения Карлова университета, я со знанием этой научной и научно-популярной литературы среди студентов почти не столкнулась.

- Очень важное и интересное обстоятельство, на которое я бы хотела обратить ваше внимание, состоит в том, что сами бывшие диссиденты (здесь я, конечно, говорю о чехах, но решусь считать многие их взгляды общими с позицией советских и постсоветских участников сопротивления) продолжают и сегодня работу над своими темами. В новой обстановке они входят в новые организации, которые этими темами занимаются. И так происходит непосредственная передача диссидентской культуры от старшего поколения к молодым коллегам. Мне кажется, что в России, например здесь, в «Мемориале», – это тоже хорошо получается. У нас это связано, например, с Даной Немцовой и Комитетом доброй воли или Верой Роубаловой и организацией INBAZE.
- Непосредственная передача диссидентского настроения и нерва происходит и через интерес к сегодняшним политзаключенным в России. И благодаря этому интересу и сочувствию молодые люди участвуют в разных мероприятиях в поддержку политзаключенных в Российской Федерации, например, в акциях в поддержку Олега Сенцова.

Что касается школьного обучения – учащиеся получают некоторое количество информации на уроках истории и обществоведения. Существует ряд программ, созданных для школьников различными организациями. Молодые люди весьма интересуются документальным кино. После показов обычно следует обсуждение. Этот интерес поддерживают популярный фестиваль “Jeden svět” («Один мир») и инициативы организации «Человек в беде» (“Člověk v tísní”). Из фильмов фестиваля этого года хочу отметить фильм Аскольда Курова «Новая».

Как представления о прошлом связаны с их сегодняшней жизнью и нужны ли им эти представления?

В заключение разрешите мне привести пример знакомства школьников с определенной темой, касающейся советского диссидентства. В частности, я бы хотела поговорить о программах, которые вела с учениками чешских средних школ (в возрасте от 15 до 19 лет), в связи с показом труппой CONTINUO спектакля «Полдень» по книге Натальи Горбаневской.

Труппа CONTINUO существует с 1992 года. Базируется она на юге Чехии, на хуторе, в деревне Маловице. Здесь создаются ее оригинальные постановки, проводятся международные мастер-классы. В последние годы CONTINUO занимается также документальным театром – актеры создали авторский проект “Obět” («Жертва») на основании свидетельств из Аушвица, спектакль «Соседи», где речь идет об отношениях чехов и немцев в 1938–1953 годах, в тех самых местах, где труппа театра живет и работает теперь. Здесь у создателей спектакля была возможность встретиться и поговорить с очевидцами тех событий и затем использовать эти материалы при подготовке спектакля.

Третьей темой, которую театр CONTINUO под руководством режиссера Павла Штоурача решил представить в виде театра-док, – это событие на Красной площади 25 августа 1968 года, а скорее то, что за ним последовало. Интерес к этой теме возник в 2013 году, когда на Красной площади были арестованы участники манифестации в память о демонстрации 25 августа 1968 года. Четыре года спустя вся труппа начала исследовательскую работу: читали книги, брали интервью, посещали участников тех событий и людей, близких к ним (встретились с Виктором Файнбергом, Павлом Литвиновым, Татьяной Баевой, Юрием Фрейдиным, сыновьями Натальи Горбаневской и Ларисы Богораз). Первые спектакли были сыграны в марте 2018 года.

После показов для школьников проходили дискуссии и беседы, в которых выяснялись знания школьников по теме и их представления о том историческом времени. Экспонировалась также выставка архивных материалов.

В дискуссиях со школьниками о наследии диссидентского движения я отметила два момента.

Во-первых, им интересны отдельные диссиденты как личности. Они говорят, что, если человек как личность честный, стремлению к луч-

шему готов посвятить все свои силы и даже пострадать за это, – это очень воодушевляет. И не имеет значения, как давно это было и в какой стране.

Во-вторых, молодому поколению представляется вдохновляющим примером сообщество и содружество, образованное диссидентами (чешский диссидент Вацлав Бенда назвал этот феномен «параллельный полис»), и поддержка, которую они друг другу оказывали. Молодежь поражает, как крепко объединялись люди разных идеологических направлений, возрастов, национальностей.

Демократический мир отличается от мира, в котором диссидентство образовалось и который во многом становится для современной молодежи отдаленной историей, но защита прав человека и интерес к событиям в других странах остаются насущной необходимостью в любой стране во все времена. Меняются только способы. Узнавая об опыте предшественников, молодежь задумывается о том, как найти свой собственный путь.

**Роль бывших диссидентов в становлении и развитии
украинского государства и общества в 1987–2019 годах**

Мое выступление посвящено роли бывших участников диссидентского движения в Украине в период так называемой перестройки и в независимой Украине. Как мы все помним, освобождение политзаключенных в СССР началось после смерти в тюрьме Анатолия Марченко, и в основном оно произошло в феврале–марте 1987 года. Тогда вышли почти все. Несколько позже, уже летом 1988 года, вышли те из украинских политзаключенных, кто отказывался в 1987-м хоть что-нибудь написать для освобождения, такие как Василь Овсиенко и Мыкола Горбаль. Те, кто вышел, сразу же включились в общественную жизнь, которая, особенно в Киеве и на Западной Украине, очень быстро тогда ускорялась.

Летом 1987 года возродилась Украинская Хельсинкская группа (УХГ). Главную роль в этом как раз и сыграли бывшие политзаключенные – Вячеслав Чорновил, Михайло Горынь, Богдан Горынь и другие. Группа возобновила издание «Украинского вестника». Чорновил переиздал те номера, которые вышли, когда он был уже в заключении, и стал издавать последующие номера. Начиная с седьмого, они стали выходить регулярно, только это уже был не самиздат, а то, что мы тогда называли неформальной печатью, поскольку печатали выпуски в Прибалтике, привозили тираж в Украину и здесь распространяли.

Украинская Хельсинкская группа в тот период еще была правозащитной организацией, но становилась все более и более оппозиционной и все более и более политической. В августе 1987 года Вячеслав Чорновил написал открытое письмо генсеку Михаилу Горбачеву, в котором излагал основные программные требования. Он уже тогда писал о ликвидации белых пятен истории, о реабилитации ОУН–УПА, о возвращении в обиход национальных языков и признании за ними статуса государственного и т.д. Украинская Хельсинкская группа в основном базировалась на Западной Украине, в городах Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Но прежде всего во Львове.

В Киеве осенью 1987 года усилиями Сережи Набоки, Леонида Милявского, Ольги Матусевич, при активном участии Евгена Сверстюка, был создан Украинский культурологический клуб, который был

чем-то похож на клубы творческой молодежи, существовавшие двадцатью пятью годами раньше в Киеве, во Львове и в других местах. Устраивали вечера, посвященные белым пятнам истории, говорили о Голодоморе 1932–1933 годов – чуть ли не впервые в Украине. Тогда же Украинский культурологический клуб потребовал освобождения всех политзаключенных. А 9 марта 1988 года впервые после 1971 года Клуб отметил несанкционированным митингом Шевченковские дни в Киеве возле Красного корпуса университета.

В 1988 году Украинская Хельсинкская группа заявила о том, что она прекращает свое существование, и 7 июля 1988 года на огромном митинге в 50 тысяч человек во Львове был создан Украинский Хельсинкский союз (УХС). Это имело очень большое значение. Украинский Хельсинкский союз уже не был правозащитной организацией, это была типичная политическая организация. Чтобы в нее вступить, нужно было получить две рекомендации от уже существующих членов УХС. Мне это так тогда не понравилось, что я из-за этого решил в него не вступать. Там уже было слишком много политики на мой вкус.

Но любопытно, что за членами этих организаций следили так же, как в прошлые времена, и когда Михайло Горынь в начале 1989 года приехал ко мне в гости в Харьков, я об этом сначала узнал от кагэбэшников, которые меня пригласили «поговорить». И меня, к сожалению, разобрало любопытство, о чем же они хотят со мной говорить, я поддался искушению и вышел на проходную завода ХЭМЗ, где работал. Это было мое условие: я к вам выйду с завода на пять минут, и все, и поговорим. И мне сказали: «Вас ищут львовяне, будьте критичны». Больше ничего не сказали. А как только я вернулся на завод, мне позвонил Михайло Горынь, который, как оказалось, приехал в Харьков и за которым следили гэбисты. На самом деле создание этих организаций было определенным вызовом власти, и она, в общем-то, пыталась все это останавливать, и были различные внесудебные теперь уже, конечно, репрессии против членов новых организаций. В 1989 году к нам в руки попала ориентировка Харьковского обкома КПУ с негативной их характеристикой.

К концу 1989 года таких организаций насчитывалось 15, в том числе, конечно, и наш «Мемориал», он тоже попал в этот список. Там были УХГ, потом УХС, «Мемориал», Украинский культурологический клуб, «Зелений світ» («Зеленый мир» – мощная экологическая организация, которая тогда возникла одной из первых и провела первое

исследование последствий Чернобыльской катастрофы), «Просвита», Товарищество друзей украинского языка и другие. Во главе всех этих пятнадцати организаций стояли бывшие политзаключенные, которые тогда задавали тон всему этому развитию и действовали очень энергично. В те годы общественная активность шла по всем направлениям: это и создание новых организаций, и основание первых кооперативов, и переход самиздата в неформальную прессу, и издание книг за свой счет, и основание новых периодических изданий, даже уже газет – их печатали, как уже говорилось, все больше в Прибалтике, привозили в Украину и тут раздавали или продавали, даже некий бизнес такой возник.

В этот период и в первые годы независимости вышли книги диссидентов, в которых были собраны тексты, ранее имевшие хождение в самиздате, написанные в лагере или сразу после освобождения. Книги пользовались популярностью, а некоторых авторов, в частности Ивана Дзюбу, Евгена Сверстюка и Мирослава Мариновича, читатели поставили в ряд самых выдающихся мыслителей современной Украины. Нужно сказать, что украинские правозащитники в большинстве своем стали заниматься политической деятельностью и участвовали в создании уже политических партий. Это стало обычным немного позже, но началось в 1989 и 1990 годах. И все они принимали активное участие в выборах 1989 года кандидатов на Съезд народных депутатов и потом в выборах в украинский парламент, которые проходили 4 марта 1990 года. Украинскому Хельсинкскому союзу удалось провести в парламент 16 своих представителей, а сотни его членов стали депутатами местных Советов, в основном на Западной Украине и в Киеве. Кроме того, 11 бывших политзаключенных стали депутатами украинского парламента. Я сейчас покажу фотографию десяти из этих одиннадцати человек в день принятия Декларации о суверенитете Украины 16 июля 1990 года. Вот они, счастливые, снялись вместе. Это, слева направо, Левко Гороховский, Олесь Шевченко, Левко Лукьяненко, Ирина Калинец, Михайло Горынь, Степан Хмара, Богдан Ребрик, Богдан Горынь, Вячеслав Чорновил, Генрих Алтунян. Помимо этих людей народным депутатом тогда стал еще один бывший политзаключенный, Михайло Косив. Сегодня из них живы только Богдан Горынь, Олесь Шевченко и Михайло Косив. Все остальные уже, увы, присоединились к большинству.

Украинский Хельсинкский союз в конце апреля 1990 года был преобразован в Украинскую республиканскую партию. Эта партия стала

первой зарегистрированной партией в стране, и практически весь Украинский Хельсинкский союз плавно перешел в нее. Ее лидером стал Левко Лукьяненко, его первым заместителем – Степан Хмара и, в общем-то, бóльшая часть украинских политзаключенных вошла в эту партию. Но еще раньше была создана Украинская национальная партия, которую возглавил тоже бывший политзэк Григорий Приходько. Он издавал во Львове журнал «Український час» («Украинское время»), очень такой интеллектуальный элитарный журнал, где было много сильных публикаций, печатались авторы со всей Украины. Постоянным автором этого журнала был известный историк Ярослав Романович Дашкевич. Кроме того, была создана Демократическая партия Украины, которую возглавил тоже бывший политзаключенный Юрий Бадзьо. Можно сказать, что практически все национально-демократические партии в Украине возглавляли бывшие политзаключенные. В 1960–1980-е годы в украинском диссидентстве были представлены все оттенки политического спектра, и теперь они так же разошлись по различным политическим партиям. Так, в руководстве праворадикальных партий были, в частности, Юрий Шухевич, Анатолий Лупинос, Василь Стрильчив.

Когда в сентябре 1989 года был создан Народный Рух Украины, он сложился как бы из двух ветвей. Одна часть – это Демократическая платформа Коммунистической партии Украины, и в ней Иван Драч, Дмитро Павлычко и другие украинские литераторы, которые активно занялись политикой. А в другой части состояли как раз бывшие диссиденты, были представители УХС и других организаций. Нужно сказать, что Народный Рух Украины очень быстро стал радикализироваться под влиянием этой второй части.

После обретения Украиной независимости стало ясно, что в стране катастрофически не хватает людей, которые могли бы работать в исполнительной власти. В парламент украинские демократы тоже смогли провести не более трети депутатов. Они победили на Западной Украине и в Киеве, но во всех остальных регионах это были только единичные успехи, как, например, в Харькове стал депутатом Генрих Алтунян, как раз из среды бывших политзаключенных. В дальнейшем все они строили государство. И, увы, вот эта слабость украинской демократии и предопределила то, что украинская партийная номенклатура очухалась после обретения Украиной независимости и довольно быстро прибрала власть к рукам. Этому было

очень трудно противостоять ввиду малочисленности и очень ограниченной сферы влияния украинских демократов. Я полагаю, что главная причина этого связана с массовыми политическими репрессиями, голодом в Украине, который ее преследовал в 1930-е и 1940-е годы, кроме того, наиболее талантливые люди уезжали в эмиграцию, уезжали в Россию делать карьеру. И главной проблемой Украины была и осталась катастрофическая нехватка людей, способных делать что-то новое. Громадное большинство, почти все бывшие украинские правозащитники 1960–1980-х годов, которые отстаивали права человека в советское время, ушли в политику, а правами человека остались заниматься буквально единицы. В 1991 году этих людей можно было просто буквально пересчитать по пальцам одной руки: Мирослав Маринович, Зиновий Антонюк, Семен Глузман, Сергей Набока.

Но, тем не менее, даже такое небольшое число людей, которые работали в области прав человека, стимулировало развитие правозащитных организаций. И буквально с нуля уже к 2004 году, за тринадцать лет, в стране возникло около 200 организаций, выросло новое поколение людей, которые фактически были воспитаны на идеях Украинской Хельсинкской группы, на идеях украинских правозащитников, именно этой части украинского национального движения. И, я бы сказал, что это особенно ярко проявилось во время нашей Помаранчевой революции в 2004 году, я по-украински это назвал тогда «правозахист в нападі» («правозащита в нападении»). Даже на семантическом уровне это выглядело именно так, поскольку главным лозунгом «Черной Поры», молодежной массовой организации, которая занималась выборами в то время, было – «Свободу не спинити» («Свободу не остановить»).

На сегодня поколение диссидентов 1960–1980-х годов, к сожалению, уже уходит. Сегодня очень немногие еще остаются активными, их можно опять-таки легко перечислить. Это Мирослав Маринович, вице-ректор Украинского католического университета и один из главных действующих лиц Украинской греко-католической церкви, это Иосиф Зисельс, который возглавляет ВААД – Ассоциацию еврейских организаций и общин Украины и Конгресс национальных общин, и еще несколько человек.

Завершая выступление, я бы хотел сказать, что, хотя украинским диссидентам не удалось, как в Польше или в Чехии, прийти к власти и реализовать свои идеи на государственном уровне, тем не менее

они очень существенно повлияли на умонастроения украинцев в годы перестройки и после обретения Украиной независимости. Они очень много сделали для того, чтобы сохранить связь времен, сохранить культурные связи с украинской культурной эмиграцией, литературой и искусством за рубежом, «Расстрелянным Возрождением» и новыми поколениями литераторов и других деятелей культуры в Украине. Их роль в этом очень трудно переоценить.

**Политзаключенные: СССР 1950–1980-х.
Дефиниции и борьба за статус**

В 1920–1930-е годы среди огромного числа жертв политических репрессий были и те, кто сам себя идентифицировал как политических заключенных и требовал, чтобы так их идентифицировала власть. Прежде всего это эсеры, меньшевики и более свежая волна оппозиции – троцкисты. Многие из них прошли царские тюрьмы и имели довольно четкое представление о том, кто такие политзаключенные и каков должен быть их статус (например, в местах заключения они должны быть отделены от уголовников). Пожалуй, последним (трагическим) актом их борьбы можно считать голодовку троцкистов на Воркуте осенью 1936 – весной 1937 года.

Среди требований троцкистов были:

- «отменить незаконное решение НКВД о переводе троцкистов из административной ссылки в концлагеря. Дела политических противников режима должны решаться не Особым Совещанием НКВД, а в открытых судебных заседаниях;
- рабочий день в лагере не должен быть более восьми часов;
- питание заключенного не должно зависеть от его выработки. Выработка должна стимулироваться не хлебной пайкой, а денежной компенсацией;
- разделить в бараках и на рабочих участках политзаключенных и уголовный элемент;
- переселить политзаключенных-инвалидов, женщин и стариков из заполярных лагерей в лагеря, расположенные в лучших климатических условиях»¹.

После Второй мировой войны политическими заключенными могли себя считать, пожалуй, только участники молодежных подпольных групп (получившие обобщенное название «юные ленинцы»), хотя их саморепрезентация как «политических» появилась скорее в перестройку. Бандеровцы и лесные братья считали себя скорее военнопленными, чем политзаключенными.

Мой доклад посвящен более позднему времени – 1950–1980-м годам.

¹ <https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=225>

Ответ на вопрос, кто такие «политзаключенные», для московской интеллигенции 1970-х и российского общества 2010-х вроде бы интуитивно понятен. Однако на практике возникают разные дефиниции – политзаключенный, узник совести (термин Amnesty International), а власть вообще отказывает политзаключенным в существовании, называя их «особо опасными государственными преступниками» или «экстремистами». Не утихают споры о возможности включения тех или иных групп в список политзаключенных (отдельный вопрос: кто и с какими целями – информационной или же благотворительной – эти списки составляет). Например, большие споры в 2000-е среди российских правозащитников вызвало (и до сих пор вызывает) включение в список членов «Хизб ут-Тахрир» (организации, признанной в России террористической); в 1990-е в закон о реабилитации не попали «Свидетели Иеговы» (ныне тоже запрещенные в России как организация), которые отказывались брать в руки оружие и служить в армии (хотя они-то как раз классические узники совести); в 1970–1980-е неопределенным был вопрос, можно ли включать в список политзаключенных тех, кто прибегал к насилию.

Естественно, во все времена возникали спорные кейсы. Классическим примером 2000-х может служить дело Бориса Стомахина. Первый редактор «Хроники текущих событий» и политзаключенная Наталья Горбаневская отказывалась публиковать у себя в Живом Журнале список политзаключенных Правозащитного центра «Мемориал», пока там не будет имени Стомахина, обвиненного в «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» и в «возбуждении ненависти либо вражды».

Для разговора о дефинициях мне кажется необходимым выделить четыре «оптики»:

- 1) оптика власти – признавала ли она в какой-то момент, что у нее есть политзаключенные, или всегда отрицала. Как она признавала это де-факто;
- 2) оптика общества – кого правозащитники и вслед за ними интеллигенция считали политзаключенными;
- 3) автооптика – самоидентификация, проявляющаяся прежде всего через борьбу за статус политзаключенного;
- 4) западная оптика – кого на Западе считали советскими политзаключенными, какие термины использовали международные правозащитные организации.

1. Оптика власти

«Насчет политзаключенных. У нас их нет», – эти слова советское и российское общество слышало в разных вариациях практически от всех глав государства за последние полвека: от Никиты Хрущева (1959 год, «Правда»), от Михаила Горбачева (1986 год, интервью L'Humanité), от Владимира Путина (2012 год, на встрече с политологами), от премьер-министра Дмитрия Медведева (2013 год, интервью государственным телеканалам).

К середине 1970-х годов советская власть вынуждена была реагировать на многочисленные заявления западных (французской, итальянской) компартий, заявлявших о «преследовании инакомыслящих в СССР». Кроме того, надо было отвечать и на выпады буржуазной пропаганды.

В записке председателя КГБ Ю.В. Андропова от 29 декабря 1975 года дается исчерпывающая картина представлений КГБ о политзаключенных. В своем тексте Андропов объясняет, что под таковыми западная пропаганда подразумевает тех, кто был осужден по статьям 70 («антисоветская агитация и пропаганда») и 190-1 («распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»). При этом Андропов пинает «мертвого льва», приводя цифры осужденных за антисоветскую агитацию при Хрущеве, которых намного больше, чем в брежневские годы. Снижение числа осужденных Андропов объясняет хорошей работой КГБ, который активно проводит профилактику, разлагает движения изнутри, а ряду «экстремистов» разрешил эмигрировать. По мнению Андропова, антисоветчиками становятся прежде всего «элементы, которые в силу своей прошлой принадлежности к эксплуататорским классам <...> могут встать на путь антисоветской борьбы. В нашей стране это – бывшие каратели и другие пособники немецко-фашистских оккупантов, власовцы, участники бандитского вооруженного подполья на Украине, в Прибалтике, в Белоруссии, в некоторых районах Средней Азии и Северного Кавказа, националистические и другие враждебные советскому строю элементы»². Андропов повторяет стандартную ошибку советского руководства и КГБ, которые считали антисоветские выступления либо тяжким наследием прошлого, либо инспирированными западными спецслужбами.

² <https://bukovsky-archives.net/pdfs/dis70/kgb75-9.pdf>

Председатель КГБ объясняет, почему нельзя отказаться от уголовного преследования «элементов»: «поскольку это повлекло бы за собой увеличение числа особо опасных государственных преступлений и антиобщественных проявлений. Опыт показывает, что деятельность «диссидентов», которая вначале ограничивается антисоветской пропагандой, впоследствии, в ряде случаев, принимала такие опасные формы, как террористические проявления, организованное подполье в целях свержения Советской власти, установление связей с зарубежными спецслужбами, занимающимися шпионажем, и т.д.»³

Говоря о политических заключенных, КГБ и советская власть используют принцип амальгамы, смешивая правозащитников с карателями и полициями, а также теми, кто действительно совершал террористические акты. Надо сказать, что некоторую помощь им оказывала плохая информированность самих правозащитников.

Приведу пример. В «Хронике текущих событий» в числе узников пермских политических лагерей был назван министр коллаборационистской Белорусской центральной рады Р.К. Островский. В 1976 году зам. Генерального прокурора СССР А.Я. Сухарев в интервью «Литературной газете» говорил о том, какие плохие правозащитники, в том числе Сергей Ковалев, потому что называют среди «политических преступников» откровенного коллаборациониста. Проблема не в том, что «Хроника текущих событий» сообщала об узниках политических лагерей (и о военных преступниках тоже), а в том, что президент Белорусской центральной рады Радослав Островский после войны остался на Западе и умер в 1976 году в США. Таким образом, в своих обвинениях прокуратура повторила ошибку советских правозащитников, неверно идентифицировав человека.

Интервью того же Сухарева в 1976 году в журнале «Новое время» (№ 1) вызвало отклик политзаключенного и уже эмигранта Андрея Амальрика. Отвечая на утверждения официоза, что в СССР судят за действия, а не за убеждения, он пишет в статье «Есть ли политзаключенные в СССР?»: «Мне и другим заключенным неоднократно говорили: “Вы можете иметь убеждения, но не высказывать их. Мы вас судим не за убеждения, а за то, что вы их высказали”»⁴.

³ <https://bukovsky-archives.net/pdfs/dis70/kgb75-9.pdf>

⁴ <https://litra.pro/sssр-i-zapad-v-odnoj-lodke-sbornik-statej/amaljrik-andrej-alekseevich/read/5>

В 1986 году Андрей Сахаров написал Горбачеву письмо, в котором вежливо и терпеливо, как истинный ученый, разъяснял, кто такие политзеки и почему их надо освободить. 4 августа 1986 года в Читинской тюрьме Анатолий Марченко начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех «политических».

25 сентября 1986 года на заседании Политбюро обсуждался вопрос о возможном освобождении тех людей, которые, по словам Горбачева, «отбывают наказание за преступления, которые западная пропаганда квалифицирует как политические»⁵.

В постановлении ЦК КПСС от 31 декабря 1986 года говорится об освобождении «отдельных категорий заключенных» (осужденных по статьям 70 и 190-1)⁶, слово «политзаключенные» не употребляется.

В 1987 году начинается освобождение политзаключенных (в том числе арестованных по «религиозным» статьям – 142 и 227 УК РСФСР). Кроме того начинают выписывать из психиатрических больниц тех, кто был признан невменяемыми (если они, по мнению КГБ, не представляют более антиобщественной опасности). Процесс освобождения шел мучительно, так как КГБ жестко требовал от политзаключенных подписывать обещание не совершать впредь «антисоветские поступки».

В перестройку тема политзаключенных стала важной для советского общества. Власти заявляли, что в лагерях находится столько-то человек, а правозащитники называли большую цифру. Например, 9 марта 1989 года ставший уже Генеральным прокурором СССР А.Я. Сухарев в Париже на съезде Всемирной ассоциации юристов-демократов сказал, что в СССР больше нет политзаключенных, в то время как в списках Кронида Любарского значилось около 160 человек⁷.

Кроме того, в перестройку возникли новые политические статьи в Уголовном кодексе. Прежде всего это закон СССР от 14 мая 1990 года № 1478-1 «О защите чести и достоинства Президента СССР» (максимальный срок наказания – 6 лет).

Считается, что последние советские политзаключенные были освобождены в феврале 1992 года (помилованы указом Ельцина).

Можно сделать вывод, что общей тактикой советской власти было стремление смешать политических заключенных с теми, кто точно не вызывал симпатий, и утверждение, что люди осуждаются за на-

⁵ <https://bukovsky-archives.net/pdfs/dis80/pb86-3.pdf>

⁶ <https://bukovsky-archives.net/pdfs/sovter75/kgb86-4.pdf>

⁷ Вести из СССР. 1989. Вып. 7/8. Сообщение 19.

рушение советских законов. При этом не было даже попыток оценить соответствие статей Уголовного кодекса Конституции. Ответом для Запада, как правило, была фраза «не вмешивайтесь в наши внутренние дела».

В настоящее время в России применяется идентичная тактика.

2. Оптика общества

Когда в 1965 году были арестованы Андрей Синявский и Юлий Даниэль, московское общество с ужасом думало, что писатели поедут в лагерь к уголовникам. Информирование общества о существовании политических лагерей и политзаключенных начинается в СССР со второй половины 1960-х годов. С 1968 по 1982 год главным информационным стержнем была «Хроника текущих событий», с 1978-го по 1991-й – «Вести из СССР» Кронида Любарского.

Важно заметить, что термин «политзаключенный» находится на перекрестии трех взглядов:

- 1) информационного, то есть это попытка ответить на банальный вопрос – о ком пишем, о ком не пишем для редакции «Хроники текущих событий» в 1970-е, а в 1980-е для Кронида Любарского: о ком писать в «Вестях из СССР», кого включать в списки политзаключенных, а кого нет. Принятое в итоге довольно грубое разделение внутри политических лагерей – на политзаключенных и полицаев/военных преступников/«за войну» – не всегда встречало понимание у самих политзаключенных;
- 2) правозащитного/экспертного, то есть кого правозащитное сообщество считает политзаключенным (споры об этом начал еще Валерий Чалидзе в начале 1970-х);
- 3) благотворительного, то есть вопрос для Красного Креста конца 1960-х и Фонда помощи политзаключенным и их семьям (а также для Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях) в 1970-е – начале 1980-х – кому помогать.

Уже в первом номере «Хроники текущих событий» (30 апреля 1968) есть раздел «Политзаключенные». Редакторам «ХТС» сразу же пришлось вырабатывать понятие – кого относить к политзаключенным, а кого нет. В 1-м выпуске есть рубрика «Ленинградский раздел» (дело ВСХСОН). По поводу 64-й статьи (измена Родине) там говорится, что ее инкриминирование незаконно. А между тем четверо основателей ВСХСОН, проходивших по этим статьям, до сих пор не реабилитированы. Интересен пассаж о недопустимых действиях:

«Достоверно известно, что никто не обвинялся ни в связи с НТС, ни в валютных операциях, ни в хранении оружия».

В № 4 «Хроники текущих событий» был раздел «О некоторых заключенных, осужденных за "измену Родине"». В нем со ссылкой на Всеобщую декларацию прав человека (право покидать страну) политзаключенными признавались «побегушники», осужденные за измену Родине (статья 64). В 1990-е годы в ряде случаев эти приговоры были переквалифицированы на незаконный переход границы.

Как мы видим из № 7 и всех дальнейших выпусков «ХТС», участники партизанской борьбы в Украине и Литве также признавались политзаключенными (сами себя они нередко называли военнопленными, так как статус советского гражданина зачастую получали, по сути, насильно).

Приведу высказывание Александра Даниэля при очередном витке споров 2015 года о дефиниции «политзаключенный»: «Тот же Борис Гаяускас отсидел свои 25 лет по первому сроку, и мне бы хотелось называть его политзаключенным. Да, он грохнул чекиста из револьвера, но он отстреливался, то есть чекист в него тоже стрелял, пытался его поймать. А если говорить серьезно, то, на мой взгляд, и лесные братья в Прибалтике и бандеровцы на Украине действовали в ситуации необходимой обороны. Это понятие признается правом»⁸.

Важным моментом был вопрос идеологических ограничений при признании политзаключенным. В выпуске 7 «ХТС» помещен материал о «группе Фетисова». Хроника писала: «Идеи Фетисова и его последователей представляют собой критику советской политической, экономической и социальной системы с позиций крайнего тоталитаризма и шовинизма», но при этом «каковы бы ни были эти идеи, нельзя забывать, что четверо людей были обвинены по ст. 70 фактически за взгляды и находятся в жестоких условиях специальной психиатрической больницы, т.е. тюрьмы с принудительным лечением, за взгляды».

Надо понимать, что «Хроника текущих событий» выполняла прежде всего информационную, а не экспертную функцию и поэтому писала о политлагерях и о тех, кто там содержится (и о нарушении их прав) вне зависимости от того – считала ли тех, о ком пишет, политзаключенными. Например, в 12-м выпуске в разделе «Вести из

⁸ <http://www.cogita.ru/grazhdanskaya-aktivnost/politzaklyuchennyye-v-rossii/kto-takie-politzaklyuchyonnye-vvedenie-v-temu>

мордовских политлагерей» говорится в том числе и о тех, кто, как мы сегодня знаем, несомненно был военным преступником.

Далеко не всегда распорядители Фонда помощи политзаключенным или редакторы «ХТС» были знакомы с точными формулировками обвинений, кроме того, сами люди могли скрывать и переиначивать свои приговоры, чтобы им помогали.

В 1970 году в СССР была создана правозащитная экспертная организация «Комитет прав человека». Один из ее членов Валерий Чалидзе составил записку «О понятии политзаключенного» (26 октября 1971). Чалидзе отмечает, что политзаключенными «в обиходе называют тех, кто осужден за особо опасные государственные преступления».

В эту главу УК входили, в частности, статья 64 (измена Родине), 65 (шпионаж), 66 (теракт).

Чалидзе откровенно заявляет, что термин «политзаключенный» очень неопределенный, и он постарается дать узкое определение, исходя из «нужных нам целей, именно для обсуждения проблемы прав политзаключенных и проблемы защиты политзаключенных», а также для обсуждения правомерности преследования за политические преступления.

Политическим деликтом Чалидзе называет деяние, которое «есть следствие осуществления широко признанных прав Человека» и которое «производит на государственную власть или ее представителей впечатление наносящего или могущего нанести ущерб стабильности политического строя», а также авторитету ассоциации или лиц, участвующих в управлении государством.

При этом политзаключенным считается каждый, чья свобода передвижения ограничена, то есть в том числе подвергнутые административному аресту (и даже ограничению выезда за пределы страны!)⁹

После обсуждения на заседании Комитета прав человека Чалидзе вносит в текст важную поправку. Он пишет, что «политическое преступление – деяние, преследуемое государством с политическими целями». Таким образом, люди, совершившие уголовные преступления из политических мотивов (например, теракт), не могут считаться политзаключенными и не заслуживают особого заступничества¹⁰.

⁹ Собрание документов Самиздата. Т. 24. АС № 1271.

¹⁰ Там же.

В 1971 году член Комитета прав человека Андрей Твердохлебов направляет в Московский городской комитет общества Красного Креста заявление с предложением создать благотворительную комиссию, которая занималась бы помощью семьям осужденных по статьям 70 и 190-1. При этом он ссылается на предшествующий опыт – народовольческий Красный Крест, а потом Комитет Екатерины Пешковой, но нигде не употребляет слово «политзаключенный». В полученном ответе перечислялась деятельность общества Красного Креста и говорилось, что упоминаемые фонды помогали «семьям борцов, осужденных за дело революции. В Вашем письме идет речь о гражданах, осужденных по Уголовному кодексу РСФСР»¹¹.

В 1973 году Твердохлебов организовал Группу-73, которая стала заниматься опекой политзаключенных в СССР.

Не могу не процитировать часть фразы из приговора по делу Твердохлебова 1975 года: «встав на путь необоснованного оправдывания лиц, осужденных за особо опасные государственные преступления»¹².

В 1974 году Александр Солженицын создает Русский благотворительный фонд помощи политзаключенным и их семьям, первым распорядителем которого становится Александр Гинзбург, уже прошедший лагерь и знающий о теме не понаслышке.

В Статуте фонда говорилось о помощи тем, кто преследуется за убеждения (без различия религиозной, национальной и социальной принадлежности)¹³. Упор в Статуте делается на христианство и благотворительность, то есть фонд не выполнял экспертных функций. Хотя, конечно, некоторое ограничение рамок помощи было необходимо. Интересно, что в брошюре 1977 года «Помощь политзаключенным СССР», написанной распорядителями Фонда помощи политзаключенным Кронидом Любарским и Татьяной Ходорович наряду с термином «политзаключенный» используется термин «узник совести»¹⁴.

Один из распорядителей Фонда помощи политзаключенным Кронид Любарский после эмиграции начал выпускать «Список политзаключенных СССР» (последний выпуск вышел в 1991 году). На сегодняшний день это главный систематизированный источник сведений о политзаключенных 1980-х годов.

¹¹ Там же. АС №1290.

¹² Дело Андрея Твердохлебова. Нью-Йорк: Хроника, 1975. С. 71.

¹³ Архив Международного Мемориала. Ф. 161.

¹⁴ Там же.

В предисловии к «Списку политзаключенных» за 1988 год сделано дополнение:

«В прошлые издания “Списка” были включены также лица, применявшие насилие и тогда, когда это не было оправдано военными действиями, в случаях, имевших явно политическую формулировку. Целью этого было дать читателю представление о всем спектре форм политического протеста в СССР. Сейчас внутривнутриполитическая ситуация в СССР резко изменилась, и действия, за которые эти люди были осуждены, более не характеризуют эту ситуацию. С другой стороны, опыт показал, что советские официальные лица нередко использовали факт включения таких лиц в “Список” для компрометации издания в целом, игнорируя явно выраженную оговорку издателей о том, что факт включения того или иного лица в список не означает солидарности с его действиями.

Поскольку главной целью публикации “Списка” является содействие скорейшему освобождению политзаключенных, из настоящего списка исключены все лица, хотя и действовавшие по политическим мотивам, но совершившие действия, являющиеся преступными по любым меркам (например, захват самолета, сопровождавшийся человеческими жертвами). Несколько (буквально единицы) исключений, однако, было сделано – для лиц, лишь намеревавшихся совершить какой-либо насильственный акт (например, тот же захват самолета), но не совершивших его. Никаких последствий эти намерения не имели, и индивидуальные обстоятельства этих дел позволяют утверждать, что наказание для таких лиц было чрезмерно серьезным»¹⁵.

Если сравнивать старые и новые списки политзаключенных, изданные Кронидом Любарским, а также сообщения его бюллетеня «Вести из СССР», можно вычислить, кто в итоге был из списков исключен. Необходимо заметить, что из списка политзаключенных Любарский исключил примерно полтора десятка человек из 800, то есть процент людей, которые применяли насилие, был очень небольшим.

Кроме практического значения (скорейшего освобождения политзаключенных) надо учитывать и гласность, одним из результатов которой была возможность для иностранных делегаций посетить политические лагеря, освободившиеся политзаключенные рассказывали о тех, кто еще остался...

¹⁵ Список политзаключенных за 1988 год.

В 1990 году прояснились обстоятельства дела Ильина, который в 1969-м совершил покушение на Брежнева (при покушении один человек погиб и один был ранен). Например, правозащитники долго считали (ошибочно), что его зовут Анатолий. На самом деле он Виктор.

Кронид Любарский писал: «Составитель списка не разделяет методов, использованных Ильиным, в «Список» он был включен лишь с целью показа всего спектра политического протеста в Советском Союзе. Позднее, с изменением политической обстановки в стране, когда подобные эпизоды стали представлять лишь исторический интерес [через полгода будет совершено покушение на Горбачева], Ильин был из «Списка» исключен»¹⁶.

В перестройку возникает новая, неожиданная группа политзаключенных. Любарский включает в свои списки тех, кто бежал из армии из-за дедовщины¹⁷.

Перестройка бросила новые вызовы тем, кто составлял списки политзаключенных и пытался разобраться в этой дефиниции. Несмотря на в целом положительное отношение к участникам национально-освободительных движений и признание политзаключенными тех, кто призывал к насилию, само правозащитное движение категорически было против использования насилия как метода.

В перестройку обострились национальные конфликты, и необходимо было решать, считать ли осужденных участников, например, конфликта в Нагорном Карабахе политзаключенными. Стоит ли признавать политзаключенными тех, кто призывал к насилию?

Любарский включает в «Список политзаключенных» и тех, кто призывал к насилию, если речь не идет о ситуации, когда эти призывы могут воплотиться. Так, например, включен Дмитрий Баринов, который в феврале 1990 года в Новосибирске распространил листовку с призывом к вооруженному свержению существующего строя (правда, «для проверки реакции массового сознания»)¹⁸. В то же время из «Списка» он исключил Наджафа Гулиева из Азербайджана, распространявшего листовки с призывами к погромам¹⁹. Не был включен «по понятным причинам» в «Список политзаключенных» и член антисемитской организации «Память» Константин Смирнов-Осташвили²⁰.

¹⁶ Вести из СССР. 1990. Вып. 2. Сообщение 20.

¹⁷ См., напр.: Вести из СССР. 1990. Выпуск 4. Сообщение 6 и Список политзаключенных за 1990 год.

¹⁸ Вести из СССР. 1990. Вып. 7. Сообщение 5.

¹⁹ Там же. Вып. 8/9. Сообщение 2.

²⁰ Там же. 1991. Вып. 4. Сообщение 12.

«Вести из СССР» публикуют сведения об арестованных за «незаконное ношение оружия» в Нагорном Карабахе, так как «в условиях войны, идущей сейчас в Нагорном Карабахе и вокруг него, когда нападения боевиков происходят ежедневно и повсеместно, многие жители НКАО хранят оружие в целях самообороны»²¹. Одновременно относительно арестованных в Азербайджане говорится, что «отдельные члены руководства НФА были причастны к массовым беспорядкам в Азербайджане в январе 1990 г., в частности к армянским погромам в Баку 13–16.01.1990. <...> В этой связи необходима подробная дополнительная информация, прежде чем решить, можно ли рассматривать арестованных членов НФА как политических заключенных»²².

При этом люди, арестованные просто за членство в НФА (как и в Комитете «Карабах»), признавались политзаключенными (в том числе арестованные за разжигание межнациональной розни)²³. В «Списки политзаключенных» включены члены военизированной группы «Мхедриони» в Грузии.

Однако в 1991 году ситуация изменилась, и Любарский писал: «Проблема политических заключенных, традиционно стоящая в центре внимания бюллетеня, также приобретает в данных условиях специфический характер. Периодически поступают списки лиц, арестованных в НКАО и прилегающих районах частями ОМОН и внутренними войсками МВД Азербайджана. Однако, судя по всему, это не аресты в обычном смысле этого слова, а взятие заложников»²⁴. Позднее он написал: «В редакцию Вестей из СССР продолжают поступать списки лиц, захваченных в качестве заложников, а то и просто похищенных во время военных действий в регионе. Первоначально редакция пыталась включать имена этих заложников в «Список политзаключенных СССР», но теперь это стало уже физически невозможным и бессмысленным. Число заложников и исчезнувших лиц исчисляется буквально сотнями, информация о них чрезвычайно скудна, проследить их дальнейшую судьбу не представляется возможным. Видимо, этих лиц следует рассматривать частично как военнопленных, а частично как гражданских лиц, исчезнувших в ходе боевых действий. Очевидно, что азербайджанская сторона и советские войска, участву-

²¹ Там же. 1990. Вып. 1. Сообщение 4.

²² Там же. Сообщение 5.

²³ См., напр.: Вести из СССР. 1990. Вып. 4. Сообщение 1.

²⁴ Там же. 1991. Вып. 5. Сообщение 5.

ющие в военных действиях, не соблюдают правил Женевской конвенции»²⁵. Заметим на полях: о событиях в Южной Осетии Любарский писал, что «речь может идти скорее о геноциде»²⁶.

Можно заключить, что при определении дефиниции «политзаключенный» во многом учитывался практический аспект вопроса (например, техническая невозможность включить отказников), ситуативность (например, наличие некоторых людей в списке затруднит освобождение других людей), общая оценка ситуации (то есть в условиях тоталитарного режима насилие в принципе допустимо, а при демократизации общества – уже нет), необходимость информировать обо всем спектре политического протеста в СССР, даже если составитель Списка не разделял идею насилия как метода.

Кроме того, положение осложнялось необходимостью действовать (в информационном или благотворительном ключе) в условиях недостатка информации. Например, Любарский включил в список несколько человек, которые участвовали в попытке угона самолета в Грузии в 1983 году, но в 1988-м он исключил их из списка, так как при попытке угона были жертвы. Проблема в том, что в списки были включены люди, расстрелянные по этому делу в 1984 году, о чем Любарский не знал.

3. Автооптика

Процесс формулирования понятия «политзаключенный» шел и из самих лагерных зон. Примерно в 1966 году начинается активный процесс самоидентификации узников мордовских лагерей для особо опасных государственных преступников как политзаключенных. Александр Даниэль передает рассказ своего отца Юлия Даниэля о том, что при представлении лагерному начальству участники ленинградской группы «Колокол» называли себя политзаключенными²⁷.

Из этических соображений и потому, что «полицаи» часто сотрудничали с лагерной администрацией, политзаключенные требовали отделить себя от них. Так, в декабре 1969 года именно за подобное требование был помещен в следственный изолятор Дубравлага Юрий Иванович Федоров²⁸.

²⁵ Там же. Вып. 7. Сообщение 6.

²⁶ Там же. Вып. 5. Приложение.

²⁷ <http://www.cogita.ru/grazhdanskaya-aktivnost/politzaklyuchennye-v-rossii/kto-takie-politzaklyuchyonnye-vvedenie-v-temu>

²⁸ Хроника текущих событий. Вып. 12.

Именно политзаключенные возобновили с 1968 года такую форму борьбы, как голодовки.

В 1972-м в политических лагерях появился общий день, в который проводились голодовки, – 5 сентября, день принятия в 1918 году Совнаркомом РСФСР декрета «О красном терроре».

Весной 1974 года в мордовском лагере Кронид Любарский вместе с Алексеем Мурженко придумывает День политзаключенного. Датой назначается 30 октября как день, близкий к советскому празднику 7 ноября (кроме того, это был день, в который Крониду вынесли приговор). В результате неуклюжих действий лагерной администрации зачинщиков отправили в разные лагеря и Владимирскую тюрьму, обеспечив тем самым распространение идеи. Информацию о Дне политзаключенного удается передать на волю, и 30 октября проводится квартирная пресс-конференция, на которой оглашается информация о положении в политлагерях и учреждении Дня политзаключенного²⁹.

Если есть День политзаключенного, то необходимо сформулировать – кто такие политзаключенные.

Из воспоминаний Эдуарда Кузнецова: «Вновь, словно из праха расстрелянных и замученных, возрождается волшебное слово Статус, и вчерашняя анархистствующая «отрицаловка» начинает подводить под свое отчаянное индивидуальное неприятие лагерного режима некую общезначимую платформу – требование Статуса для всех политзаключенных»³⁰.

Первым на статус политзаключенного перешел в ноябре 1974 года украинский диссидент Виталий Калиниченко³¹.

Идея статуса политзаключенного была выдвинута Яковом Сусленским в Перми-36 летом 1974 года и обсуждена с Юрием Ивановичем Федоровым. Осенью 1974-го Сусленского отправили во Владимирскую тюрьму, где он сумел обсудить эту идею с Егором Давыдовым, Витольдом Абанькиным, Львом Лукьяненко и другими. В ноябре 1974-го Сусленского повезли обратно в Пермь-36, но по дороге завезли в Пермь-35, где он успел сообщить о своей идее Зиновию Антонюку, Вячеславу Глузману и Владимиру Балахонову³². В ноябре 1974 года из Перми-36 было отправлено письмо семи политзаключенных,

²⁹ <http://www.zubova-poliana.ru/me-ocherk-dubravlag7.htm>

³⁰ <https://zona.media/article/2015/05/26/status-77>

³¹ Материалы Самиздата. 1975. Вып. 17. АС № 2087.

³² Сусленский Я. Перо мое – враг мой. Иерусалим, 1999. С. 202-203.

в котором были сформулированы основные проблемы и содержалось требование их решить. В заявлении говорилось о необходимости «привести условия в соответствие с международными нормами содержания политзаключенных»³³. Таких норм не существовало, вероятно, авторы имели в виду Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые в 1955 году ООН³⁴.

После заявлений политзаключенных последовали новые репрессии, Якова Сусленского, в частности, снова отправили во Владимирскую тюрьму. В 15-й камере Владимирской тюрьмы Сусленский, Владимир Буковский, Лев Лукьяненко, Давид Черноглаз, Владлен Павленков и другие весной 1975 года составили проект Статуса политзаключенного. Этот документ был передан в мордовские и пермские лагеря, а летом 1975 года попал в Москву и оттуда на Запад в составе заявления Инициативной группы³⁵.

В заявлении Инициативной группы защиты прав человека лета 1975 года «Советские политзаключенные требуют юридического и фактического признания их таковыми, требуют статуса политических заключенных» подробно описывались не только требования политзаключенных, но и порядок перехода на Статус политзаключенного: заявление в высшие советские инстанции с требованием принять в законодательном порядке Статус политзаключенных; не получив ответа или получив формальную отписку, заключенные заявляют, что начинают явочным порядком осуществлять положения Статуса – отказ от работы, срыв именных бирок, отказ выполнять требования администрации лагеря³⁶.

В августе 1975 года Юрий Орлов, Григорий Подъяпольский и Мальва Ланда перед совещанием тридцати пяти государств в Хельсинки направили обращение к конгрессменам США, в котором пересказали требования политзаключенных к советскому правительству: 1) отмена принудительного труда, 2) прекращение пыточных наказаний, 3) прекращение применения воспитательных мер, 4) создание нормальных условий труда с такой же, как и за пределами лагеря, зарплатой, 5) отмена именных бирок на одежде и принудительной стрижки волос, 6) улучшение питания, 7) право свободного распоряжения своими деньгами, 8) отмена ограничений на посылки и передачи,

³³ Материалы Самиздата. 1975. Вып.17. АС № 2088.

³⁴ https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml

³⁵ Сусленский Я. Перо мое – враг мой. С. 202-203.

³⁶ Материалы Самиздата. 1975. Вып. 30. АС № 2243.

9) отмена ограничений на переписку, 10) отмена ограничений на свидания, 11) отмена ограничений на контакты политзаключенных внутри лагеря, 12) отмена запрета на занятия живописью, другими видами искусства, 13) обеспечение нормальной медицинской помощи, 14) обеспечение нормальных жилищно-бытовых условий³⁷.

Борьба за статус политзаключенного также, естественно, связана не только с пониманием, какими должны быть лагерные условия для тех, кто борется, но и с самоидентификацией – когда человек сам себя начинает считать политзаключенным. Переход на статус политзаключенного стал манифестацией готовности бороться с администрацией лагеря за соблюдение своих прав, принадлежности к сообществу. В уголовных лагерях довольно редки были случаи, когда осужденные по ст. 190-1 УК РСФСР объявляли себя политзаключенными³⁸.

Интересным примером отношения к теме политзаключенных служит заявление участника еврейского эмиграционного движения и политзаключенного Льва Ягмана от 6 октября 1974 года. Он пишет депутату Верховного Совета СССР Д. Кабалевскому: «Речь идет о положении политических заключенных, или, как нас называют, «особо опасных государственных преступников». Мне кажется, что пришло время, когда уже нельзя, прибегая к страусовой политике, делать вид, что в СССР нет политических заключенных». Ягман не касается правомерности вынесения приговоров, а пишет о положении в лагерях. В частности, о том, что «в лагерях сейчас находятся люди социально активные. Люди, которые сидят не за то, что, спасая свою шкуру, служили нацистам, хотя нас и стараются подвести под одну гребенку с ними, и не за то, что хотели вытащить у кого-то кошелек». Поскольку в лагере сидят интеллигенты, попавшие туда за свои убеждения, то нужно их отделить от уголовников и полицаев, так как «для разных людей необходим разный подход»³⁹.

«Пермско-владимирский» вариант Статуса политзаключенного был скорее про требования к лагерной администрации, чем о том, кто же такие «политзаключенные».

Осенью 1976 года русский националист Владимир Осипов и украинский националист Вячеслав Чорновил при участии армянского

³⁷ Там же. Вып. 42. АС № 2288.

³⁸ В качестве исключения можно назвать Александра Лавута в хабаровском лагере в 1981 году.

³⁹ Материалы Самиздата. 1975. Вып. 22. АС № 2144.

националиста Паруйра Айрикяна в больничной зоне мордовского лагеря составили документ под названием «Статус советского политзаключенного»⁴⁰.

Из воспоминаний Эдуарда Кузнецова: «Писать приходилось с поминутной оглядкой, таясь и шарахаясь; от официальной юридической литературы, никак не разрабатывающей понятие политзаключенного, проку нам не было; доступ к зарубежным или самиздатским источникам нам, естественно, был заказан, и мы, как я теперь вижу, кое-что упустили при определении понятия политзаключенного»⁴¹.

Из «Статуса советского политзаключенного»:

«§ 1. Политическим заключенным является всякий, осужденный по политическим мотивам и отбывающий наказание в тюрьме, концлагере или ссылке либо помещенный в психбольницу закрытого типа.

§ 2. Политическими заключенными могут считаться:

- 1) лица, осужденные за убеждения (в том числе религиозные) и их распространение в устной, письменной или любой другой форме;
- 2) лица, осужденные за создание ассоциаций (политических партий, профессиональных и других организаций и объединений) или за участие в таковых, если целью такой организации не является совершение уголовных деяний;
- 3) лица, осужденные за участие в демонстрациях, митингах, собраниях и других массовых, стихийных или организованных выступлениях ненасильственного характера, по своему характеру оппозиционных к существующему строю в целом или к отдельным его проявлениям;
- 4) лица, осужденные за совершенные по политическим мотивам террористические акты и вооруженные выступления или за подготовку к таковым. Сюда же относятся осужденные за участие в партизанских и подпольных национально-освободительных движениях. Не могут считаться политическими заключенными осужденные за участие в полицейских или карательных формированиях, непосредственно подчиненных только немецким оккупационным властям в годы Второй мировой войны;
- 5) лица, пытавшиеся бежать из СССР по политическим мотивам;
- 6) лица, осужденные по сфабрикованным уголовным обвинениям, если действительные политические мотивы осуждения несомненны и если подсудимый заявил о них в ходе суда»⁴².

⁴⁰ Полный текст см.: <https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=445>

⁴¹ <http://www.zh-zal.ru/continent/2013/152/15k.html>

⁴² <https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=445>

В статье 1980 года Эдуард Кузнецов признает недостатки этого документа: «Наиболее существенным промахом мне представляется неточность формулировки: “Политзаключенным является всякий, осужденный по политическим мотивам”. <...> Существуют два наиболее распространенных подхода к определению понятия политзаключенного: лишенный свободы за деяние, совершенное с политическими целями, и лишенный свободы государством в политических целях. <...> Наиболее сбалансированным мне представляется такое определение: политзаключенным является всякий, лишенный свободы за убеждения или деяние, совершенное с политическими целями, а равно всякий, лишенный государством свободы в своих политических целях»⁴³.

Интересно, что политзаключенными (по крайней мере «чистыми политзаключенными») не считались уголовники, которые, чтобы «переменить участь», раскидывали листовки в зоне или делали антисоветские татуировки.

Из воспоминаний политзаключенного Германа Обухова: «В нашей зоне был человек, который отсидел по 70-й, который специально сел в эту зону, сделав себе наколку “Раб КПСС”. Он не был никаким политзаключенным. Это была мотивация попасть в хорошую зону, где хорошо кормят, где условно прекрасные условия содержания»⁴⁴.

Иногда заключенные переходили на статус (говорилось «встал на статус», для сравнения: «встал на путь исправления») политзаключенного спустя годы после ареста. Последний известный случай – Михаил Казачков, Александр Голдович, Руслан Кетенчиев и другие узники Перми-35 объявили 20 февраля 1989 года о переходе на статус политзаключенного⁴⁵. При том, что Казачков был осужден в 1975 году, Голдович в 1985-м...

Борьба за статус советского политзаключенного скорее вопрос формирования определенного сообщества в лагере, вопрос самоидентификации (то есть не только формальной статьи УК, но и мотивов человека, его поведения в лагере).

Положительный ответ на вопрос о применении насилия упирается как в согласие с допустимостью таких методов в условиях партизанской войны, так и в невозможность исключить из обсуждения статуса участников национально-освободительных движений.

⁴³ <http://www.zh-zal.ru/continent/2013/152/15k.html>

⁴⁴ <http://www.cogita.ru/grazhdanskaya-aktivnost/politzaklyuchennyye-v-rossii/kto-takie-politzaklyuchyonnye-vvedenie-v-temu>

⁴⁵ Вести из СССР. 1989. Вып. 7/8. Сообщение 18.

4. Западная оптика

На Западе термин «политзаключенный» был не очень принят. Наиболее распространенным был термин «узник совести», который использовала и авторитетная правозащитная организация «Международная амнистия». Стоит заметить, что с 1973 по 1982 год существовала советская секция «Международной амнистии» (естественно, не зарегистрированная властью), помогавшая узникам совести за рубежом. Пожалуй, необходимо также упомянуть термин «узники Сиона» (организация с таким названием возникла в 1969 году), ставший в 1992 году официальным статусом в Израиле. Вероятно, далеко не во всех случаях советские правозащитники сочли бы этих людей политзаключенными (речь идет как о неуверенности в сфальсифицированности конкретных дел, так и о разном отношении к экономическим преступлениям). Для иллюстрации сложности и неоднозначности применения этого термина достаточно привести один пример. Несколько участников молодежной подпольной группы «Союз борьбы за дело революции» (1950–1951) после освобождения эмигрировали в Израиль. Несколько человек из этой группы – узники Сиона, а несколько нет⁴⁶.

В 1981 году произошел примечательный спор Ларисы Богораз и уже эмигрировавшего на Запад Кронида Любарского о понятии «политзаключенный» в связи со знаменитой голодовкой членов ИРА.

В письме членам английского парламента Лариса Богораз говорила: «Ваши политические террористы добиваются, чтобы их признали политическими заключенными, и во имя этого голодают до смерти. Среди наших заключенных, требующих того же самого, есть узники совести, действия которых были принципиально ненасильственными. Но также есть – во всяком случае, были еще недавно – люди, признающие насилие как метод политической борьбы». Она пишет о том, что если политических террористов начать называть бандитами, то мирная демонстрация станет называться «нарушением общественного порядка». По мнению Богораз, «политические террористы в тюрьме становятся политическими заключенными – а кем же еще?»⁴⁷

Кронид Любарский, возражая Ларисе Богораз, указывает на то, что она плохо осведомлена о ситуации (что понятно в условиях СССР),

⁴⁶ Письмо члена СДР В. Мельникова А. Макарову от 6 мая 2019 года.

⁴⁷ Архив Международного Мемориала. Ф. 205.

и не соглашается с уравниванием политзаключенных-партизан и ирландских террористов, так как «ни один из них [партизан] не применял террора против невинных мирных жителей». Далее Любарский описывает условия содержания членов ИРА, гораздо лучшие, чем условия содержания советских политзаключенных, и обращает внимание, что решение о голодовке было принято руководством ИРА, а не самими заключенными⁴⁸.

Таким образом, спор во многом упирается в информированность сторон, а также в понимание того, ведется ли «война» и являются ли «пострадавшие» мирными жителями.

⁴⁸ Там же.

**Социалистическая концепция прав человека:
длинное наследие короткой жизни**

Как правило, социалистическая концепция прав человека в СССР воспринимается как исключительно идеологический продукт, который не стоит анализировать в привычных терминах. Проблема эта, конечно, касается и всего советского права: исследователи обращают внимание на известную трудность в понимании и исследовании советского права и правовых практик, прежде всего указывая на сложность сравнения того, что называется правом, с тем, что принято считать советским правом.

Тем не менее в рамках этого доклада я постараюсь обратить внимание прежде всего на то, каким образом в довольно короткое время была создана – исключительно для внешнеполитических целей – социалистическая концепция прав человека и какую роль ее наследие играет в современной России. Критически относясь к правам человека, Карл Маркс описывал их как права человека эгоистического, и основную задачу концепции прав человека он видел в исключении человека из политического сообщества. В 1843 году в работе «К еврейскому вопросу» он писал: «...так называемые права человека, *droits de l'homme*, в отличие от *droits du citoyen*, суть не что иное, как права члена гражданского общества, т.е. эгоистического человека, отделенного от человеческой сущности и общности».

Естественно в связи с этим, что сразу после революции 1917 года работы российских «буржуазных» специалистов в области гражданских прав, прежде всего Богдана Кистяковского, были отвергнуты как часть «буржуазного права», а в качестве части советского права родилась концепция прав и обязанностей советского гражданина. Суть ее состояла прежде всего в том, что права были обусловлены гражданством и неразрывно связаны с обязанностями граждан. Одновременно утверждалось, что права буржуазные – это фикция, формальность, в то время как советское право предоставляет реальные права, которые не только гарантируются советской Конституцией, но и измеряются в объеме и размере. «Социалистическая конституция, – писал Сталин в «Вопросах ленинизма» в 1945 году, – не ограничивается фиксированием формальных прав граждан, а переносит центр тяжести на вопрос о гарантиях этих прав, на вопрос

о средствах осуществления этих прав». Так, например, «вопрос» свободы слова не измерялся формальными требованиями: в статье 125 сталинской Конституции 1936 года свобода слова и печати гарантировалась предоставлением «трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления».

Таким образом, это были права трудящихся (то есть не вообще даже граждан СССР, и эти права измерялись материалистически – не формальными категориями вроде свободы высказывания, а количеством выделенной бумаги и наличием типографской краски. Как кажется, вообще все права становились позитивными, поскольку, в отличие от практики демократических стран, речь шла не об ограничении вмешательства государства в дела граждан, а напротив, о государственных гарантиях реализации таких прав. В каком-то смысле можно сказать, что все права в таком понимании становятся социальными, то есть исходящими от государства и измеряемыми теми или иными материальными благами, опять же обеспечиваемыми государством.

В этом смысле показательно выступление А.Я. Вышинского на обсуждении в ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека (напомню: СССР при голосовании воздержался). В этом выступлении он обрушился на проект Декларации, назвав провозглашаемые в ней права формально-декларативными и ссылавшись, что, хотя и не надеется, что где-то права будут защищены таким же всеобъемлющим и конкретным образом, как в СССР, но к этому надо стремиться. Кроме того, он обратил внимание на отсутствие в проекте Декларации прямого запрета пропаганды фашизма и права наций на самоопределение. Однако ключевым изъяном проекта Декларации в глазах руководства СССР было то, что «перечисленные в настоящей Декларации основные права и свободы защищаются законами государств». Вышинский в своем докладе утверждал также, что принципиальным отличием СССР от западных стран является отсутствие классового конфликта, в результате чего политические свободы гарантированы целиком и полностью, в этом государстве высшего типа отсутствует конфликт между гражданином и государством и права человека в нем не являются предметом борьбы, а напротив, представляют собой систему утвержденных прав и гарантий советского гражданина.

Другими словами, СССР защищал классическое понимание суверенитета, при котором права человека понимались как исключительная прерогатива национальных государств. Надо сказать, что СССР был вовсе не одинок в таком понимании; собственно, поэтому концепция прав человека не вошла в Устав ООН, в частности вследствие позиции Великобритании, да и, по мнению многих историков (например, Самуэля Мойна), права человека оставались скорее политической риторикой холодной войны – вплоть до Хельсинкских соглашений, которые они называли революцией прав человека.

Работы советских правоведов конца 1940-х – начала 1950-х годов были построены на принципиальных утверждениях об особенностях взаимоотношений государства и личности в СССР, что впоследствии легло в основу социалистической концепции прав человека¹:

- в СССР интересы государства и личности больше не расходятся, а совпадают, так как взаимоотношения людей принимают форму отношения товарищеского производства и социалистической взаимопомощи, а социализм обеспечивает полное удовлетворение интересов личности, развитие ее физических и духовных сил на основе роста богатства и благополучия всего общества²;
- взаимообусловленность прав и обязанностей граждан функционально необходима для поддержания общественного и экономического строя советского государства: «Чем полнее и своевременнее будут выполнены гражданами возложенные на них обязанности, тем больше будет материальных гарантий для осуществления прав и свобод, тем содержательней будут эти права и свободы»³.

Тем не менее ситуация в 1950-х годах изменилась, и это было связано не только со смертью Сталина. Распад колониальной системы, попытка СССР оседлать волну антиимпериалистического движения посредством присвоения риторики прав человека и национального суверенитета, обострение борьбы против расовой сегрегации в США⁴ и, сверх того, установление в странах Восточной Европы просоветских режимов, превративших эти страны в страны народной демократии, стали причиной появления формулы права человека и

¹ См., напр.: Давтян В.Р. Советская концепция прав человека в послевоенный период // Вестник Волгоградского университета. Сер. 5. Юриспруденция. 2011, № 1(14).

² Уманский Я. Основные права и обязанности граждан. М.: Госполитиздат, 1947.

³ Лепешкин А.И. Основные права и обязанности граждан. М.: Госюриздат, 1954.

⁴ См., напр.: Betts P. Socialism, Social Rights and Human Rights. The case of East Germany // Humanity: an International Journal of Human Rights, Humanitarianism and Development University of Pennsylvania Press. Vol. 3. No 3. Winter 2012. P. 407-426.

в работах правоведов по эту сторону железного занавеса. В то же время хрущевская риторика «восстановления социалистической законности» потребовала отчасти и коррекции официального отношения к «буржуазным правам человека», что привело даже к невероятному: однажды, в 1957 году, в СССР официально отмечался День прав человека.

При этом первые попытки заговорить о правах человека в странах социализма связаны не с СССР, а со странами социалистического лагеря. Так, И. Сабо, венгерский правовед, в 1966 году выпустил монографию «Социалистическая концепция прав человека»⁵. (Показательно, что перевод ее на русский занял почти двадцать лет.) Риторика прав человека как внешнеполитического инструмента появилась и в ГДР. В Польше Франтишек Пшетачник издает монографию о правах человека, где «право на мир понимается как главное право человека». Таким образом, возникает попытка создания альтернативной концепции прав человека, в которой главным правом человека выступает право на мир, ну а главным нарушителем этого права, конечно, выступают империалистические страны.

Наконец, уже к середине 1970-х годов вопрос об одобренной концепции социалистических прав человека и даже о принятии Декларации социалистических прав человека встал в повестку дня советских правоведов. Прежде всего это было связано с подписанными в 1975 году Хельсинкскими соглашениями. Провозглашение идеи мирного сосуществования двух политических систем так же послужило причиной возникновения своей концепции прав человека. В то же время сразу после заключения Хельсинкского соглашения Движение за права человека в СССР немедленно использовало неожиданный подарок правящей партии и стало официально – что позволяло Соглашение – информировать международное сообщество о нарушениях прав человека в СССР. Это вызвало, с одной стороны, обострение публикаций в стиле «whataboutism», то есть была пущена в ход старая логика, «что в США плохо с правами человека». Так, например, в 1978 году появилась публикация русского перевода доклада Компартии США о нарушениях прав человека в этой стране под говорящим названием «Look homeward, Jimmy Carter. The State of Human Rights, U.S.A». С другой сторо-

⁵ Szabo I., Kovacs I. and other. Socialist Concept of Human Rights. Budapest: Akademiai Kiado, 1966.

ны – появился запрос на научно обоснованное мнение о ситуации с правами человека в СССР.

В 1977 году начинает работу созданный при Институте государства и права АН СССР Департамент прав человека во главе с В.М. Чхиквадзе и его заместительницей Е.А. Лукашевой. Сложность проблематики и типичная для академической жизни тех лет неторопливость привели к тому, что первые плоды работы департамента стали публиковаться как раз тогда, когда начало перестройки и политика открытости М.С. Горбачева сделали отдельную социалистическую доктрину прав человека никому не нужной: страна в тот момент уверенно признала универсальный характер прав человека и отказалась от особого их понимания. Тем не менее выпущенная коллективом авторов под редакцией В.М. Чхиквадзе и Е.А. Лукашевой монография⁶ содержит развернутую аргументацию того, каким образом и почему в странах социализма существуют и развиваются права человека, причем в их «настоящем», а не «формальном» виде, как в странах Запада.

С точки зрения авторов, концепция прав человека – как и вообще исторический процесс в целом – это результат социально-экономического развития. При этом, поскольку социализм является высшей формой такого развития, то и права человека материально защищены исключительно в странах социализма. Несмотря на общераспространенные на тот момент в странах социализма утверждения о главенстве социально-экономических прав над политическими, авторы утверждают, что, напротив, без социально-экономических гарантий нет политических прав и они являют собой органичное целое. Не отказывая правам человека в универсальности – как это было в послевоенной риторике СССР, авторы, однако, выстраивают иную иерархию, обозначая в качестве главных прав человека право на мир, свободу и безопасность.

Продолжая развивать вполне сталинскую по сути идею о том, что государство не только не отмирает при социализме, а наоборот, усиливается путем усиления народного суверенитета, авторы утверждают, что только нации могут быть носителями этого суверенитета, они же имеют право на самоопределение, а индивидуум – нет, и он не может быть субъектом международного права. Следовательно,

⁶ Социалистическая концепция прав человека / под ред. В.М. Чхиквадзе и Е.А. Лукашевой. М.: Наука, 1986.

права человека в любом случае – это права человека определенной страны. Таким образом, только национальное государство может отвечать на запросы по поводу прав человека в силу полного суверенитета над своей территорией, и попытки других государств обращать на это внимание не что иное, как нарушение суверенитета государства и вмешательство в его внутренние дела. Состояние с правами человека государство оценивает само, в зависимости от своих возможностей, и разность гарантий прав человека напрямую зависит от уровня социально-экономического развития, следовательно, по мысли авторов, наилучшим образом права человека защищены именно в социалистических странах.

Коллективная монография, которая явно долго готовилась, была издана в 1986 году, когда, как уже говорилось, по сути, выработка отдельной концепции социалистических прав человека была остановлена.

В 1980-е годы ситуация выглядела несколько иначе. В ходе осуществления различного рода внешнеполитических инициатив в СССР и США возникали всякого рода проекты и публикации, в которых советские и американские авторы пытались обосновать единство прав человека в рамках двух политических систем, как раз настаивая исключительно на разности подходов к реализации прав человека (в частности, уже упомянутое выше главенство социально-экономических прав над политическими при социализме) и всячески подчеркивая необходимость учитывать эту разницу и «брать лучшее» у двух разных политических систем. В таком духе, например, была построена работа российско-американской комиссии по правам человека. Однако и такой подход устарел и остался в прошлом практически после распада СССР в 1991 году.

Таким образом, в чистом виде концепция социалистических прав человека от момента рождения в 1966 году прожила чуть менее двадцати лет, а в СССР, по сути, десять. Время между 1986 и 1991 годами в основном было посвящено попыткам мирно интегрировать социализм с человеческим лицом в общемировой процесс, однако и эта попытка прервалась с распадом СССР.

Надо сказать, что в самой концепции, помимо ее очевидного идеологического предназначения, можно найти и позитивные отличия от общепринятой концепции естественных прав человека. Например, эта концепция – через логику социально-экономического развития – объясняет, почему и как набор прав человека меняется. Другими словами, в отличие от вполне метафизической и неизменной кон-

цепции прав человека как врожденных, такая концепция придает логике прав человека определенный историзм. В то же время логика прямой связи между конструкцией государства и правами человека также обладает определенным правом на существование.

В конце 1990-х годов в России появляются партикуляристские проекты прав человека, прежде всего концепция прав человека Русской православной церкви Московского патриархата и, практически одновременно, идея о цивилизационном характере прав человека, идея, разрабатываемая теми же авторами, которые некогда создавали социалистическую концепцию прав человека, прежде всего академиком Е.А. Лукашевой⁷.

Любопытно, что, несмотря на разницу этих концепций, обе они напрямую связаны, как представляется, с так называемой социалистической концепцией прав человека и обуславливают права человека внешними факторами, то есть считают их не врожденными, общими для всех, а зависящими от неких обстоятельств. В случае с РПЦ МП – это религиозная идентичность, а в случае с цивилизационной концепцией – принадлежность к определенной замкнутой цивилизации. В рамках обеих концепций права человека понимаются преимущественно как воплощенные в коллективных сущностях, при этом показательно, что православная концепция прав человека вообще выстраивает иерархию прав: от главных прав – прав народа и нации – к менее важным правам отдельного человека. При таком подходе важным становится право большинства, которое, как совокупность индивидуумов, некоторым образом определяет, что является правами, а что нет. Отсюда следует логика существования прав человека, которые не совпадают с «правом большинства». РПЦ МП, например, объясняет, почему права ЛГБТ не могут быть признаны правами человека: они не совпадают, по мнению авторов этой концепции, с логикой религиозной традиции. Вместе с тем такого рода логика диктует еще и укрепление старой традиции суверенитета, где суверенная нация решает, что является, а что не является нарушением прав человека в той или иной стране. Более того, развитием этой идеи стало и появление словосочетания традиционные ценности в одном из наиболее спорных документов ООН по правам человека, посвященном роли традиционных ценностей в защите прав человека.

⁷ Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение / Ин-т государства и права РАН. М.: НОРМА, 2009.

Таким образом, несмотря на сравнительно недолгую историю, социалистическая концепция прав человека, как представляется, серьезным образом подготовила интеллектуальное пространство для появления партикулярных теорий прав человека, которые больше всего походят не на европейские, а на азиатские концепции, по сути, воспроизводя аргумент так называемых азиатских ценностей, несопоставимых с общепринятыми представлениями о правах человека. Очевидно, что их появление не в меньшей мере связано с логикой решения внешнеполитических задач, с задачей снова исключить Россию из общемирового демократического процесса, и в этом смысле приходится рассматривать социалистическую концепцию прав человека как предтечу современных партикуляристских концепций прав человека в России.

Коротко о докладчиках и участниках «круглых столов»



Вольфганг Айхведе (Германия)

Историк и политолог, основатель и первый руководитель Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете.



Александр Архангельский (Москва)

Кандидат филологических наук. Журналист, литературовед, профессор Высшей школы экономики, автор и ведущий программы «Тем временем» на телеканале «Культура». Автор книги «Свободные люди. Диссидентское движение в рассказах участников» (2017).



Надежда Белякова (Москва)

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения истории религии и Церкви Института всеобщей истории РАН. Соавтор книг: Белякова Н.А., Добсон М. Женщины в евангельских общинах послевоенного СССР (2015); Белякова Е.В., Белякова Н.А., Емченко Е.Б. Женщина в православии: церковное право и российская практика (2011).



Нателла Болтянская (Россия)

Журналистка, автор и исполнитель песен. Автор цикла короткометражных фильмов «Параллели, события, люди», посвященных советским диссидентам.



Тереза Бируте Бураускайте (Литва)

Генеральный директор Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы; в конце 1960-х – начале 1970-х годов активистка диссидентского «движения литовских краеведов».



Томас Венцлова (Литва)

Поэт, переводчик, эссеист. Участник диссидентского движения в Литве, один из основателей Литовской Хельсинкской группы.



Сесиль Вессье (Франция)

Политолог, доктор политических наук, профессор Университета Ренн-1. Автор книг «Larissa Bogoraz. Une femme en dissidence» (2000) и «За вашу и нашу свободу! Диссидентское движение в России» (2015).



Валентин Гефтер (Москва)

Публицист, правозащитник. Директор Института прав человека.



Збигнев Глюза (Польша)

Президент фонда «Центр КАРТА», главный редактор исторического журнала «KARTA». Участник движения «Солидарность».



Ирина Гордеева (Москва)

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средневековья и нового времени факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ.



Андрей Гросс (Ростов-на-Дону)

Аспирант Института истории и международных отношений Южного федерального университета.



Алина Данилина (Москва)

Гражданская активистка, координатор общественной организации «Открытая Россия».



Александр Даниэль (Москва–Санкт-Петербург)

Член Правления Международного Мемориала, сопредседатель Санкт-Петербургского общества «Мемориал». Автор ряда публикаций, посвященных диссидентской активности в СССР. В 1973–1980 участник самиздатского информационного бюллетеня «Хроника текущих событий», в 1976–1981 – неподцензурного исторического сборника «Память».



Дмитрий Дубровский (Москва–Санкт-Петербург)

Кандидат исторических наук. Доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ассоциированный научный сотрудник Центра независимых социологических исследований (Санкт-Петербург).



Григорий Дурново (Москва)

Шеф-редактор группы мониторинга правозащитной организации «ОВД-Инфо».



Елена Жемкова (Москва)

Исполнительный директор Международного Мемориала.



Евгений Захаров (Украина)

Правозащитник, председатель Правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы. Член Правления Международного Мемориала.



Дмитрий Зубарев (Москва)

Филолог, историк. В 1976–1981 годах участник издания неподцензурного исторического сборника «Память».



Александра Крыленкова (Санкт-Петербург–Москва)

Правозащитница, исследователь. Член Санкт-Петербургского общества «Мемориал», организатор площадки «Открытое пространство» в Петербурге, одна из создательниц движения «Наблюдатели Петербурга». Участница общественных кампаний в защиту политзаключенных.



Сергей Лукашевский (Москва)

Историк и аналитик. Исполнительный директор Сахаровского центра.



Алексей Макаров (Москва)

Историк и педагог. Сотрудник архива Истории инакомыслия в СССР Международного Мемориала.



Константин Морозов (Москва)

Историк, доктор исторических наук. Профессор кафедры истории Московской высшей школы социальных и экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра социальной истории России Института российской истории РАН. Член правления Московского Мемориала, руководитель семинара «Левые в России».



Павел Никулин (Москва)

Журналист, гражданский активист, главный редактор самиздатского ресурса Moloko plus.



Владимир Орлов (Москва)

Исследователь и публикатор произведений советской неподцензурной литературы, автор-составитель книги «Александр Гинзбург: русский роман» (2017).



Валентина Паризи (Италия)

Доктор филологических наук, исследователь в Университете Павии, автор книги “Il lettore eccedente. Edizioni periodiche del samizdat sovietico (1956–1991)” (2014).



Александр Подрабинек (Москва)

Правозащитник, диссидент, журналист, общественный деятель. Один из основателей Рабочей комиссии по исследованию использования психиатрии в политических целях при Московской Хельсинкской группе (1977–1981). Автор книг «Карательная медицина» (1979) и «Диссиденты» (2014).



Петр Поспихал (Чехия)

Публицист, дипломат, общественный деятель; участник независимой гражданской инициативы «Хартия-77».



Борис Равдин (Латвия)

Историк культуры. Член правления Латвийского общества русской культуры. В 1976–1981 годах участник издания неподцензурного исторического сборника «Память».



Ян Рачинский (Москва)
Председатель Правления Международного Мемориала.



Дмитрий Рублев (Москва)
Кандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, ведущий специалист Российского государственного архива социально-политической истории. Автор книги «Российский анархизм в XX веке» (2019).



Зоя Светова (Москва)
Журналист, правозащитница. Автор документального романа «Признать невиновного виновным» (2011).



Алексей Симонов (Москва)
Журналист, кинорежиссер, переводчик. Президент Фонда защиты гласности.



Микаэла Стоилова (Чехия)
Филолог, педагог, переводчик, член чешской ассоциации Gulag.cz и Чешского Мемориала.



Елена Струкова (Москва)
Кандидат исторических наук, заведующая Центром социально-политической истории Государственной публичной исторической библиотеки России. Одна из составителей и редакторов альманаха «Acta samizdatica / Записки о самиздате».



Александр Стыкалин (Москва)
Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН. Ответственный редактор журнала «Историческая экспертиза».



Габриэль Суперфин (Германия)
Филолог, историк, архивист. В начале 1970-х участник самиздатского информационного бюллетеня советских правозащитников «Хроника текущих событий».



Михаил Фишман (Москва)

Журналист, автор и ведущий программы «И так далее» на телеканале «Дождь».



Ирина Флиге (Санкт-Петербург)

Исследователь истории ГУЛАГа. Директор Санкт-Петербургского научно-информационного центра «Мемориал». Член Правления Международного Мемориала.



Александр Черкасов (Москва)

Председатель Совета Правозащитного центра «Мемориал», сотрудник программы Правозащитного центра «Горячие точки». Член Правления Международного Мемориала.



Сергей Чупринин (Москва)

Доктор филологических наук, профессор Литературного института им. А.М. Горького. Главный редактор журнала «Знамя».



Светлана Шмелева (Москва)

Политолог, гражданская активистка.



Ирина Щербакова (Москва)

Филолог-германист, переводчик, историк. Член Правления и руководитель просветительских и образовательных программ Международного Мемориала, председатель Совета Научно-информационного и просветительского центра «Мемориал», главный редактор портала «Уроки Истории», председатель Оргкомитета конкурса «Человек в истории. Россия – XX век».

Содержание

Александр Даниэль. Арсений Рогинский: развилки биографии, перекрестки судьбы 5

29 марта 2019 года

Открытие конференции:

Ян Рачинский, Збигнев Глюза, Вольфганг Айхведе 46

Формы и практики протестных движений в СССР, Восточной и Центральной Европе

Тересе Бируте Бураускайте. Невооруженное антисоветское движение в Литве: молодежные подпольные группы и организации 52

Петр Поспихал. От «Хартии-77» до «бархатной революции» 60

Надежда Белякова. Об отношениях между религиозниками и диссидентским движением в СССР в условиях холодной войны конца 1960-х – начала 1980-х годов 66

Сергей Чупринин. У черты. Опыт и уроки раннего «подписанства» 78

Культура, идеология, гуманитарное знание

Ирина Гордеева. Толстовцы и диссиденты. К истории складывания «толстовских» коллекций «Мемориала» 88

Андрей Гросс. Кибернетика, теория демократии и неолиберальный дискурс в советском самиздате 1970-х годов 99

Валентина Паризи. Самиздат и тамиздат как художественная тактика в совместных проектах 1970–1980-х годов Риммы и Валерия Герловиных 107

Владимир Орлов. Три псевдонима. По материалам архива журнала «Континент» 115

Протестующая культура и культура протеста

Вольфганг Айхведе. О культуре противостояния. Мир Арсения Рогинского 121

«Круглый стол» 135

30 марта 2019 года

Диссидентство как форма общественного поведения

Елена Струкова. Одесская библиотека самиздата Вячеслава Игрунова и мастерская народных промыслов Авраама Шифрина 167

Габриэль Суперфин. Наш Тарту 174

Дмитрий Рублев. Анархисты и «новые левые» в диссидентском движении СССР (1960-е – начало 1980-х годов) 180

Александр Стыкалин. Незабываемый 1989-й: перемены в Восточной Европе и пересмотр «доктрины Брежнева» 189

Нателла Болтянская. Принцип разделения властей в США и советские диссиденты 202

Александр Подрабинек. Антикоммунистическое сопротивление на Кубе в конце 1990-х – начале 2000-х годов 210

Сесиль Вессье. Сартр, СССР и советские диссиденты: от Венского конгресса народов в защиту мира до защиты А.Д. Сахарова 216

Общая дискуссия 229

Востребован ли сегодня опыт диссидентского сопротивления. «Круглый стол» 240

Мосты

Михаэла Стоилова. Память о диссидентском сопротивлении в СССР и современная чешская молодежь. Опыт преподавателя 272

Евгений Захаров. Роль бывших диссидентов в становлении и развитии украинского государства и общества в 1987–2019 годах 278

Алексей Макаров. Политзаключенные: СССР 1950–1980-х. Дефиниции и борьба за статус 284

Дмитрий Дубровский. Социалистическая концепция прав человека: длинное наследие короткой жизни 304

Коротко о докладчиках и участниках «круглых столов» 312

Международный Мемориал

ДИССИДЕНТЫ СССР,
ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЕВРОПЫ:
ЭПОХА И НАСЛЕДИЕ

Художник Б.В. Трофимов
Редактор Л.С. Еремина
Корректор И.Р. Любавина
Компьютерная верстка Д.А. Сенчагов

В оформление книги использован логотип конференции.
Художник С.В. Жицкий

Ответственная за выпуск Екатерина Мельникова

Подписано в печать 14.09.2020. Формат 70х100/16.
Печать офсетная. Усл.-печ. л.20. Тираж 300 экз.

Отпечатано в типографии издательства «Перо»
109052, Москва, Нижегородская ул., д. 29-33, стр. 15, ком. 536.
Тел.: (495) 973-72-28, 665-34-36.
Заказ 638.

Международный Мемориал
127051 Москва, ул. Каретный Ряд, 5/10.

ISBN 978-5-6041921-9-1



4.10.2016 Международный Мемориал Минюстом РФ внесен в реестр
<http://unro.minjust.ru/nkoforeignagent.aspx>
Решение обжалуется в суде.